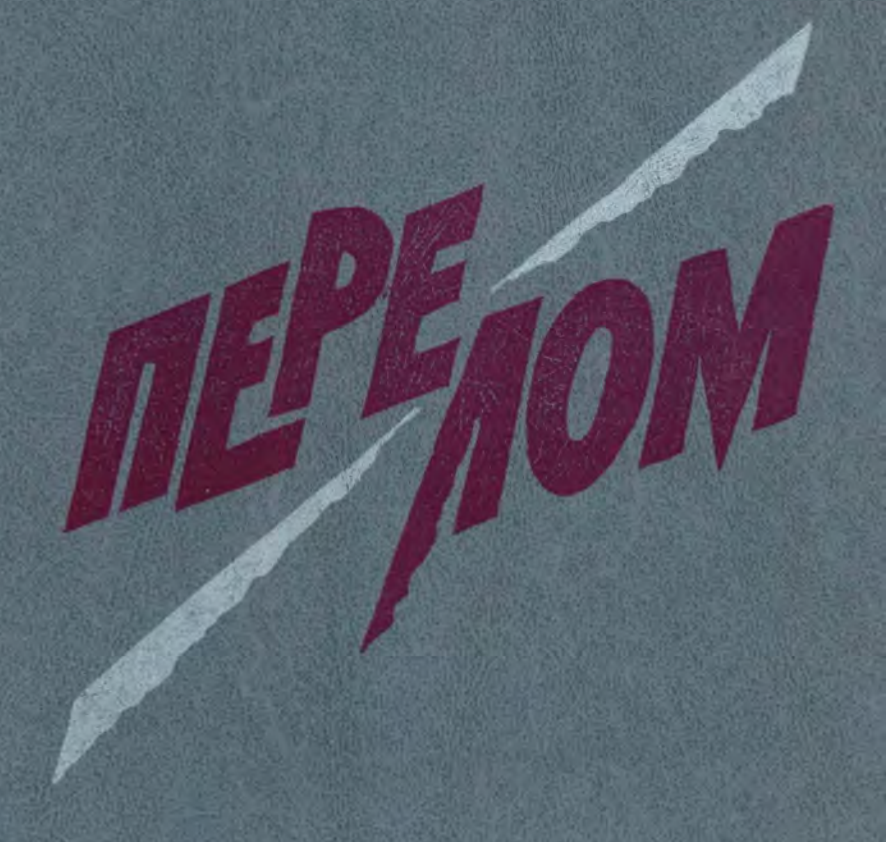
НИКОЛАЙ СКРОМНЫЙ







НИКОЛАЙ
СКРОМНЫЙ



РОМАН

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989

ББК84Р7
С45

Рецензент
В. МАСЛОВ

Скромный Н. А.
С45 Перелом: Роман.— М.: Современник, 1989.— 351 с.— (Новинки «Современника»).
ISBN 5-270-00510-7

Роман «Перелом» мурманского прозаика Николая Скромного об одном из трагичных, переломных моментов в истории нашего крестьянства — периоде сплошной коллективизации.
Главный герой романа сопровождает раскулаченных на новое место поселения в Казахстан, где им предстоит начинать жизнь заново.

С $\frac{4702010200-121}{М106(03)-89}$ 88-89 **ББК84Р7**

ISBN 5-270-00510-7

В развитии литературного процесса не так уж трудно обнаружить закономерности, правда все задним числом, исходя, так сказать, из наличности, и объяснить, в силу каких причин появилось то или иное направление, возникла новая школа, почему, наконец, написалось такое-то произведение.

Вспоминается начало шестидесятых годов. Критикой тогда было высказано немало верных суждений и, наверное, не меньше — неверных. Споры велись непримиримые. Концепции выстраивались одна за другой. Не ощущалось особого недостатка и в прогнозах.

А что сбылось? Повысился интерес к минувшей войне, а на передний край литературы совсем уж неожиданно выдвинулась никем «не предусмотренная» проза о деревне, и выдвинулась она, можно сказать, прямо под аккомпанемент споров об «интеллектуализме». Василий Белов своей повестью «Привычное дело» как бы замкнул рассеянную в общественной атмосфере духовную энергию, и с тех пор литературный феномен, получивший имя «деревенская проза», надолго предопределил нравственные и гражданские искания отечественной литературы.

В начале восьмидесятых затеяли, было, разговор об *усталости* «деревенской прозы», однако жизнь очень скоро перебила эти похоронные мелодии, вновь свежо прозвучали голоса В. Белова, Б. Можаева, В. Распутина. Правда, то были голоса хорошо знакомые читателю, поэтому появление в конце 1986 года на страницах журнала «Север» романа Николая Скромного «Перелом» следует отнести к разряду тех неожиданностей, после которых в литературе открывается какое-то новое дыхание.

Николай Скромный родился почти через двадцать лет после описываемых им в романе событий (действие романа «Перелом» имеет точную историческую прописку: весна 1930 года), однако судового электромеханика (а такова его профессия) не прельстила суровая романтика Баренцева моря, его захватил и надолго суровый реализм отечественной истории, действующими лицами которой были отцы и деды людей его поколения. В тридцать восемь лет Н. Скромный дебютировал романом, позволяющим поставить его в ряд зрелых и самых серьезных современных прозаиков.

Должно заметить, даже в период открытой критики культа личности Сталина (конец пятидесятых — начало шестидесятых), когда порой ставилась под сомнение вся его деятельность, процесс преобразования деревни в годы коллективизации старались как-то обой-

ти молчанием. И многие из числа самых настойчивых критиков культа личности Сталина в этом вопросе продолжали цепляться за обломки сталинского идеологического багажа. И только усилиями таких писателей, как Ф. Абрамов, И. Акулов, М. Алексеев, В. Белов, К. Воробьев, С. Залыгин, Б. Можаев и некоторых других, «тема» эта, несмотря на активное сопротивление, находила свое дальнейшее развитие в нашей отечественной литературе. Роман молодого писателя Николая Скромного «Перелом» — лишнее подтверждение тому, что «деревенская проза» вовсе *не устала,* в чем нас недавно так настойчиво пытались убедить.

«Старики с детьми стояли просто. Но в молчании мужиков, баб, молодых парней и девок, в их то быстрых, исподлобья, то потупленных взглядах проступило такое унижение, стыд и затравленность, точно здесь, у села начинался страшный торг и были они предметом продажи...»

Представив эту картину, можно невольно унестись книжной памятью в эпоху жестоких петровских реформ и последующих за ней долгих десятилетий, когда открытый торг людьми стал делом если и не повседневным, то обыденным. А можно — в естественном желании несколько успокоить свою гражданскую и национальную совесть — унестись еще дальше, в эпоху, когда хищные орды динамичной *кочевой* цивилизации безжалостно сметали ростки молодой *оседлой* цивилизации в ее восточно-европейской интерпретации.

«Один из комендантов пошептался с правленцами, заложил руки за спину и прошелся перед прибывшими...»

Слово «комендант» укорачивает бег спасительной фантазии в прошлое и возвращает нас в пределы нашей реальной памяти.

Комендант прошелся перед «прибывшими», остановился и зазвучала родная русская речь в своей неподдельной русской неправильности — окончательно отлетели фантазии, все это происходило здесь, на нашей земле и с нами, правда, глаголы тут ставятся в прошедшем времени только из соображений формальной хронологии, боль минувшего не стала минувшей болью.

Поколение Николая Скромного формировалось в период резкой критики культа личности Сталина, но оно уже не было обременено ни старыми обидами, ни старыми предрассудками, возможно, ему-то и дано сказать свежее и объективное слово о «сталинской эпохе».

В сложную эпоху перестройки сознания и обретения нравственного мировосприятия т р а г е д и я н а р о д а, свидетелями которой сделал нас Николай Скромный, безусловно, поможет нам выработать твердые исторические нравственные критерии, что станут для нас выше всех близких или кажущихся польз и выгод.

Анатолий Ланщиков

Только один господь ведает меру неизреченной красоты русской души.

И. Бунин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Ясная, покойная тишина объяла станцию Щучинскую. Ветер стих, но в вышине все еще гонит по-зимнему размытые в очертаниях, ослепительно белые, с серым подбоем облака, натирает ими небосвод до голубого глянца, и когда облако перекрывает солнце, то меркнет свет под стремительно набегающей с полей тенью, холодом сквозит из-за углов, с недальнего бора тянет древесной гнилью и сыростью талого снега: облако сползает — и вновь заливает солнечным теплом и яркой зеленью вспыхивают мокрые поля, исполосованные вспухшими черными дорогами.

Оживает, выгревается мир после долгой зимы. Отлютовали морозы, отвыли свое затяжные в этих краях бураны. После них долго держалось промозглое весеннее ненастье — с рассвета задувал стылый северный ветер, днем секло редким, холодным дождем, ночью сыпало на ледяную землю снежную колючую крупу. Потом пошли туманные оттепели с мутными проблесками солнца, разбило дороги, отяжелели намокшие камышовые крыши, поползла глина с мазаных стен, измучились ожиданием и люди и животина, старики недоуменно пожимали плечами — казалось, ненастью конца-края не будет, и вдруг одним днем все кончилось: унесло низкую наволочь туч, высоко и ярко встало солнце, нежно и чисто открылись дали, черно и мокро обнажился лес, заплешивели курганы и через неделю только в ложбинах мелкосопочника изъязвленно лежали серые языки огрузшего снега, да и те убывали на глазах, бурля по ярам желто-бурой водой.

У вокзала людно. Завтра базарный день. К привокзальной замусоренной площади, которая и будет местом торговли, съезжаются подводы и брички степовиков.

Здесь обычно останавливаются те, у кого на станции нет ни родных, ни знакомых, поэтому коротать время до завтрашнего утра им придется здесь же, на площади, а то и в подводах, под звездами и кожухами. А пока, переложив товар после тряской дороги, они бродят меж возов, справляются, у кого что и почем его «планует» продать, или идут в зданьице угощаться спитым чаем и слушать последние газетные новости от выборных грамотеев. От разогретых шпал веет новым по времени, непривычно-тяжелым и потому тревожным запахом мазута, сожженного каменного угля, а с площади густо тянет своим, знакомым — сеном, квашеной капустой, картошкой, овчиной, продегтеванной упряжью — всем тем, что осталось для торговли после трудной зимы, товаром невеселым, грубым, однако крепким и нужным.

На солнечной стороне, вдоль дощатой стены корявого вокзальчика, на корточках сидят несколько стариков-казахов. Сняты носимые в любое время года неизменные малахаи, головы прикрывают маленькие, в плешь, тюбетейки. Старики изредка поплевывают коричневой табачной слюной, молчат о своем, ловя морщинистыми лицами весеннюю негу, и с деланной свирепостью пугают назойливую русскую детвору.

Все ожидают паровоза, который, по слухам, должен сегодня к двум часам пополудни прибыть в Щучинскую. Это событие чрезвычайной важности подтвердил начальник вокзала: он отогнал за привокзальный садик две подводы и приказал всем праздношатающимся убраться с путей.

Вскоре вслед за начальником вокзала сюда приехали секретарь райкома Гнездилов и начальник милиции Полухин. Быть паровозу, решили все, кто был у вокзала, и тут же, в подтверждение, насторожив коней и стариков, под радостные крики детворы донесся дальний гудок.

Состав оказался товарным и куцым. За тремя платформами, груженными углем, ящиками и листовым железом, низались четыре пульмановские теплушки.

«Опять кого-то привезли!» — прошелестела догадка в толпе, сгрудившейся у торца вокзала.

Состав страшно лязгнул сцепами, обессиленно омыв колеса паром, и замер. С подножки паровоза соскочил красноармеец и побежал вдоль состава. Он осмотрел скрученные проволокой запоры на дверях теплушек и

успокоенно помахал человеку в кожанке,— видимо, старшему, который, сойдя с тендера, выжидающе смотрел вслед бойцу.

Встречающее начальство вышло на перрон. Человек в кожанке пошел навстречу.

— Здравствуйте. Начальник партии Похмельный. Я телефонировал...

— Гнездилов,— протянул ему руку секретарь райкома.— Все в порядке? Побегов нет?

— Мои не сбегут. Некуда, да и незачем. Я их сейчас выгружать начну, а вы обеспечьте... Посторонних много, лишнее...

Полухин поманил к себе начальника вокзала.

— Я приказывал тебе убрать со станции зевак?

Начальник затоптался на месте:

— Я убирал. Они подводы увели, а сами — сюда. Паровоз все-таки. А пусть смотрят — может, наукой будет!

— Довод, ничего не скажешь,— укоризненно качнул головой Полухин.— Приступай, товарищ.

Похмельный дал знак, красноармеец откинул засов, и тяжелая дверь медленно поползла в сторону. Из дверного проема соскочили три красноармейца и помогли развести двери до упора.

— Выходи все! — громко крикнул Похмельный, подходя к теплушкам, и встречающие увидели, как в их сумрачной глубине, среди куч соломы и тряпья, зашевелились и стали подниматься сидевшие и лежавшие вповалку люди. Подойдя к проему, прыгали: кто сам, кто с помощью. Красноармейцы пошли открывать другие теплушки, а из первой все сыпались люди... В последней оказались дети, молодые бабы и старухи. Через несколько минут у состава копошилась серая людская масса.

Все смешалось: бабьи крики, детский плач, кашель, недовольные голоса и ругань мужиков.

Замелькали узлы, котомки, баулы, заплечные мешки, торбы, гремели ведрами, казанками, звякали котелки, фляги, кто-то из молодых парней с тревогой искал по теплушкам пропавший полушубок, о чем-то в голос рыдала баба...

От состава к вокзалу понесло вонью вагонного короба, в тесноте которого были вынуждены долго и скученно жить люди, их нестираной, заношенной одеждой, давно немытыми телами.

На тепле и свете люди щурились, зябко передергивали плечами. Обросшие мужики с мучнисто-серыми одутловатыми лицами, бабы с темными полукружьями у глаз и даже дети чем-то походили друг на друга, словно это высадилась чудовищно большая семья, и не одеждой, у всех зимней и темной, не обстоятельством, сведшим их вместе,— скорее всего, схожими их делало то долгое страдание, неуловимо появившееся в выражении лиц и уже становившееся привычным, какое бывает у калек с рожденья, у людей с ущербной судьбой и которое всегда заметно житейски опытному взгляду.

Похмельный, властно рассекая толпу, прошел вдоль состава, выкрикнул несколько фамилий, ему ответили. Затем осмотрел теплушки, приказал запереть их, выбрался из толпы и подошел к встречающим.

— Все на месте. Смертей и побегов нету.

Ему не ответили. Он понимающе замолчал и отступил в сторонку. Красноармейцы с ведрами ушли к вокзалу.

— Чего глядеть-то, командуйте,— тихо сказал Гнездилов, и тотчас заторопился Полухин:

— Сейчас же выводи их за станцию. Место им определено в тридцати верстах отсюда. Дадим провожатого, продуктов... Выводи!

— Продукты — это хорошо, а сколько подвод дадите?

— Одну, под продукты. А сколько ты хочешь?

— Чем больше, тем лучше. Многих надо везти.

— С этим, парень, хуже. Здесь станция, не село. Было у нас недавно два десятка лошадей, но мы их отдали на точки. Не ты первый... Дня через три должны пригнать табунок, а сейчас и рады бы помочь, но нечем,— жестко отказал Гнездилов.

Похмельный переступил так, что оказался лицом к лицу с секретарем.

— Это не ответ. Баб и мужиков я погоню пешком. Но там,— он повел головой в сторону состава,— дети, старики и молодайки с грудными. Они еле на ногах держатся. Их пешком я не поведу, они попросту не дойдут. Не хватало мне покойников в дороге... Нет,— твердо закончил он,— без подвод не выйду!

— Сколько у тебя детей и стариков? — переглянулся Гнездилов с Полухиным.

— Стариков человек двадцать наберется, больных двенадцать человек, детей малых десятка три будет, но

и постарше надо везти: своими ногами они ваши тридцать верст не отмахают и на плечах не донести. Да и молодух сажать надо: жалились — молоко пропадает... Да вы гляньте на них! В чем только душа держится. Полтора месяца в дороге, во всех железнодорожных тупиках...

Гнездилов не дал ему договорить:

— Тебе минимум надо шесть пароконных подвод. Это двенадцать лошадей, брички... Где прикажешь взять?

Похмельный с раздражением ответил:

— У меня в предписании ясно сказано: «Всем партийным органам, местным Советам, отделам милиции и ГПУ оказывать всяческое содействие».

— Знаю! — резко оборвал его Гнездилов.— Знаком с вашими препроводиловками. Но нет лошадей. Нет! Все, что было, отдано.

— А эти? — указал на площадь Похмельный.

— Это частная собственность на торги съехалась. Проси вот его,— Гнездилов указал на Полухина,— может, в порядке гужналога сумеет реквизировать три-четыре подводы.

Полухин усмехнулся:

— Ничего не выйдет. Они семьями приехали, в подводах товар и ночевка. Но пару бричек найду. Есть у меня в отделе четыре выбракованных коняги. Детей, думаю, довезут?

— Довезут,— осторожно согласился Гнездилов.

— Иван Денисович, а ведь и ты можешь найти две-три подводы,— улыбчиво продолжал Полухин, согретый благодарным взглядом Похмельного.

— Это где же? — насторожился Гнездилов.

— Пару лошадей забери в райполеводсоюзе и отдай нарочных.

— А нужда встанет — на чем поедешь, на чем пошлешь? Друг на дружке выедем?

— Почтарям до завтра лошади не потребуются, он же к тому времени обернется. Надо, Иван Денисович, помочь.

Гнездилов смотрел на людей, все больше темнея лицом, наконец согласился:

— Быть по-вашему: найдем подводы... А кроме того, дадим бидонов пять обрата, сливок детям, мяса вяленого, хлеба мешка три,— строго сообщал он Похмель-

ному.— Это в дорогу. На месте есть указание насчет кормежки. Ты, Сергей,— обратился он к Полухину,— брички выбери пошире. Лошадей не жалей, сдохнет какая в дороге — на махан пустят, раз уж они у тебя выбракованные. Если есть шинели старые или попоны — отдай: ночи холодные, детей укроют... А я в райсоюз, затем на склад, в пекарню...

И он ушел к пролетке.

Похмельный проводил его долгим взглядом, хмыкнул непонятно чему и, повернувшись к составу, где все еще гудели люди, громко выкрикнул:

— Кончай отряхиваться! Построиться всем!

Они замерли от окрика, засуетились, шум усилился, и вскоре, к удивлению присутствующих, образовали подобие колонны. Стояли не так, как ехали — врозь, а семьями: многие мужики держали на руках детей.

— Готовы? Слушай сюда. Вот он,— Похмельный указал на Полухина,— сейчас выведет вас за станцию. Туда харчей подвезут, подводы пригонят, там и по нужде можно... А теперь без фокусов следовать до места. Всем все ясно? Конвой, в оцепление!

Полухин, поминутно оглядываясь, словно не веря, что за ним пойдет эта подавляющая душу, расхристанная масса, прошел к дороге. К нему пристроился молодой конвоир, остальные, вскинув на плечи винтовки, привычно заняли свои места, и прибывшие медленно тронулись вдоль железнодорожного полотна. Из паровозного оконца сверкнул зубами в улыбке на дегтярно-черном лице машинист и, прощаясь, дернул сигнальный тросик. Паровозный вскрик, оборвав сердца, слепо заметался меж домов и унылых складских бараков в поисках выхода и, вырвавшись, тревожно понесся над станцией, над сырыми просторными полями к далеким лесистым сопкам, где медленно затих печальным кликом.

На площади шарахнулись, забились в постромках и заржали кони, оборвалась тягостная тишина у вокзала.

Закричали, запричитали бабы, бросились к колонне. Выискивая глазами стариков и детей, совали узелки с едой, осеняли крестом, крестились и плакали сами...

Степовики недобро молчали. Один из них не выдержал, что-то злобно крикнул вслед Похмельному, который замыкал колонну. Он, казалось, не замечал ни взглядов, ни суматохи, ни шума, с любопытством осматривался по сторонам, удивленно приостановился у ста-

риков-казахов, которые встали перед ним, а на оскорбительный выкрик оглянулся и с веселым согласием кивнул головой.

Колонна скрылась за пристанционными домишками и вышла в открытое поле.

II

В полуверсте от станции по опушке бора тянулась вырубка. Велась она два года назад, когда потребовался строевой лес для железнодорожной ветки, идущей на Н-ск через Щучинскую, и велась с размахом. Строительство железной дороги — работа денежная. На заработки сошлись мужики из окрестных деревень, сколотились в артели, плюнули в ладони — и застонал лес. Бор был оконечностью лесного массива, что гигантским клином сползал в эти места с Южноуралья: дальше, куда намечалась дорога, лежала пустынная степь, поэтому строители запасались материалом так, чтобы хватило до окончания ветки.

С утра до ночи не умолкало по опушкам. Звенели пилы, смачно ухали топоры, остерегали гулкими криками друг друга лесорубы и надсадно храпели кони от непосильных возов.

Вырубали дерево ядреное, крепкое. Мелочь не трогали и пускали под топор только в случае помехи.

Со страшным хрустом валились вековые сосны и берёзы, чтобы тут же тремя-четырьмя продегтеванными обрубками лечь под стальные рельсы. Не щадили и молодняк. Вместе с сучьями и тем, что мешало, он увозился в степные села, грудами летел в круглосуточные костры, шел на шалаши, заборы, оглобли, черенки...

Ветка прошла Щучинскую, которая к тому времени обрела статус станции, и вместе с железнодорожным полотном, под смертный перестук топоров, кромсая и уродуя лес, прожорливо поползла дальше в глубь и вырубка. Жители станции и окрестных сел воспользовались оказией и неразберихой в лесничестве — запаслись дровами на ближайшие два-три года.

Издали предлесовье выглядело прежним. Все так же черно и четко вставал бор на вечерних ало-синих зорях, все тот же смоляной запах плыл на станцию в жаркие полдни, и только вблизи открывалась угнетающая кар-

тина дела рук человеческих. От диковатой пустоты на месте вырубленного леса, безхозяйственно высоких пней, мертво осевших куч хвороста и древесной трухи, в которых утопала нога, веяло унынием и печалью, точно с кладбища.

Приведя сюда людей, Полухин вернулся на станцию, а они громадным неряшливым табором раскинулись по опушке. То удивление лесом и размерами вырубки угасло, исчез живой блеск глаз, и они с прежним выражением угрюмого равнодушия и некой обреченности занялись мелкими хлопотами: сбросили зипуны и кожухи, сняли верхнее, били рубахами и нательным по стволам, пням, выбивая прах, вшей, бабы трясли над костерками детским, платками, перебирали в узлах, обихаживали детвору...

Поодаль на шинельных скатках сидят конвоиры. Похмельный вначале нетерпеливо расхаживал по вырубке, поглядывая на часы и станцию, откуда ожидались подводы, потом сел, в дреме уронил голову на колени. Прошел час, вода кончилась, пришлось посылать конвоиров к вокзалу. Наконец из-за ближних домов чередой выехали подводы. Он достал кисет, отсыпал в ладонь и отдал его вместе с обтрепанным квадратом газеты под жадные взгляды мужиков, подосадовав своей промашке — он забыл попросить табаку... Первой подъехала бричка, уставленная бидонами. Рядом с возницей сидел Гнездилов.

— Полухина не было? Видно, споткнулся где-то... Это тебе в дорогу,— указал он на бидоны и мешки с хлебом.— Ну, а ты чего невеселый сидишь? Кажется, сделали все, как в твоем предписании. Или дороги боишься? Так я тебе самую хорошую выбрал.— Он тяжело присел рядом.— Красивую и короткую. Все лесом, воздух хороший, птички поют — и всего-то тридцать верст. К утру на месте будешь.

Легкость слов его не вязалась с печальным взглядом.

— Курева бы нам...

— Это можно.— Гнездилов подозвал возницу, достал бумажник.— Доедь до Варлама, купи у него связку табаку. В райкоме, у Григорьевны, возьмешь десяток старых газет... Скажи, я приказал, и немедля сюда.

Когда бричка отъехала, пояснил:

— Будет у тебя провожатым. Теперь слушай... Тебя как звать-то? — Он крест-накрест черкнул в записной

книжке несколько линий, одну, с кружком в конце, жирно выделил и вырвал листок.

— Смотри внимательно, Максим. Это — твоя дорога, а это — село, куда тебе надо. Разберешь? Вот дорога, вот село. Я помечу.

— Зачем, если провожатый есть?

— Мало ли... не помешает... Село хорошее, живут в нем неплохо, поэтому твоим повезло — других вообще в пустое место определяем. У тебя их сколько?

— Сто девяносто четыре человека вместе с детьми и стариками.

— Это всего. Но размещать их надо семьями. Семей сколько?

— Осталось тридцать восемь.

— Было больше?

— В четыре раза. Мне повезло — в Челябинске попал под формирование. Достались одни семейные...

— Все равно партия крупная. Когда доберешься, людей и документы на них сдай председателям и комендантам. Они знают, что делать дальше. Кстати, передашь записку Строкову, председателю колхоза. Я здесь в отношении посевной требую, пусть посображает с активом... Доведешь, сдашь — не забудь с них взять расписку в том, что они приняли от тебя и разместили под свою ответственность столько-то людей. Без нее мы тебе обратные бумаги не оформим. Хотел бы еще попросить: будешь в селе — приглядись к председателю колхоза, послушай, чем сельсоветчики дышат, что за настроение у них. Скоро сев, а я, признаться, давно к ним не заглядывал. Чувствую, передоверился Строкову.— И, понимая явную странность своей просьбы к незнакомому человеку, которому сейчас наверняка не до чужих забот, как бы оправдываясь, пояснил:

— Вконец закрутился. Третий месяц мотаюсь по городам, скачу с паровоза на паровоз, по заводишкам, предприятиям, выколачиваю для них,— кивнул он на опушку.— А в села кого попало не пошлешь, самому надо. Говорить тебе с ними придется, вот ты, будто ненароком, и зацепи посевную. От тебя они таиться не станут, а свежему взгляду виднее...

— Хорошо, послушаю... А где этот, из милиции? Он точно найдет подводы?

— Обещал — значит, найдет... Да, напомнил ты мне...— Гнездилов оглянулся на конвоиров, понизил го-

лос.— Вчера нарочный приезжал из Озеречья, дальнего села нашего района... Безобразят у нас. Полухину я пока ничего не говорю, не то он такие маневры наведет, что я людей в поля не выведу.

— Банда? — равнодушно поинтересовался Похмельный.

— Что ты! — испугался Гнездилов.— Нет... По-моему, мужики просто дурью маются. Объявился здесь некий Ганько. Слышал я, уголовник, судимости есть, побеги. Официальных данных на него нет. Но вот что дружки думают — не понимаю. Ладно были бы идейники какие или из бывших, а то ведь, говорят, мужики из местных сел. Конечно, возмущаться нашими действиями за последнее время они вправе, не отрицаю, но не таким же образом.

— А каким? Не сами ли мы заставили их за обрезы взяться?

— Ни с топором раньше, ни с обрезом нынче крестьянин себе счастья не добывал. Забыл двадцать первый год? В феврале у Нового Яра нашли убитого, по слухам, их рук дело. В марте выдали в Озеречье в семфонд пятьдесят пудов кубанки. То ли вызнали, то ли случайно встретились, не знаю, но кучерам накостыляли, подводы увели вместе с лошадьми по сей день неизвестно куда и записку оставили: «У грабителей — угнетенному крестьянству». Четырнадцать мешков семян пропало! У меня три дня все из рук валилось... Нарочных стерегут на дорогах, пакеты вскрывают.

— Хотят быть в курсе событий.

— Ума не приложу, чего они хотят.

— Может, и вправду бедноте отдали?

— Кой черт! За приют да самогон отдали.

— И поймать нельзя?

— Можно, наверное... Мне шум поднимать сейчас нельзя. Окружком, в случае неудачи, предпримет такие меры, что пострадают вновь многие невиновные люди в селах. У нас это запросто... Ганька впрямую не взять, так, чтоб поехал — и поймал. Людей у него мало. Нашкодят — и по домам. Попробуй догадайся, кто это. Собираются где-то в лесах, на кордонах, на так называемые «совещания», и оттуда — на разбой, другого слова не нахожу.

— Значит, банда, чего уж здесь скрывать,— жестко определил Похмельный.

— Банда не банда, но на то похоже,— нехотя признался Гнездилов.

— А откуда известно, где собираются? Есть сведения?

— Да нет никаких сведений. Все с десятых слов. Сунулся Полухин по одной ниточке, дошел до третьего человека, на том и кончилось. Он же не каждый день на дорогах, а люди боятся. Нас боятся, Ганька боятся...

— А облавы?

— Мне наши партийцы предлагали. Вряд ли. Ничего облавы не дадут, только народ взбулгачим. Я, честно говоря, тянул время, думал, одумаются мужики. Сейчас для них повернуло вроде бы на лучшее. Но, гляжу, неймется, видимо, нам по-хорошему не разойтись. Чувствую, что у Полухина какой-то пинкертоновский план: тех кучеров с собой всякий раз берет в поездку, знакомства завел, приятельствует со всякими. Я его не расспрашиваю, жду, пока сам похвалится, и после сева — налягу. Вызову из округа конный полк, проведем облавы, аресты. Раньше надо было негодовать и не так... Я к чему тебе рассказываю: возможно, встретитесь с ним на дороге, так чтоб без паники. У тебя сколько винтовок?

— Десять.

— Ты с оружием?

— Да, наган.

— Так у тебя целый отряд! Я уверен: обойдет он вас десятой дорогой, если увидит. Взять с вас нечего, а шум ему, как и мне, сейчас поднимать не следует. Но ты дорогу не растягивай, иди быстро... Знаю, что устали, что трудно. В селе отдохнут... Все я, парень, знаю...

— Теперь понятно, к чему провожатый,— усмешливо посмотрел на него Похмельный.— А поймать его можно без всякого шума. У вас, видать, своих людей в селах нет. Сейчас не таких субчиков в мешок суют. Жаль, что не у вас работаю. Я бы его, гада, со своими ребятами давно бы на цепок посадил.— Сказал он вроде бы вскользь, но все равно вышло некрасиво.

— Так то ж ты! — с наигранной значимостью ответил Гнездилов и улыбнулся.

За спиной послышался стук телеги. Оба оглянулись. К вырубке подъезжало еще три подводы. На первой кучеровал Полухин, остальными правили местные ребятишки. Он лихо соскочил, захлестнул вожжи за ступицу.

— Получай обещанное, вези своих стариков. Шинели не забудь, мне их сдавать надо.— Похмельный и Гнездилов поднялись.— Сделали все, что могли, Иван Денисович. Время на вечер, пусть уводит.

— Подожди... Ты, может, покормишь их перед дорогой?

Похмельный помедлил с ответом.

— И надо бы, но не стану. Отойдем верст на пять. Поляны-то есть или все лесом?

— Есть... Ты хоть детей попои. Я для них бидон сливок выпросил и хлеб свежий...

Гнездилов посмотрел на вырубку и вновь отяжелел лицом в печали.

— Да, не сладко им. Хлебнут свое... Я вот уже третьих по счету сам принимаю, а все не привыкну. Понимаю, что не на смерть ведем, но жить и работать,— а не могу. Мужики — куда ни шло, но гляну на детей, женщин — сердце давит...

— А лошадей дать не хотел,— заговорщицки подмигнул Полухин Похмельному.

— По живому рубим. Все бы нам быстро, все бы нам процентно. Палка, она о двух концах. Еще икнется нам! Не пришлось бы впоследствии...— Он не договорил, потерянно повел рукой.— Что теперь губами чмокать! Нам теперь остается одно — по-человечески доводить начатое... А ты, парень, небось привык, а? Смотрю на тебя —крепко держишься,— с завистью заглянул Гнездилов в лицо Похмельному.— Тебя это дело не мучит?

— Не мучит.— Похмельный отряхнул брюки, поправил кепку.— А от ваших страданий хорошее средство имеется — посмотрели бы на них не здесь, а там, на родине, послушали, еще лучше — поработали бы на моем месте, и все как рукой сняло бы.

— Ух ты! — вспыхнул Полухин.— На его, видите ли, месте. Каждому надо быть на своем месте. Нечего примерять и предлагать чужое. Мы и на своих местах насмотрелись и наслушались... Ты как поведешь?

Похмельный пожал плечами:

— Как обычно.

— Тогда не тяни время, веди. А мы здесь постоим: и послухаемо и побачимо,— с издевкой прошелся Полухин по украинскому выговору Похмельного, но тот его уже не слушал — он весь подобрался, недавняя ленца в движениях и словах исчезла, на лицо его, мелкое и кра-

сивое, легло то жесткое выражение, при котором лишних вопросов не задают.

Он поднял конвоиров, подозвал нескольких мужиков и теперь властно отдавал приказания:

— Готовьте людей. В подводы посадите детей и стариков. Места останутся — сажайте с грудными. Сажайте по совести. Увижу в бричке кого из вас — сниму, навьючу и буду бегом гнать до места. Всем дошло? Ты, Хорошков, пойдешь впереди, с провожатым... Кстати, где он? Едет? Пойдешь с ним. Заметишь неладное на дороге — стреляй вверх. Остальные пешком. Кормить будем на первом привале... Нет, голуби, бабы не хуже вас могут лошадьми править. На своих дотопаете. Рассаживайся!

И вновь, так же, как на станции, Гнездилова тяжело поразили сборы людей. Бабы с детьми, старики, подростки обступили подводы, поднялся крик, споры, толкотня, просьбы, с руганью ввязывались мужики.

К подводам прошел Похмельный, и шум стих. Вскоре они были до отказа набиты людьми. Тем временем подъехал провожатый, еще несколько стариков с детьми сели в бричку, и Гнездилов, пристально следивший за людьми, заметил, что из всех усаженных только один старик благодарно кивнул, и то непонятно кому: то ли провожающим, то ли провожатому, стоявшему рядом с Полухиным.

— Все,— сказал Похмельный и достал часы.— Пятый час. Пора...

Полухин с начальственной строгостью спросил:

— Не боишься лесом? Может, тебе конвой усилить?

Похмельный поморщился:

— И этот лишний. Куда им бегать? Баба с детишками не побежит, а мужик от семьи тем более. Хотя черт их знает! Они сейчас при таких мыслях, что всего ожидать можно.

Гнездилов попросил:

— Обратный паровоз послезавтра, поэтому ты не торопись из села. Возможно, там твоя помощь потребуется... Мало ли какая! Сам же говоришь: всего ожидать можно.

Его поддержал Полухин:

— Возникнут происшествия: драки, скандалы или, чего доброго, твои взбунтуются — под винтовку и ко мне. Я им другое место найду, где ругаться не с кем. Да

скажи комендантам, пусть держат в строгости. И меньше бражничают. Есть там один. Иващенко, кажется, его фамилия... Да там не он один! — И примиряюще подал руку: — Потерпи, тебе немного осталось. Отведешь, вернешься, на паровоз — и домой к жене, детям, и кончится твоя работа, и начнется наша... Или еще привезешь? — На этот раз он подмигнул Гнездилову.

— Да нет,— холодно освободил руку Похмельный.— Хватит. Навозился. Мне и этих до смерти помнить... Пойду я, товарищи. Спасибо за помощь.— Он, прощаясь, тронул козырек кепки и пошел догонять и подводы, и пеших людей, которые прошли вдоль вырубки к дороге и длинной рваной лентой вползали в лес. Ушли с опушки и Гнездилов с Полухиным, оба со сложным чувством неясной тревоги, виновности и вместе с тем — некоторой облегченности.

Обоз скрылся в лесу. Там, где только что были люди, крики, кони, сборы и скрип телег, наступила тишина, остались лишь чернодымящиеся пятна затоптанных костров. Вездесущие воробьи тут же налетели с жадной проверкой, гневно закричали, не найдя ни единой крошки хлеба, но мелкое лесное зверье еще долго обходило место привала с его отвратительным запахом человека и гари.

III

На первой же большой поляне Похмельный вместе с многодетными матерями поделил хлеб и мясо (в одном из мешков оказалась сушеная конина) и повел обоз настолько быстро, насколько позволяла тяжелая лесная дорога, насколько быстро могли идти на опухших ногах измученные люди, тянуть перегруженные подводы бракованные милицейские кони, с вынужденными остановками, когда молодого парня с залипшими от ячменей веками кидало оземь в очередном припадке падучей и окружающие заслоняли собой бившееся в корчах и стонах тело от детских глаз, или с частыми и внезапными бросками в чащу кого-нибудь из ведомых, потому что от снятого молока и непривычной местной воды с горько-соленым привкусом многие мучились животами.

Он внимательно следил за расстановкой людей, так чтобы в середине, по разбитым колеям шли мужики, а по ровным, подсохшим обочинам — бабы, менял стари-

ков на подводах и лично выдавал на детвору сливки. Он опасался и встречи с местными, безобразившими на дорогах мужиками, и того, как бы лесной простор, широко и вольно открывавшийся с пригорков, и в самом деле не поманил к верной гибели кого-нибудь из молодых парней. Дорога то тянулась меж светло-редких березовых колков, в сердцевинах которых черно, с голубыми взблесками отраженного неба просматривались бочажки талой воды; то уходила в сумрачную глубь сосновой чащи, где под мощными ветвями еще лежал странными очертаниями присыпанный иглами и шишками снег, истекая прозрачной влагой в колеи, и тогда люди вязли в грязи, спотыкались о корневища, выползавшие на обочины, и криками помогали взмыленным лошадям; то поднималась из сырости на отлогие песчаные бугры, где было по-летнему тепло, сухо, легко шли вниз кони, бежали, держась за тележные грядки, люди; то выходила на просторные луговины, рдяно высвеченные предвечерьем.

К сумеркам пошли медленнее: и люди и кони окончательно выбились из сил, поэтому до рассвета Похмельный был вынужден объявить ночевку. Мужики выпрягли коней, насобирали сухого хвороста, нарубили лапника, чем могли укутали детей, и весь люд рухнул у множества костров в тяжелое забытье. На заре ударил заморозок. Костры давно догорели. Конвой грубыми окриками едва поднял людей со стылой земли. Похмельный сам отрывал парней от угасших углей и торопил обоз: от тяжкой простуды людей спасала быстрая, до вымывающего хворость пота, ходьба. Дорога зачугунела, и в рассветной полумгле далеко разносился стеклянный хруст льда в колдобинах, лошадиное всхрапывание и неслаженный шаг людей.

Светало стремительно. С восходом солнца лес потерял ночную жутковатость, в просторных межлесовьях поплыли прозрачно-дымчатые занавеси тумана, так же быстро теплело, и вскоре дорога обмякла. Прошло еще около двух часов, и лес кончился.

Обоз вышел в открытую степь.

Похмельный объявил последний привал — впереди, за темно-синей полосой озера, вдоль берега длинно стлалась Гуляевка.

Люди пристально разглядывали село. Там наконец-то кончится для них дорога, кончится и мучительная не-

ясность будущего, поэтому, как бы ни трудны были эти оставшиеся версты, что бы ни ожидало их в селе, но последний привал они сократили наполовину и впервые стали подниматься без команды.

В это время из лесу, по той же дороге, выкатила арба и остановилась неподалеку. Из нее выкарабкался маленький старик-казах в грязном чапане, опоясанном веревкой, подошел к конвоирам, поздоровался.

— Куда, зачем, люди, идем?

Ему указали на село:

— Уже пришли.

— Откуда идем?

— Издалека...

— Почему ногами идем? Почему всем лошадь нету?

— Не нашлось на всех лошадей, вот и пришлось ногами.

— Кто не нашел?

— Начальство ваше.

— Брешет, не хотел давать.

— Не похоже... Говорит, отдал всех лошадей.

— Куда дел? Надо кричать было сильно: давай всем бричка! Не кричал?

— Не кричал,— вздохнул Похмельный.

Казах поглядел на людей, сочувственно цокнул языком:

— Плохо. Дети худой, баба худой, старый много... Почему сюда идем? Другой место нельзя?

— Нельзя, наверное. А разве это плохое место?

— Другой место близко. Почему в Кошаровку не пошел?

— Ты что, дед, допрос с меня снимаешь? — устало спросил Похмельный.— Езжай своей дорогой. Езжай, не то помогу... Ну!

— Начальнику не кричал — на меня кричишь? — невозмутимо отвечал старик.— Сейчас поедем.— Он подошел к стайке баб, стоящих особняком.— Эй, маржа, давай садись детей бричка!

Бабы настороженно переглянулись и знаками, точно глухому, дали знать, что не хотят.

Казах хлопнул себя руками по бокам, досадуя этакой бестолковости и сердито закричал:

— Садись бричка! Два раза туда-сюда — все дети в Гуляйке будут!

Он потянул за рукав ближнюю молодайку и тоже

знаками предложил залезть в арбу. Та вырвала руку и отошла к мужикам. Старик подошел к другой.

— Айда ты первый. Дети есть? Нету? Бери чужой.

Но и эта испуганно попятилась. Стоявший рядом мальчуган лет десяти басовито не по возрасту заплакал.

— Да отойди ты, нехристь! — крикнул кто-то из мужиков.— Максим, чего молчишь? Гони его!

Бабы замахали старику руками. Похмельный сзади легонько подтолкнул его к арбе.

— Езжай, дед, один. Видишь, не хотят они. Не желают. Им ногами сподручнее.

Старик недоуменно посмотрел на всех, плюнул под ноги и покатил в село.

Когда до Гуляевки осталось версты полторы, Похмельного, который по-прежнему шел замыкающим, вызвали в голову обоза. Возница-провожатый ткнул кнутовищем в сторону села — там к крайней хате, что стояла у взгорка, стекались люди. Еще полчаса ходу — и обоз подошел к селу. Из толпы навстречу вышло несколько человек. Один из них — крепкий коренастый мужчина в расшитой, чистой косоворотке под хорошим пиджаком, в мягких козловых сапожках, с умным, породистым лицом оказался председателем колхоза Строковым, другой — председателем сельсовета, двое — комендантами, остальные — активистами села.

Похмельный достал документы.

Строков бегло взглянул, списки передал комендантам, предписание вернул Похмельному.

— Это все? — спросил он.— Наконец-то! Мы давно ждем и готовы... Собственно, и готовить нечего — чем богаты... Нам говорили, что направят меньшую партию, тогда вообще было бы пустячное дело... Наш план таков: вы называете самые многодетные семьи, и мы ведем их... в то, что еще более-менее сохранилось. Малосемейных — в хаты похуже, ну, а остальным — остальное. Выбирать не приходится. Вы как считаете? — Он словно просил выразить восхищение рассудительностью колхозной власти.

— Вам лучше знать,— равнодушно ответил Похмельный.— По мне — лишь бы скорее...

Он по памяти выкрикнул несколько фамилий и ушел к опустевшим подводам, в которые завалились конвоиры и которые тут же облепила местная детвора. Гуляевцы зашикали друг на друга и затихли.

Настороженная толпа высланных дрогнула и распалась. Главы семей вышли на круг последними.

Старики с детьми стояли просто. Но в молчании мужиков, баб, молодых парней и девок, в их то быстрых, исподлобья, то потупленных взглядах, в неловком стоянии под сотнями глаз, в том нехорошем безмолвье, что наступило у взгорка, так что стали слышны дальние вскрики гусей на озере, проступило такое унижение, стыд и затравленность, точно здесь, у села, начинался страшный торг и они были предметом продажи...

Один из комендантов пошептался с правленцами, заложил руки за спину и прошелся перед прибывшими.

— Я вам прямо скажу, дорогие товарищи,— светлиц для вас не ожидается. Вы люди умные, хочь и усталые, поэтому наше положение тоже сознайте...— начал он громко и важно, но тут же смолк и, краснея, прокашлялся в кулак.— Дорогие гражданы! Через того, шо мы не знали, когда вас приведут, мы...— Он опять осекся, окончательно сконфузился и растерянно посмотрел на подводы.

Конвоиры посмеивались.

— Да не товарищи это и не граждане,— лениво отозвался из брички Похмельный.— И тем более не дорогие. Кулаки они. Сосланные или высланные. Так и называй.

Должной речи не получилось. Комендант обескураженно развел руками и повел первую партию в село. Второй комендант с правленцами набирали другую партию, а подводы с конвоем да и самих прибывших окружили гуляевцы. Спрашивали, за что их выслали, по какой статье, надолго ли, когда это случилось — до выхода мартовской статьи или после, какого достатка они были, и чувствовалось: самый живой отклик вызывали не те ответы, где говорилась правда о высланных и как объясняли местные партработники, как сообщалось в газетах, пусть даже кратко, а те, где была видна явная несправедливость — тут-то можно было значительно переглянуться и в какой раз горестно вздохнуть чужому горю и жестокости власти.

— Вы когда в Щучинскую прибыли? — спросил Строков, облокачиваясь на тележную грядку.

Похмельный ответил и вспомнил о записке. Строков, читая, недоуменно приподнял бровь. Вежливости ради Похмельный спросил:

— Наседает секретарь?

— Не наседает, а прямо-таки за горло берет,— охотно ответил Строков.— Все о посевной беспокоится. Знаете... Простите, как вас? Да? Невеселая фамилия... Он уже требует поднять... раньше предполагал, теперь требует... Требует поднять этой весной девятьсот гектаров. Семян должно хватить: в наличии что-то около трех тысяч пудов да на руках восемьсот пудов, точно не помню,— словом, семян хватит. Но где взять столько быков, лошадей? Ведь я ему еще в марте докладывал! Вот уж поистине... Вы когда обратно? Я с вами ответ передам. Пусть приезжает и смотрит на месте. Впрочем, что смотреть? Урезать посевную площадь — единственный выход.

— А семена куда?

— В счет осенних хлебопоставок сдадим. Можем ссудить в соседние села, в аулы продать... Да ваших же сосланных кормить. Им пайки установлены, а в пайках — крупы.

— Богато живете...

— Какое там! Одна видимость. Грохочем цифрами, а надо бы делом... Вы с селом знакомы? Я имею в виду сегодняшнюю обстановку? Тогда мне нет смысла объяснять вам, насколько трудно поднять крестьянство на нынешнюю посевную.

— Почему трудно? Крестьянин без пахоты — не крестьянин, одно название. Трудно, наверное, объяснить ему всю выгоду коллективной посевной? Так? А сеяться они хотят, очень даже хотят!

— Верно,— согласился Строков.— Не будут сеяться — пропадут. А какие я могу дать им гарантии на осень? Это говорить, призывать легко. Но нехватка инвентаря, недоверие, слухи, наши ошибки и вот это,— он указал на высланных,— и такие,— теперь он щелкнул по записке,— кабинетные требования не дадут, хоть разбейся, организованной посевной. В отдельных селах — может быть, а в общем... Я не верю. Ко всему — частнособственнический настрой колхозника. Его в один день не перекуешь, как бы высоко он ни поднимал руку за колхоз, особенно когда на него смотрит уполномоченный из района. Нужно время, подход... Но, я вижу, вам это неинтересно. Вы расскажите, как в ваших краях идет коллективизация и выселение. Вы с Украины? Много выселено? Куда? К нам вести не всегда правди-

вые доходят, а в газетах явно скрывают, непонятно для чего...

— Выселяют... А чего с ними антимонии разводить? Советской власти второй десяток, а они до сих пор в спину стреляют да амбары жгут. Рабочие голодают, страна на карточках сидит, они же — зерно в болота. Вон видишь семью? Шапку снял... Нет, не тот... нагнулся... видишь? Вот эта сволочь пять мешков керосином облила. Что с ним делать? Только на высылку. Но, смотрю, им и здесь неплохо выходит. Лес рядом, озеро, жилье какое-то, даже семенным зерном грозитесь снабдить. Совсем неплохо! — Он с наслаждением потянулся.— Слушай, председатель, ты бы пристроил куда-нибудь меня с ребятами. Чтоб поесть и отоспаться.

— Непременно. Мы об этом подумали... Так вы говорите, рабочие голодают?

— И лошадей определи. Совсем выдохлись. Я уж думал — не дотянут.

— И лошадей определим... Так вы говорите, рабочие голодают и, верно, недовольны нынешней... Знаете, товарищ, я хочу сказать прямо...

— Отголодались! Теперь этих гадов заставим их кормить. А вы поможете.

Строков подхватил:

— На то и поставлены! Только рабочий класс способен сейчас разрешить противоречие, сложившееся между ним и крестьянством. Но вот что настораживает: сейчас нужны и оправданы... крайние, скажем, меры. Но не могут ли в связи с этим сами рабочие...

— Ты извиняй меня, дорогой,— Похмельный соскочил на землю,— но устал я от умных разговоров. Невмоготу уже! Нам бы отдохнуть.

Строков ответил с ясной, простецкой улыбкой:

— Проще всего. Сейчас идите с комендантом. Он вам укажет квартиру. Лошадей сами сведем на конюшню, зададим корму, все сделаем, как надо... Деньги? Ну-у, зачем же вы... Вон какую ораву кормить придется, а вы о десяти ртах считать затеяли. Я еще здесь побуду, потом в правление, дам указание выдать на первые похлебки. А утром поговорим.

Он ободряюще похлопал плотной бело-рыжей рукой по плечу Похмельного и отошел к активистам.

Комендант и председатель сельсовета повели вторую партию. С ними ушел и конвой. Любопытствовать стало

нечему, и большинство гуляевцев разошлось по домам. У взгорка остались самые сердобольные да томились ожиданием последние сосланные.

Когда на въезде в село открылась широкая и прямая улица, Похмельный подозвал к себе коменданта и, указав на одного из высланных, попросил подобрать его семье жилье получше, пояснив при этом, что высланный — мастер на все руки: бондарь, столяр, кладет печи, кроет крыши, он не пожалеет об оказанной услуге. Семью вывели на обочину, и один из активистов увел ее в первый же проулок.

Расселили высланных на удивление быстро. Пустовавших добротных хат всем не хватило, поэтому в просторные пятистенки по просьбе самих же новопоселенцев вселяли по две семьи — бесхозное жилье требовало основательного ремонта: хаты зияли пустыми квадратами вывороченных окон, дверей, взъерошенными камышовыми крышами и запустеньем дворов. Впрочем, люди безмерно рады и этому. Разное думалось за время долгой дороги. Мрачно виделась воющая ветрами полупустыня, поросшая диковинными колючими растениями, грозила полным уничтожением святых обычаев и духовной памяти чужая вера азиатского края, где все так чуждо, что даже умершего бегом несут на кладбище и хоронят не иначе, как усадив лицом к востоку, а в возглавии могил неизменно ставят камень с непонятными, похожими на сабельные клинки письменами, осененные рогатым полумесяцем, коему поклоняется мусульманский мир, а встретился на диво родной, певучий язык, такие же люди и село, лубочно украшенное осокорями и вербами, окутанными прозрачно-зеленой дымкой лопнувших почек, с привычным глазу развалом мельничных крыльев за околицей, с золотой искоркой креста на церковном куполе...

IV

В хате старика-гуляевца, где остановился конвой, было бедно, но чисто, пахло недавней побелкой, на окнах голубели свежие задергашки, в протертых стеклах, в аккуратно составленной посуде, в скобленых лавках — везде чувствовалась женская рука и таился по углам тот тихий старческий уют, который так ценил в своей неприкаянной жизни Похмельный.

Старик рассказал: к нему ходит замужняя дочь убраться да состирнуть, а сам он вдовствует и жить у нее не желает, хотя и приглашают, ибо наступило такое время, когда и ближнее родство в тягость становится. Пока постояльцы выколачивали одежду и мыли сапоги во дворе, старик на скорую руку сготовил, по его выражению, «весенний перекус». На столе появился желтый, разваленный крестом пласт осыпанного солью сала, россыпь мелких фиолетовых луковиц и сырые яйца. Намекнул — конвоиры скинулись, и он спроворил где-то самогонки. Похмельный испытал неловкость, но в хлопотах не останавливал, только выругал Строкова за то, что не определил в дом с достатком — ни к чему одинокому старику столько нахлебников. Хозяин разуверил: здесь лучше — меньше расспросов, больше места, а совеститься едой нечего — за постой и кормежку председатель обещал помочь с дровами.

Старик разжег печку, уставил плиту ведерными казанками — грел воду для мытья и варева. Первый присест к столу закончился, основной размах отложили до горячего. Похмельный достал из чемоданчика бритву: несмотря на тяготы дороги он держал себя опрятно и требовал от конвоя того же.

В это время дверь приоткрылась, и в хату робко вошла баба, тепло и неряшливо одетая, кивнула головой каждому отдельно, заглянула в казаны, в печку...

— Сейчас, сейчас, хлопчики, я сварю... Если меня попросят — я всегда. Жалко, мяско у нас к весне выводится... Но и так: хвалиться не буду — борщи удаются. Сам председатель який раз повечерять зайдет... О! И картошки начистили! Шо значит солдаты! Санько, у тебя до борща ничого нема? Мало... А может, на такой случай своего мяска принести, прибереженного? — Она вопросительно посмотрела на Похмельного.— Зараз все село еду носит, як кутью на свято. Принесу! — окончательно решила она.— Тебе, Санько, хочь дров пообещали, а я так, задаром...

— Пострадай за народ, пострадай,— хмуро поддакнул хозяин.

— Ради хороших людей чого ж не пострадать. Грех куском не поделиться. Такое горе людям... Оно б и мне дров не помешало, да упередил ты меня, Санько, упередил...

Она вышла. Похмельный довольно переглянулся с

конвоирами — с отдыхом наладилось. Старик внес в хату рядна, кожушки и принялся стелить в другой комнатенке, именуемой по-здешнему «светлицей».

Стряпуха обернулась мигом. Вместе с мясом она принесла глечик молока и миску с алыми крапинками моркови.

— Вы долго у нас пробудете? До утра? Жалко... А то б отдохнули, посмотрели на наше життя, может, присоветовали чого, поправились. Вон якие худые... Оно и понятно: должностья ваши прямо-таки собачьи — гонять людей по свету. Яка тут справа? Тут не до здоровья... Мне одна жинка по секрету говорила,— я не скажу кто,— будто в наше село пригонят не то турок, не то чеченов... запамятовала... Тех, шо Магомету моляться, а вы пригнали наших. Они и крестятся, и балакают по-нашему. Я ходила смотреть, як они хаты занимали. Нашего бога люди... Я, грешница, уже сколько разов про себя думала: бог, он, мабудь, для всех один. Это с глупства каждый народ выдумал себе отдельного. Га?

Похмельный, согнувшись и вытягивая шею к низкому поставцу, на котором среди пыльно-бумажных крашеных цветов темнел осколок зеркала,— он брился,— самым серьезным тоном возразил:

— Нет, тетка, не с глупости. У каждого народа свой. Даже у каждого человека отдельный. Я, например, молюсь своему богу.

Стряпуха испуганно вскинулась:

— Ай, неправда!

Конвоиры засмеялись.

— Шуткуешь ты... Один, не иначе. И спросит он со всех одинаково: шо с тех магометов, шо с киргизов, шо с вас и других, таких же, ну и мы, грешные, ответим. А як же! В святых книгах про вас прямо пишется: за нечестивство у алтарей святых покарал господь сыновей священника Илия. Жизнью поплатились. Плакался потом Илий: «За мои грехи ответили сыны перед господом...»

Ждать хваленого борща Похмельный не стал. Он ушел в горенку и плотно прикрыл за собой дверь. Здесь было тихо и прохладно. Вдоль стен стояли кадки с зерном, пылилась сломанная прялка, в переднем углу темнел ликами святых киот, перед ним висела лампадка с оборванной позеленевшей цепочкой, на стенах — лук,

связанный косами, и пучки сушеных трав: над столом пестрело несколько картинок из журналов, среди них в рамке фотография молодого хозяина в форме пехотинца русской армии на фоне рисованного корейского пейзажа. Скудное и знакомое с детства убранство «светлицы» напомнило детство. Он разулся и лег на лавку, на рядна, натянул кожух до подбородка. Из-за двери доносились голоса стряпухи и конвоиров, а из-под раздвинутой и схваченной алой тесемкой занавеси, обрамленной фольговым окладом, изящно приподняв по-женски истонченную кисть руки, на него печально и сухо смотрел Николай-угодник.

Похмельный прикрыл глаза...

Вот и привел он своих высланных к последнему месту. Это здесь, судя по всему, закончится их земной путь, неизмеримо более трудный, чем только что пройденный. Здесь же сегодня закончилось самое трудное в его жизни поручение. И как-то самому не верилось: ведь совсем недавно была у них Украина с ее вишнями и левадами, с родными могилами на погостах, хатами, где родились они и выросли их дети, земля, с которой связывали столько надежд... Да что там хаты, вишни и левады — жизнь! Та жизнь, в которой, казалось, самое жуткое: войны, грабежи, мучительные голодовки — минуло и уже ясно проступало неплохое будущее,— эта жизнь вдруг разом, непоправимо и страшно рухнула. Все осталось там, в необратимом времени, в бессонных ночах под стук вагонных колес, с неизбывной болью потери родного и кровного. О том, что ожидало их теперь здесь, не хотелось и думать...

— Вот ты, хлопчик, вроде злуешь на меня,— воркована стряпуха за дверью,— а ты не злуй, а объясни старой бабе: зачем ты, такой молодесенький, вызвался на такую скаженную службу... Не-е, оно служба не тяжелая, шо в ней тяжелого... А ты б не шел. Так и сказал бы тому начальнику — грех. Ну, нехай по ворогу стрелять, або строем с песнями ходить, а то на тебе — развози, навроде жандарма при царе. Шоб тебя люди проклинали. Не солдатское это дело... А бог — он спросит! Спросил же он гонителя Савела: «Савле, что прешь против рожна? Почто моих людей гонишь?» И за гоненья ослепил господь того Савела. И когда глазами ослеп Савел, то душой прозрел. Раскаялся и стал всячески помогать гонимым. За то раскаяние господь ему глаза

вернул и к себе приблизил. Стал после Савел святым Павлом...

Похмельный посмотрел на угодника, вздохнул, отвернулся к стене и с головой накрылся кожухом...

Он смертельно устал за последние месяцы, особенно во время этапа. Непреходящая ненависть к нему большинства сосланных, изматывающая голодная дорога, возможность побегов, пренебрежение местных властей и нерасторопность железнодорожных, унизительное выпрашивание продуктов, которых всегда оказывалось мало, томительные ожидания на задворках и в тупиках станций, ночевки в полуразрушенных бараках и скотных дворах, на сквозняках, под снегом и дождями, болезнь людей и конвоя, поиски лекарств и врачей — все это саднящей болью лежало на сердце, кошмаром вставало в коротких, тревожных снах.

Теперь кончилось все. Но покой и облегчение, как он рассчитывал, не приходили... Вот привел он их, чужих и односельчан, незнакомых и знакомых и даже больше чем знакомых, стариков, баб, мужиков, подростков, детей и почти каждый из них, не раздумывая долго, дай только возможность остаться безнаказанным, предаст его смерти. За что? За то, что привез сюда? Но в этом не его вина, он выполнил приказ, не более. Откажись он — это сделал бы кто-нибудь другой и уж наверняка не выматывался в хлопотах и не мучился душой, как он. Однажды на одном из больших перегонов он остался после проверки с ними в теплушке и с горячностью, длинно и, как ему казалось, умно и доходчиво начал объяснять, почему их высылают. Говорил долго, где-то в глубине души рассчитывая, что поймут они хотя бы его, но когда замолчал в ожидании, то наткнулся на такой силы молчаливую ненависть, что все понял, умолк и никогда больше не заводил подобного разговора. На какое же теперь облегчение он надеется?

— ...А он ему такую кару: «И до скончания века своего искать тебе хлеба и крова и не найти». С тем и пропал. О як случилось. Говорят же люди: от сумы и тюрьмы не зарекайся. Может, кому-нибудь из вас так же придется на старости годов за кусок хлеба слезьми платить. Бог, он каждому воздаст...

«Ну, курва,— чертыхнулся Похмельный,— только довари свой борщ. Я тебе раньше бога воздам!..»

Да, кончилось все... Все, что связывало его с ними,

оборвалось сегодня у взгорка. Остался последний разговор. Как бы ни был он унизительно тяжел для него, с предопределенным исходом, но он должен состояться. А каков будет исход — гадать не стоило: она не поедет. Но и ему уехать, не переговорив, нельзя. Невозможно. От разговора не уйти, не сбежать, не скрыться, как укрывается он сейчас под вонючим кожухом от печально-укоризненного взгляда рисованного угодника. Не поедет — значит, не поедет, значит, судьба. У него же останется чистая совесть. Пусть считают его виновным, пусть он и в самом деле виноват перед многими, но только не перед собой, иначе совсем дышать нечем станет... Только когда идти на этот разговор: сейчас или утром, перед отъездом? Если сейчас — они измучены, не в состоянии, не достучаться ему ни до сердца, ни до здравых рассуждений. Утром? А к утру они отдохнут, осмотрятся, покажется все не так страшно, и тогда верный отказ?

Когда же?..

Он почувствовал, что засыпает, в глазах поплыла дорога, станции, замелькали бесчисленные телеграфные столбы, костры, немые крики людей — и лица, лица, лица... И вдруг сильная судорога вскинула тело. Так часто бывало с ним при крайней усталости, он даже нарочно принимал самые неудобные позы и только тогда мог ненадолго заснуть. Надо расслабиться и ни о чем не думать...

— А вы, мабудь, опять за людьми поедете? Вот работа у вас! Гуляй по свету, развози горемычных. Ни пахать тебе, ни сеять... Вы в Архангельску были? Нет? А в Сибири? Там, кажуть, морозы холодней, чем на Севере...

Похмельный рывком откинул кожух и выскочил на кухню.

— Дед, а ну стань до плиты. Я это помело сейчас самое в Сибирь налажу. Чего вылупилась? Вон отсюда!

Стряпуха с остекленелыми глазами судорожно хватанула воздух и, не выдыхая, крадучись пошла к двери.

— Ну! — вскрикнул Похмельный.

Громыхнуло в сенцах, мелькнуло бабьим платком в окнах...

Конвоиры развеселились, хозяин недовольно буркнул:

— Зря ты, нехай бы плела...

— Да сколько можно! Или нам в удовольствие та-

кая служба? Они сидят посмеиваются, а ты спроси, чего им стоило... Вот чертова баба, аж зуд по телу пошел... Давай допьем, ребята, а то уснуть не могу!

Но уснуть ему так и не пришлось.

Не успели убрать со стола, как прибежал взволнованный важностью поручения мальчуган и сообщил, что старшего дядю зовут в правление. Вразумительного ответа на вопрос: зачем? — Похмельный не получил, идти надо было, а хозяин заметил, что это к лучшему: на заход солнца спать не следует — голова будет болеть.

Малец привел Похмельного к широкому, в три окна по фасадной стене бревенчатому дому, приподнятому небольшим каменным цоколем, крытому тесом, с навесом над просторным крыльцом. На ступеньках сидел один из комендантов, тот самый, который выполнил его просьбу; завидя Похмельного, он поднялся.

— Я думал, ты не придешь.

— Зачем я понадобился?

— Собрание у нас...

Похмельный выругался:

— Совесть бы имели! Я еле на ногах держусь. При чем здесь я-то?

— Да зайди, коли пришел. Пусть отведут душу.

Они взошли на крыльцо.

В просторной комнате по обе стороны двери, вдоль стен и напротив, за столом, покрытым рваной по углам красной скатертью, едва различимо за сизо-дымными плахтами солнечного света, летевшими сквозь мутные шибки на измызганный пол, на лавках и табуретах сидели правленцы и активисты села.

Шумок голосов, что слышен был еще на крыльце, стих. Похмельный поздоровался. Из всех присутствующих только трое ему не были знакомы: один из них не то чтобы старый, но крепко изношенный жизнью мужик с невзрачным, морщинистым лицом, со светло-колким взглядом из-под огромного выгоревшего картуза, другой — инвалид (это было видно по неловко отведенной в сторону прямой негнущейся ноге и костылю, над которым он, сидя, нависал всем телом) с черными широкими бровями, с такими же черно-седыми сопельками усов, отчего на белом, нездоровом лице они казались фиолетовыми, третьим был молодой желтоволосый крепыш. Он приветливо улыбнулся и так пожал руку, что

слиплись пальцы. Все остальные были те, что встречали обоз.

Строков уступил свой табурет.

— Вы извините, что не дали отдохнуть. Но нам тоже невмоготу. Сошлись поговорить. Столько накопилось, да еще вы со своими! Расскажите, что за люди.

— С вашими, председатель. Теперь уже с вашими,— хмуро поправил Похмельный, усаживаясь у окна.— А что именно рассказать? Что вас интересует? — спросил он и щедро угостился из кисета молодого правленца.

— Во-первых, откуда они, как быть с ними. Разумеется, нам давали разъяснения, приезжал Гнездилов, но мало. То ли он сам в то время не знал всего,— дело в марте было,— то ли не хотел всей правды говорить, а мы теперь в недоумении. Что же с ними делать? Ограничиться комендантским надзором, и только? Их, видимо, надо как-то устраивать... я в социальном смысле... вести разъяснительную работу?

— И почему до нас у село? — грозно добавил мужик в картузе.

Похмельный ожесточенно чиркнул спичкой.

— Работать их надо заставлять до седьмого пота. Понимаешь, председатель, работать, а не громкие читки устраивать. Разъяснения... Это такая публика... Мне все-таки непонятно: что вы хотите узнать? Как быть с ними? Да вы и без меня распрекрасно знаете! Знаете, что прав у них никаких нет, кроме одного — работать с утра до ночи. Распределите их по бригадам — есть такие? — и требуйте железного порядка и выдающейся работы на благо рабоче-крестьянского союза. У вас нет партячейки?.. Пусть нет — это дела не меняет. Вы — активисты, значит, сочувствующие партии, поэтому ее решения безо всяких местных искривлений проводить в жизнь, в том числе и к раскулаченным. Отбросьте сомненья: что да как! Был у вас Гнездилов? Был. Объяснял? Объяснял. Чего ж вам еще? А привел туда, куда приказали. Если вы меня только за этим кликнули, то делать мне здесь нечего.

В правлении замолчали. Не так разговор оборачивался. Похмельный был прав: правленцам меньше всего хотелось поговорить о ссыльных. Кто они — узнается, как быть с ними — власть укажет. Слишком уж крутым раскатом пошла жизнь сельчанина за последний год по всей стране, и одной из грозных примет ее были сегод-

няшние сосланные... Вот о ней бы разузнать, повыведать...

Никто из присутствующих не подозревал, что сам Похмельный не так уж много знал из последних событий. Более того, именно они пробежали зловещим разломом в его крепкой до этого жизненной позиции. Неладно, как бы он ни старался оберечь себя, выходило и с совестью... Его не в первый раз вызывали на подобный разговор, и вот то, что он не мог объяснить многого в этих событиях ни раньше, ни теперь, и, главное, себе,— рождало в нем раздражение и будило в людях ответное: его непонимание и неумение рассказать объясняли нежеланием отвечать.

Один из правленцев сказал, кривясь в улыбке:

— Да ты не брызгайся слюной, козаче, чого ты... Мы с тобой по-человечески побалакать желаем. Ну, приезжал Гнездилов, говорил... Так то секретарь району — много не спросишь. А ты нам по-свойски растолкуй: за шо твоих выслали, шо они в хозяйстве имели, сколько их выслали, шо там, у них на родине, с колхозами... И не горячись, не надо...

— Я сам не больше вашего знаю,— нехотя ответил Похмельный.— Везде высылают. Обозначили их тремя категориями и высылают. Кого за пределы района, кого в лагеря, кого на высылку в другие области. В лагеря — одиночек-террористов, на высылку — семьями. У вас, я слышал, тоже высылали? Это — решение партии, одобренное рабочим классом и трудовым крестьянством. Списки на выселение составляла беднота и активисты сел, вы, значит... Где жить мешают, оттуда и высылают. А работать они умеют не хуже ваших. Вы только подкармливайте. Мужиков советую разбросать по бригадам, баб — на баштаны или курятники какие обмазывать... А кто сбежит — пускай: далеко не убежит.

Строков с настойчивостью, словно и не было перерыва, закончил свой вопрос, начатый у взгорка:

— Все верно. Но не могут ли сами рабочие положить этому предел? Ведь в связи с выселением такого размаха и рабочий класс может оказаться в накладе. Я скажу больше: не сорвется ли вообще вся кампания по коллективизации? Вы ехали через рабочие центры России — видели или, может, слышать довелось о недовольстве рабочих, волнениях, о массовых невыходах на работу? Вы говорили, что рабочие голодают — это правда?

Похмельный с интересом взглянул на него. Ему не нравился этот человек. Как-то не вязались его любезность, манеры и несомненная образованность с остальными мужиками. В самом нахождении Строкова здесь, в далеком селе, ему виделся некий расчет, а в последнем вопросе Похмельный усмотрел нечто большее, чем любопытство.

— А ты что хочешь узнать, председатель? Что рабочие бастуют и заводы закрываются? Что не сегодня завтра гражданская война? Нету, дорогой, ничего даже похожего! Живут и работают, хоть и впроголодь, и массово на работу идут. Аж за час до гудка приходят. И очень одобряют раскулачивание! Так что ты не надрывай себе сердце рабочим классом, а организованно и ударно на пахоту выходи. Хватит вам с Гнездиловым записочками обмениваться.

Подковырка не смутила Строкова. Он засмеялся и указал на него правленцам:

— Врага скрытого во мне увидел... Молодец, бдительный... А о чем изволишь тебя спрашивать? Я не знаю, как у вас на Украине, но то, что в Сибири и на Урале не только недовольства, но и вооруженные выступления,— знаю доподлинно. Этой классовой борьбой — я имею в виду так называемую борьбу с кулачеством — не довольны сами рабочие, хотя, казалось бы, она выражает их волю... Впрочем, не хочешь говорить — не надо, обойдемся. А что бдительный — неплохо.— И он опять улыбнулся правленцам.

Комендант, встретивший Похмельного, раздумчиво заметил:

— Недовольство — это одно. А чем твои высланные жить будут? Не из нашего ли закрома? Не пришлось бы нам самим, как в немазаном курятнике: клюй ближнего, какай на нижнего и скорее карабкайся на верхнюю жердочку... Те пайки, что им установлены...

Строков приподнял руку:

— Извини, Алексей, перебью тебя... Спрашивай, Игнат.

— И спрошу,— вызывающе ответил мужик в картузе,— спрошу, и не стращайте меня Полухиным.

Правленец крутанулся к Похмельному:

— Ты вот чего объясни. Зачем власть такое страшное переселение затеяла? Зачем с таким горем людей по земле гоняем? Ну, нехай кулаки они, ксплу... нажива-

лись и все такое. Но ведь можно было забрать у него... излишества, сравнять с бедняком — и нехай на своей земле, в родной хате век доживает. Так нет: наших мужиков загнали черт знает куда, до сих пор ни слуху ни духу, этих — сюда. Видел я сегодня: завел Алешка семью в подворье дорошковой хаты... там хата — одно названье... и говорит: здесь вам жить. Старик дошел до дверей и на колени упал. Плачет, чуть ли не в крик, а голова седая как у луня, бьется ею о порог... Подняли его дети... Я ушел. Не стало сил смотреть... Его что, также позарез надо было сюда гнать?

— Его никто не высылал. Сослали семью его сына. Он помереть пошел возле своих детей. На родине ему все равно не житье. У тебя дети есть? Что ж тебе непонятно в таком случае? А теперь они, конечно, плачут!

Похмельный поискал глазами, куда бы стряхнуть пепел, не нашел и стряхнул под ноги.

— Ладно. Объясни, зачем его сына выслали? — упрямо добивался ответа правленец.— Я что хочу сказать: взять для примера наших мужиков. Их здесь никто не ждал. Они на эту землю когда-то пришли такими же нищими, каких сегодня пригнали. Сами, без батраков, своим горбом на ноги встали. И они же до сегодняшнего дня государство хлебом кормили. Они, зажиточные, потому что с бедняка оно ничего взять не могло. Что с меня взять? У меня, сколько живу, хлеба с урожая — только-только с голоду не подохнуть. На продажу — ни мешка! И выходит, что кормил он, кормил и докормился: его за великую помощь — и на высылку.

Видный собой правленец, который у взгорка представился председателем сельсовета, удивленно всмотрелся в говорившего.

— Игнаша, я не пойму... Ты вроде жалеешь?

— Жалею!

— Так ведь списки и ты утверждал, а теперь, получается, несогласный?

— Несогласный! Жалею теперь!

В коротких вызывающих ответах правленца звучала решимость, однако слушать их было неприятно, и председатель сельсовета отвел взгляд в сторону.

— Жалостливые все стали дальше некуда... Когда наших кулаков выселяли, они тоже плакали. Чухнарь, помню, на коленях весь двор исползал, пока в сани не кинули. Жил же — по-сволочному. Или возьми Захар-

ченка. Его счастье, что сбежал. Что ни вдова в селе — дети от него, но чтоб помочь своему дитю — того не было. Если помогал, то за такой расчет, после которого опять дети появлялись. Одно прощенье ему — он, подлец, одних парнят делал... Ты, Игнат, зараз вспомни не тех, кого выслали, а тех, кто остался. Вспомни Гришку Чумаченка... Да ты себя вспомни! Вспомни, как в двадцать втором после голода вместе с Алимбаевым у Кривельняка батрачил! Ты хоть трошки с него взял, а киргиз до сих пор ту оплату помнит. Вспомни, Игнаша, как мы с тобой жили да и сейчас живем. Мы и свою-то земельку до ума довести не могли, а они и батраков нанимали, у них и дело шло, прибыток, и с каждым годом он в гору, и чем выше, тем хуже с властью... Что ж, кормил, я не спорю. Только как кормил? — Председсовета говорил так, чтобы было понятно Похмельному.— Земля у него имелась, батраков нанимать разрешили, скот не забирали, вот он и рос. А пшеничку продавал не тогда, когда край государству надо было, а когда самому выгодно.

— Не подняло бы государство бешеные цены на свои товары, он бы продавал по-божески... Он хлебоналоги платил за землю и работников. Ты, Гордей, не путай!

— Правильно, платил, спорить не стану,— с мягкой настойчивостью продолжал председсовета, не позволяя себя увести.— Однако по весне, когда продавал излишки, он перекрывал налоги и цены... С тебя же государство ничего не имело и не брало. Оно тебе, дураку, передышку давало, чтоб ты мог на ноги встать... Да что с тобой стряслось, Игнат? Я уже не в первый раз от тебя такое слышу.

— Ты меня не дурачь, Гордей,— тихо послышалось с лавки.

— Богу на тебя молиться? — улыбнулся председсовета, посмотрев на Похмельного.— По твоим словам судить — наши труды впустую, а я — враг колхозу: списки в район возил на утверждение. Нет, Игнат, не тот разговор ты завел. Обжились при Советской власти, и жалость появилась. Небось в двадцать втором...

Правленец сорвал с головы картуз, с силой шлепнул им об лавку, зыркнул взглядом по собравшимся:

— Нет, правильный разговор! Все я помню! Ни плохого, ни хорошего не забываю. Но не про меня зараз речь, хоть и обидно за жизнь свою. Я тоже о государ-

стве думаю, о нем сердце болит... Ладно — истинных кулаков за дело выслали, но много ли их?.. Скажите мне: прокормят колхозы и государство и себя в ближние годы? А-а, молчите! А потому молчите, что не знаете. Опять, как в двадцать первом, солому есть будем. Да разве нельзя было погодить с этим выселением? Собрали бы первый урожай с колхозов, перезимовали, прикинули, что к чему, тогда уж и выселять... Что зараз выходит? Твои высланные говорили сегодня: половину села под корень. Остается в селах беднота да лядащь. Разве они прокормят? Ты, Гордей, сидишь здесь, меня дурачишь, а ведь и сам того опасаешься. Да все вы! Все опасаетесь, но молчите да гнездиловым поддакиваете! — Он гневно изогнулся к Похмельному.— А ну, скажи: что твой рабочий, который сейчас с выселением согласный, в эту зиму жрать будет? Отвечай собранию: на какие доходы власть рассчитывает? Чем она... О, видели? Плечиками пожимает... Мужики, нехай ответит!

— Вы газеты читаете? — спросил Похмельный.

— Читаем! — выкрикнул правленец.

— Не похоже... А ну полегче, дядя! Меня на арапа не возьмешь. Я не с таких крикунов штаны спускал... В «Правде» освещается этот вопрос. Напороли горячки... Сейчас комиссии восстанавливают многих лишенцев в правах, раскулаченных возвращают из высылок. Тех, кто в лагерях сидел, теперь определяют на поселение. К вам много направлено, говорили железнодорожники. Возможно, кое-кто из ваших вернется...

Похмельный старался говорить спокойно и удивлялся той злобе, с которой правленец добивался от него ответа: его-то он не выселял, не вез, не гнал, видит впервые, а туда же, дай только возможность остаться безнаказанным...

— На подобных вопросах и умные партработники головы сворачивают. Решение партии о выселении кулаков и создании колхозов — самое верное решение. Твой односум прав — хватит нам зависеть от кулацкого хлеба. На нем далеко не уедешь. Но в организации колхозов, в обобществлении кулацкого добра и особенно в лишении гражданских прав и высылке надо быть осторожным... Да-да, сворачивают шеи,— добавил он, заметив, что молодой правленец, желая показать, как он правильно понимает Похмельного, с веселой миной скособочил голову.— Недогнешь — уйдешь вправо, перегнешь —

влево. Надо не кидаться в крайности, а смотреть по обстановке, так чтобы и колхоз укрепить, и лишней беды... Словом, без лишней строгости.

— А если это пойдет вразрез с требованиями? — спросил Строков.

— Чьими?

— Кто у нас требует? Партии, разумеется...

— Такого быть не может. Она сейчас именно этого требует.

— Хорошо. С требованием... с желанием крестьянства?

— А разве это не одно и то же? Разве крестьянам, колхозам, вам — нужна была такая строгость?

— На чем же, в таком случае, сворачивают головы партработники?

— На распутье, когда решают куда идти: влево или вправо,— со злостью ответил Похмельный.— Да, я тебе, дядя, досказать хочу... Спохватился? Ты списки составлял? Тогда голова про государство не болела? Чего же ты теперь ее чешешь? Это по вине таких, как ты, умников безвинно пострадали тысячи людей! — Похмельный понял, почему было неприятно слушать этого правленца.— По твоей вине я должен гнать по этапу людей, которые не заслужили высылки! Ты теперь умную, заботливую харю строишь, задним умом кумекаешь, а я крик да слезы слушай да жди, когда удавят либо под колеса кинут: сегодня или завтра. Еще: «Нехай ответит!» Это ты мне ответь! Ну!

Правленец опешил. Он растерянно, словно помощь выпрашивая, оглянулся на своих, которых вопрос гостя привел в недоумение, и ответил с затаенной ненавистью:

— Ты мне своей службой в глаза не тычь! Я тебя не посылал... Спрашиваешь, кто списки составлял? Я составлял. И вины своей, как другие, не таю, за чужие спины не хоронюсь. Потому и разговор завел. Я выполнял ваши партийные указания. Так было: или ты вышлешь, или тебя, или ты в колхоз — или в тундру. У меня дети выросли, куска хлеба досыта не поев, и зараз их со мной на высылку? За что? А сейчас никого не боюсь! Любому скажу: несправедливость! Не всех твоих и не всех наших высылать надо было! Несправедливость!

— Игнат, что ты городишь!

— Ей-богу, сдурел мужик...

— Не по совести! Не имеет права власть за глупость своих работников с таким разором спрашивать у неповинного народа!

Похмельный стиснул зубы.

— Вот-вот... Все вы так. Теперь никто не виноват: ни те, кто принял решение высылать, ни те, кто утвердил, ни те, кого выслали... С меня одного весь спрос. Не здесь ты, мужик, у меня спрашиваешь, я бы тебе не так ответил... Жалеешь?! А когда за усердие и помощь милиции при высылке пятнадцать процентов от добра раскулаченного себе хапал, не жалко было? Ах ты!.. — Он едва сдерживался.— А ну бери бумагу и пиши в ЦК: я, такой-то, напрасно выслал своих кулаков, верните их обратно. Не можешь? Слаба кишка? Тогда затяни язык и помалкивай!

Похмельного остановил другой комендант, постарше годами.

— Ты погоди, охолонь трошки. Это у Игната бабий час приспел або с похмелья... А так он мужик твердый и с политикой согласный. Совестливый, оттого и переживает... Сцепились вы, а ты нам не ответил: будут еще раскулачивать или кончилось? А то я хочь числюсь в активистах, комендант, лицо при должности и все такое, а сижу зараз, шо Христос на тайной вечере: может, петух и три раза не успеет крикнуть, як предадут нас, и такой вот, як ты,— хвать меня за шкирку! — и вознесусь я аж до самого Архангельска без второго пришествия на землю.

Правленцы оживились. Похмельный понял это посвоему и презрительно сказал об Игнате:

— Вот чего он боится! С этого надо было и начинать, а нечего хвостом крутить: жалко, несправедливо, не по совести... Не бойся, никто тебя не тронет, хотя я бы с удовольствием тебя проветрил по северным краям... Не знаю, товарищи. Скорей всего, это остатки, потому что на всем пути я семейных сосланных видел мало. В ваши края везут, в основном, одиночек. Всех мастей и категорий. Начиная с «политических» и кончая уголовниками.

Строков торопливо вставил:

— В нашем районе уже созданы две точки именно из этих людей. Есть разговор, будто бы в степях они совхозы создавать будут.

— Везут, везут людей,— впервые заговорил правле-

нец-инвалид.— Рассказывали наши: каждую неделю в Щучинскую состав приходит.

— Да вы, оказывается, больше меня знаете,— ухватился за его слова Похмельный.— А я в дороге поотстал от новостей.

Пожилой комендант вскочил, прошел к бачку с водой:

— Чем они наверху думают, шо столько вражья в одну кучу свозят! Не дай господь, снюхаются эти высланные с нашими недовольными и недобитыми да еще киргизов за собой потянут — это ж восстание в тысячи сабель! Гореть нам всем синим огнем, як хорошей самогонке! А мне, при моей должности...

— Где же им столько сабель взять? — веселея в предвкушении ответов коменданта, спросил сельсоветчик.

— Накуют! — грохнул крышкой комендант.— Сабель не будет, они нас на вилы поднимать начнут. Тебе большая разница? А коней возьмут в аулах... О-о! Там на такое веселое дело дадут! Ты, Гордей, забыл шестнадцатый год? Забыл, як мы с тобой неделю в камышах отсиживались? За малым наше село на прах не спалили и нас не побили, а началось все с того, шо какая-то змеюка киргизам нашептала: мол, грабим их и все такое... Они нам в тот год все припомнили! Зараз одной искры хватит. Этот Ганько рассчитывает...

— Тьфу ты! — помрачнел предсельсовета.— Я думал, он что путное скажет... Сядь, Василь, и не балаболь пустого.

— А тут твердого слова нема! — многозначительно прищурился комендант.— Тут — куда власть повернет. Еще раз прижмут мужика, як в нынешнюю зиму, он за самим чертом пойдет.

Строков поддержал его.

— Иващенко прав. В связи с высылкой сюда кулаков положение в округе может сложиться опасное. Далеко за примерами ходить не надо: слыхали, что случилось в соседнем?

— Хватит вам пугать друг друга,— перебил хромоногий правленец.— Парня держим... Скажи, как у вас колхозы организуют?

Похмельный пожал плечами, взглянул на Строкова.

— Так же, как и везде.— И про себя окончательно решил: «Надо непременно сказать Гнездилову — пусть

прощупает этого субчика, иначе он ему и напашет и насеет».

— Так же? Не врешь? Ну, а какая в тех колхозах жизнь?

— Хорошая.

— Ах ты!.. Да слыхали мы, шо хорошая! А как они делят работу, урожай? Какие, например, я могу излишки держать, какие налоги? Грошами платят или одним зерном?

— Товарищи,— взмолился Похмельный.— Я еще раз говорю, что знаю не больше вашего. Дело новое, неизвестное. В каждом крае свои особенности. У одного колхоза столько-то земли, у другого — столько-то. У одних земля хорошая, у других плохая, в одном колхозе люди дружные, в другом... Устав колхозный читали? Одно скажу точно: за работу осенью оплачивают и зерном и деньгами, в зависимости от урожая и хлебозаготовок... Я, товарищи, не колхозник, мне не знать — простительно, но вам я удивляюсь: у вас два таких умных председателя, а вы в простом путаетесь... Да что путаетесь — понятия не имеете... Или прикидываетесь? Слышали, что колхозам на два года налоги отменены, государство пятьсот миллионов рублей отпустило на их создание, трактора вам шлют?.. Председатель, что же ты! Давайте так сделаем: я расскажу все Гнездилову, пусть приедет с разъяснениями. Вы его заприте здесь и держите до тех пор, пока он всего не растолкует. Пригрозите: не расскажешь— на посевную не выйдем. А я не знаю, а врать не хочу, к тому же устал так, что сидеть трудно.

Похмельный в душе сочувствовал им. Все же, что ни говори, это он, пусть не по своей воле, привел в село почти две сотни голодных ртов. И не кому-нибудь, а им, правленцам, придется взять на себя заботу о дальнейшей судьбе высланных, им, гуляевцам, делиться отныне колхозным хлебом и церковной просвирой, мутной стопкой в застолье и пахотными загонами, ходить по бескрайним степям и тесниться на кладбище...

Он односложно ответил еще на несколько вопросов, при этом всем видом показывая, чтобы его оставили в покое, и интерес к нему иссяк.

Прокуренную, неуютную тишину нарушил правленец с костылем, к которому одному Строков обращался на «вы».

— И вправду, мужики, шо теперь толочь воду в

ступе? Хотим мы этого или нет, но у нас колхоз, и никуда не денешься, не переиначишь. Шо он даст, какая в нем жизнь спляшется — одному господу богу известно. Но у нас другого пути нет. Оглядки на прошлое кончились. Выбирать не приходится. Нам только о севе надо думать, потому шо к нему мы не готовы: тягла мало, семена не протравлены, лемеха у плугов не переклепаны, станы порушены...

— Приедет Гнездилов,— заметил молодой правленец,— наклепает... всем по очереди.

— А выезжать в поля на днях, на уклоны и того раньше... Ты, Семен, помолчал бы. Тебя Гнездилов тоже не минет — за кузни ты отвечаешь.

Парень бойко ответил:

— Я с Гнездиловым не ручкаюсь. Мое дело молотком стучать.

— Потому тебя и пригласили. Говори дело, а зубы скалить здесь тебе еще не по годам.

Парень встал.

— Могу и дело. Я просил железа привезти — где оно? Просил найти помощника — где он? Я бы и без вас нашел, да кто ему заплатит? С мелочью и сам управлюсь, а с кем отладить плуги, бороны, сеялки, молотилку? Вы спросите меня: чем ты, Семен, занимаешься? А ни чем. Тяпки кую старухам. Эти квочки старые еще с зимы готовятся, не то что мужики. Если говорить по правде...

— Найдем помощника, привезем железа,— прервал его Строков.— Садись. В нашем распоряжении еще неделя. Теперь, когда рабочих рук прибавилось, мы все успеем, еще и время останется... Позже поговорим. Нам сейчас важно сохранить спокойствие в селе. Недопустимы панические разговоры, сомнения, различные контрреволюционные слухи, которые могут вызвать неверие в наши силы и тем самым повредить посевной. Видели сегодня, чем они кончаются? Комендантам необходимо...

— Илларионыч! Когда мы наконец сведем все тягло в скотные дворы? Оно ведь теперь общее. А хозяина одного над ним нету. Кто хочет, тот и берет. Дело дошло до того, что бывшие хозяева по очереди ночуют в базах вместе с конюхами, шоб следить и ругаться с такими желающими. Грозились разобрать своих быков и коней и выйти из колхоза.

— Что же ты предлагаешь — не давать? — насторожился предсельсовета.

— Конечно! Надо бы поберечь перед севом.

Молодого парня поддержал еще кто-то из присутствующих, и разговор, съехав на привычную колею, неудержимо покатился в нескончаемое...

Похмельный вначале прислушивался, вникал, а когда понял, что говорят об этом явно не в первый раз и далеко не в последний, поднялся.

— Пойду я, товарищи. Вы уж без меня... Извиняйте, что объяснить не мог. У меня к вам просьба. Среди моих высланных есть несколько семей... Я напишу фамилии. Есть возможность им помочь — буду благодарный. На первое время едой, а там... может, материалу попросят подлатать жилье или огородишко какой, мало ли...

Он наскоро написал фамилии, передал листок предсельсовета и наткнулся на злопамятный взгляд Игната.

— Э-э, нет, не туда ты понял, дядя! Это не личное. Прошу по-партийному. Это то самое, на котором я...— Он не договорил, но, дойдя до двери, желчно добавил:— Ты, умник, с тем списком тоже ознакомься. На тех фамилиях можешь все свои грехи замолить... Комендант, ты не проводишь?

Он ожидал его во дворе, когда в узенькие воротца ввалилось несколько мужиков.

— Еще заседают? — живо спросил один из них.— Мы вот тоже подзасесть пришли. Много их там?

Похмельный кивнул и посторонился. Мужики ринулись в правление.

— Вот так и живем,— вздохнул комендант, когда они вышли на дорогу.— Собираемся, говорим, а дело стоит. Тянет, тянет волынку Строков! Чую, нехорошо кончится... Нам сюда.

Похмельный остановился. Еще по пути в правление он понял, что у него разговор должен состояться сегодня. Сил ждать завтрашнего утра нет.

— Подожди... Хочу попросить тебя... Проводи меня к той хате, в которую ты вселил семью, помнишь? — я просил тебя...

— Чего ж не помнить. Трое их? Сам с сыном и дочерью? А тебе зачем? — Но тут же озарился догадкой и, по-мужски сочувствуя, доверительно пообещал:— Ты особо не переживай. Я эту семью примечу и чем смогу... Неужто поздно что-нибудь изменить?

По молчанию Похмельного комендант понял, что дальше расспрашивать неудобно.

По тропе, пролегшей вдоль огорода, они вышли на соседнюю улицу, прошли хаты три, и комендант указал на землянуху с покосившимися сенцами, с плоской дерновой крышей. Поблагодарив его, Похмельный, не оставляя себе времени на раздумья, решительно вошел во двор.

Новый хозяин вместе с сыном и местным парнем ладили дощатый лежак, у простенка темнела куча тряпья, стянутая бечевой,— будущая постель; дочь хозяина и старуха из местных (это были соседи) мисками черпали золу из вскрытой плиты.

По тому, как тотчас замерли, оставив работу, новопоселенцы при его появлении, соседям стало ясно: гость нежданный и, видимо, пришел с разговором, при котором им присутствовать нельзя; под пустяковым предлогом они вышли. В землянке стало тихо. Косо прислоненный к грубке совок медленно сполз и, упав на жестяной лист, загремел в этой странной тишине особенно громко. Дочь вздрогнула и вновь застыла, хозяин с трудом разогнул спину и безжизненным голосом предложил:

— Говори...

Похмельный прислонился к дверному косяку.

— Вы мой разговор знаете...

— Что ж, проси, мы послушаем... Все, что ты мне обещал, я запомнил. Теперь хочу услышать, что ей пообещаешь.

— Я обещаю одно: если отпустите ее со мной — по приезде буду хлопотать о вашем возвращении.

Дочь ссутулилась над плитой, сын с тревогой предупредил отца:

— Не верь ему, батько. Какой дурак зараз нами заниматься станет! Кто вернет отобранное? Не верь! — И вкрадчиво предложил Похмельному: — Едь один, вызволяй нас. Вернут нам хотя бы половину того, что взяли,— отдадим. Сам тебе приведу!

— Торгуетесь? Ладно, меня цена устраивает... Но вдруг не добьюсь? Не разрешат, не примут вас обратно, что тогда?

Парня словно обрадовал такой ответ. Он с удовольствием смотрел на Похмельного.

— Слыхал, батько? Вот он каков!.. А ты не торгу-

ешься: отдадим — похлопочешь, не отпустим — не станешь... Эх, раскусили тебя, да поздно...— и, высясь над сидящим на чурбаке отцом, гневно упрекнул: — Ты-ы, старый чунь, ты виноват! Говорил тебе — не будет с него проку, а ты: партийный, с Карновичем друзьяк, спасет от высылки... Помог! Спас! Сволочь...

— Да кто же знал, сынок,— горько ответил старик, глядя в спину дочери.— Отец-то у него человеком был...

Похмельный кепкой вытер лицо:

— Вы погодите сволотить. Я по-доброму... Мне тоже не сладко. Кто мог подумать... Иван, не дергайся, положь молоток. Не то всажу все семь штук и оформлю попыткой к нападению. Тогда уж точно никто разбираться не станет... Кто мог подумать, что все так быстро случится. Мне казалось, время еще есть...

— Молчи! — затрясло старика, и на его вскинутое к Похмельному лицо стало трудно смотреть.— Все ты знал! У-у, и глаз не отвернет... Ел, пил у меня, дочь мою... Теперь ты домой... От тебя, перевертня, уже самогонкой несет, а моим детям из жалости сегодня принесли объедки,— указал он на подоконник, где чернел закопченный чугунок,— а завтра... Все ты знал! — Ему не хватало воздуха, он засипел, схватился за грудь, казалось, сейчас задохнется, но с усилием, превозмогая удушье, он спросил:

— Помнишь, ты ночевал на рождество у меня? — И вдруг оскалился и живо воскликнул: — Ах, вернуть бы тот случай! Ничего не надо... Ту ночь! Я бы тебе разом за все ее слезы отплатил. И не взвизгнул бы!

— Ну и что бы тебе это дало? — мрачно удивился Похмельный.— Вас бы все равно выслали.

И услышал ответ, сказанный просто, чуть ли не доверительно:

— Мне зараз легче было. Будь на твоем месте кто-нибудь другой — еще терпелось бы, но ты... Я только увижу тебя — и хватает так, аж свет темнеет... Дивуюсь тебе. Лишил меня всего, сюда завез,— он сумасшедше повел взглядом по разгромленной комнатенке с нежилым запахом пепла,— а за дочерью пришел. Зачем она тебе?

— Добить хочет,— пояснил ему сын.— Увезет, попользуется и через месяц кинет, чтоб по рукам пошла.

— Опомнись! — крикнул от дверей Похмельный.— Что ты несешь! Моя вина есть, но не такая. Женой про-

шу...— и замолчал, пораженный: старик заплакал. Никогда не мог подумать Похмельный, что увидит его плачущим. Сколько знал, сколько помнил его и совсем недавно еще раз убедился в крепости его духа при обстоятельствах куда суровей нынешнего часа, но сейчас старик плакал, плакал беззвучно, тряся головой, немощно клоня ее вниз, в сторону... Дочь с ужасом смотрела на него, сын стоял опустив глаза.

— Отвернул господь лик свой... Злодейства вершат... на детей посягают...

Слушать его всхлипы становилось невыносимо. Он судорожно передохнул, по-детски, не стыдясь, вытер запястьями глаза, мокро заблестевшую щетину, и, так же быстро успокаиваясь, уже без всякой игры и силы в голосе, сказал:

— Теперь жалею. И не я один. Каждый из наших. Говорят, бог за одну убитую змею сорок грехов снимает. За тебя, гада, он все сто сорок снимет. Иди отсюда. Не поедет она с тобой. Иди и помни: о твоей погибели буду бога молить до последнего часа.

Похмельного качнуло. Он ступил так, чтобы можно было увидеть ее лицо, и, стараясь хоть что-то оставить в надежде, спросил:

— Твое-то какое слово? Ты не спеши, я подожду в селе... Не бойся, ничего они не сделают... Я добьюсь, обязательно добьюсь! Решайся, прошу тебя!

Она впервые взглянула на него, и Похмельного отшатнуло не столько окончательным, ясным ответом, который он прочел в исхудалом лице ее, сколько взглядом, полным душевной муки и, как у отца, старческой скорби.

— Быть по-вашему... А ты прости меня, Леся. Не мог я тогда поступиться. Не в силах был... Прости.

И он вышел.

V

На следующее утро конвой поднялся поздно — поберег молодой сон старик. Сам он уже убрался по хозяйству, разогрел борщ и теперь с командными нотками в голосе руководил подъемом.

Мыться вышли во двор. После стоялого и душного избяного тепла утренний воздух был особенно свеж и бодрящ. В нем далеко разносились звуки проснувшегося села. Конвоиры дурачились у колодца. Ребята были

довольны: и первым, свободным от ночных караулов отдыхом, и солнечным, холодно-влажным утром, предвещавшим хорошую погоду для предстоящей обратной дороги, без дождя, слякоти, и, главное — облегчающим сердце сознанием выполненного приказа, когда не надо окрикивать женщин, торопить стариков и зорко следить за парнями, что с такой тоской еще вчера смотрели с пригорков на дивные лесные дали.

После завтрака Похмельный приказал готовить подводы и разыскать провожатого, который, пользуясь случаем, цыганил по знакомым дешевый сельский продукт. Через час все было готово. Конвой сердечно поблагодарил старика за приют, и подводы тронулись к правлению. Возле него разбросанно стояли любопытные гуляевцы, на жердях изгороди, опоясавшей двор, словно воробьи, сидели дети, а в глубине двора чуждо и плотно гуртились высланные. Среди них с листком бумаги ходил комендант и что-то записывал. Строков оказался предусмотрительным: все необходимые документы он отдал Похмельному, едва тот вошел в правление.

Ответной записки не было. Строков на словах просил сообщить Гнездилову, чтобы он выбрал время и приехал в село. Коменданты, в свою очередь, наказали передать Полухину, чтобы и он приехал и разъяснил, каким образом установить тот строгий круглосуточный контроль за высланными, который он требовал от них.

Похмельный пообещал передать просьбы, правленцы поочередно пожали ему руку, и делать в селе ему стало нечего. Он поправил кепку, одернул кожанку и сошел со ступенек. И оказался напротив высланных, которые стояли в нескольких шагах от крыльца.

Еще входя во двор, он ощутил нездоровый интерес и праздных гуляевцев, и правленцев: как уедет, скажет ли что на прощанье? Такой интерес был для него привычным; и сейчас, когда это любопытство возросло и в притихшем дворе все смотрели на него, он понял, что сказать что-нибудь он обязательно должен и такое, посвоему суровое и справедливое, как и все, что он делал и говорил во время этапа.

И он с твердостью, какая нравилась самому, заговорил:

— Прощайте, мужики. Не свидеться нам больше. Знаю, что обо мне думаете, кем считаете. Один из вас

вчера сказал мне, что будет до последнего часа молить бога о моей смерти. Дело ваше — молитесь. Но запомните: в вашей беде Советская власть неповинна. Вы сами своими делами загнали себя сюда. По своей жадности лишились родины. Выгадывали богатство — прогадали жизнь. Хлеб прятали, жгли, скоту скармливали, но только чтоб не дать. Не дать той власти, которая вам свободу завоевала, землю дала и возможности всяческие. Голодающим рабочим не дать, детишкам ихним. Тем рабочим, которые вам глаза раскрыли и теперь ведут за собой к счастливой жизни. Сами-то вы, кроме что сжечь помещичий сортир, не могли ничего. А вы им в спину... Теперь такая вот расплата. Все правильно, все по заслугам... А бога о моей смерти просить не надо. Я от нее никуда не денусь, везде достанет. Я — что? Я — дело десятое, я — коммунист, выполнял партийный приказ, не больше. Не я, так другой. За власть молитесь, что не по лагерям сидите да не по тундрам, а здесь — среди людей, под крышей да со своими детьми. Может, и вернет она вас когда-нибудь с прощеньем, но не думаю. Не стоило, в таком случае, огород городить... Прощайте!

Хорошо, что было сказано так, как хотелось: ясно и твердо, понятно для всех и для себя. Вот теперь-то все кончилось, теперь можно уходить. Но у самых воротец его догнал оклик.

Похмельный оглянулся. К своему удивлению он увидел, что через двор к нему шел старик-выселенец, которого он давно знал и от кого меньше всего ожидал этого оклика. Старик остановился на полпути, с расчетом говорить громко, чтобы слышали все.

— Подожди... Я скажу... Они тебе зараз ничего не скажут, боятся за детей своих, а мой век кончился... Проклятая твоя власть. Не стоять ей долго... Разве то власть? Под какой ни ходили, а такого горя не было. С самой революции у нас только и работы, шо кормить твоих рабочих да таких дармоедов, как ты... Какие ж мы ей враги?! Мы и в войну вашу сторону держали, наши кости тоже по степу белеют, и во все голодовки последним коржем с вами делились. А вы в награду за хлеб, за помощь зараз нас собаками лишайными на смерть погнали! Вот спасибо! — он по-холопски быстро сдернул шапку и, юродствуя, склонился в смиренно-низком поклоне, а выпрямился высоким, страшным, с лох-

матым венчиком волос вокруг маслянисто-желтого черепа, с белыми от ярости глазами, с черным провалом рта в всклокоченной бороде и по-кликушечьи воздел вверх костлявые руки: — Не простится вам! Еще повернется мир, и тогда кровью поплатитесь! Вас в лагеря и тюрьмы погонят! А ты, выродок, выкобениваешься перед нами, про расплату вспомнил... Эх! Глядеть на тебя мерзко — чуешь ты! Мерзко! Будь ты трижды проклят, христопродавец!

Похмельного словно кнутом перепоясали. Он растерянно улыбнулся, беспомощно и жалко оглянулся назад, к воротам, где готовые к отъезду гуськом стояли подводы, блуждающим взглядом метнулся по двору, по собравшимся в нем людям, навесному крыльцу, полному правленцами, и наконец, опомнясь, крикнул низким, чужим голосом вслед уходящему старику:

— А ну вернись! — И быстро пошел к высланным. Конвоиры, захватив винтовки, соскочили с бричек, вбежали во двор, догоняя и оцепляя Похмельного сзади полукольцом.

— Обиды выказываешь, старый выползень?! Кто Близнюка убил? Не доказала тогда милиция, но кровь его на тебе,— он больно ткнул костяшками пальцев в грудь старику.— Ты не тряси бородой — на тебе! А вот он помог. И он. И этот... И ты...— Похмельный с такой быстротой указывал на высланных, что возражать не успевали. Один из них протестующе поднял руку, но он и его опередил: — Что хочешь сообщить? Куда хлеб спрятал? Или бабу-инструктора вспомнил?

Высланный попятился. Но тут Похмельного другой выселенец мягко взял под локоток:

— Не тычь, Максим,— сломаешь... Их ладно,— нас за что? Меня, Луку, Любарца, вон Андрей с детьми стоит, Михайло... Мы тоже хлеб прятали и убивали? Жадностью коришь, власть славить требуешь... Эх, Максим,— тоскующе поглядел выселенец в синее, безоблачное небо,— не хотелось лишней беды детям, не то давно бы тебя... Ты рот закрой, потом передохнешь... Я тебе обещаю...— тут он воровски выглянул из-за плеча Похмельного на крыльцо, откуда на них во все глаза смотрели правленцы, на стоящих в изготовье конвоиров и с тем же жутковато-дружеским шепотком похлопал его по рукаву: —...непременно восславим! Как только твою

власть на столбах развесят, сразу благовесты закажем...

Похмельный оторопело смотрел на него.

— Погоди... За что? Дядько Самойло, я же тебе объяснял. Ты не понял? Зачем же так... не надо,— уже умоляюще прошептал он.— Если тебя несправедливо, значит, все мы... всех нас? Вешать? На столбах? Ты что же думал... А справедливо,— неожиданно объявил он, округляя глаза на меловом лице и дико озираясь по сторонам.— Да, все справедливо. Всех вас справедливо. По заслугам! — И вдруг, плачуще исказившись лицом, тонко вскрикнул: — Сволочи! Не будет вам...

Жаркая, удушливая волна обиды, перехватив дыхание и замутняя разум, бешено кинулась в голову, посторонне, размыто, будто в тяжелой пьяни, мелькнули недоуменные лица ближних гуляевцев, набычившиеся, готовые ко всему высланные, и больно хлестнуло то, что в неловкости за него отвернулись правленцы, лишь предсельсовета, улыбаясь и указывая на него, что-то торопливо говорил Строкову, и тот, смакуя происходящее во дворе, понимающе ухмыльнулся.

Что-то долго бывшее натянутым в нем неожиданно и не ко времени лопнуло перегруженной жилой, он почувствовал, как сразу ослаб духом, и, пугаясь того, что с ним происходит, попытался привычно взять себя в руки: стиснул зубы, кулаки, угнул голову, но в душе на сей раз только дрогнуло беспомощной потугой, и тут же слабость, с хрустом круша и ломая все преграды и перегородки, подхватила и стремительно понесла вниз, за все грани самообладания. Он уже не владел собой:

— Перестрелять вас всех, а не везти сюда! Живьем гноить! Это кого в лагеря? Нас в тюрьмы?.. Ты кого, гад, вешать?..— Он схватил выселенца за отвороты зипуна, рывком подтянул к себе: — Партийцев вешать?— и тотчас с силой отшвырнул его в толпу.— Не успеешь...— Он попытался выхватить наган, но молодой конвоир, стерегший каждое его движение и будто предвидевший это, ловко вывернул ему руку, другой боец помог завернуть обе руки за спину, еще один локтевым сгибом обхватил ему голову, и все трое, под лязг передергиваемых винтовочных затворов остальных конвоиров, поволокли его через двор к подводам.

— Передохнете все! До одного... Не будет возврата-а-а... пусти... заказано! Вас голодом...— хрипел он,

силясь высвободиться и окончательно теряя себя. Вся душевная надорванность этого человека — усталость, гнев, обида,— все выплеснулось в постыдной бабьей истерике.

Он задушенно сипел, бился в руках конвоиров, задыхался в безуспешных попытках встать на ноги, тщетно взрывая каблуками черную, влажную землю. Его кинули в бричку, навалились. Провожатый по-тавричански стоя в передней, стегнул лошадей, и обоз загрохотал к околице.

На шаг перешли только у леса.

VI

К исходу дня поднялся ветер. Тугой, теплый, он низко гнал с запада редкие тучи, носил над станцией запах мокрых полей и стаи кричащего воронья.

Провожатый остановил обоз у райкома. Просторный двор пустовал, лишь в дальнем конце его, у разбитой пароконной легчанки, нудился оседланный конь и трудно — не давала короткая оброть — подбирал клочки сена, сбитые к столбцам коновязи.

Похмельный подошел к зданию. Навстречу ему из распахнувшихся дверей выскочил распаленный мужчина, прогремел по ступенькам, рванул повод с изгрызанной поперечины и погрозил кнутовищем в окна:

— Дожалеетесь! Спохватитесь осенью! — Он махом вскочил в седло и телом качнул коня к ходу.

Похмельный вошел в приемную. У обшитой черным двери, за «ундервудом», уронив голову в подставленные ладони, маялась нервно-худая секретарша.

Похмельный назвался. Она указала на дверь:

— Там. Только, ради бога, тише и без матерщины. Ее скоро машинка сама начнет печатать,— и со злостью вырвала из каретки начатый лист.

Гнездилов стоял у окна, которое выходило на западную сторону — к закату, к ветру...

— Я, признаться, не ждал тебя сегодня, думал, загуляешь, а гляжу — подводы. Садись,— указал он на обшарпанный кожаный диван.— Садись и рассказывай.

— Что рассказывать, довезли без происшествий, ругани и драк не было, жилье нашлось всем. Две или три семьи в сараи вселили, да там сараи лучше какой хаты. За лето поправят...

— Это потому, что в Гуляевке таких хат много пустовало,— пояснил Гнездилов и, захватив со стола папиросы и громоздкую пепельницу, присел рядом.

— Дальше... Ты кури.

— Все. Вот расписка.

— А что правленцы? Что у них с посевной, не спрашивал? Какого числа они выходят на пахоту? Рассказывай, парень, не томи, мне все надо знать... Ты не говорил с ними?

— Не знаю, как и сказать,— пожал Похмельный плечами.— Присутствовал я на собрании правления, говорил с ними... Извиняйте, забыл ваше...

— Иван Денисович.

— Послушал и вот что скажу: в вашей Гуляевке или председателя колхоза надо гнать в шею, или создавать партячейку... Почему? Да потому, что не ладится у них. К севу не готовы. То одного нет, то другого мало. Валят друг на дружку, пустые расчеты строят. Боятся чего-то. С таким капитулянтским настроением не дадут ума ни высланным, ни колхозу. Руки там твердой нету.

— Хорошо подметил,— сдержанно одобрил Гнездилов.— А насчет руки... рука там была... Ты Полухина не встретил? Значит, по озеречной поехал... Дело вот в чем: недели две назад пришел запрос на Строкова. Обычный запрос: кто он, что он. Я сообщил, что у меня о нем известно, решил — на этом кончилось. Но ты с почтой привез вторичный запрос, уже из Керчи. Там подозревают, будто бы Строков — врангелевский инженер и принимал участие в строительстве укрепрайонов на перешейке. Ни много ни мало. А мы такую важную особу в селе держим. Так ли это — не знаю, но в одном уверен: к нам его не вернут. Или осудят, или направят работать по специальности. Председателем он, в сущности, был неплохим. Одним из первых организовал колхоз. Удержал многих середняков от выездов, к которым, честно говоря, мы их вынудили. Обобщил хозяйства. У него в неплохой сохранности семена. Людей крепко держит, жалоб с этого села не поступает. Чем он им пригрозил, чего пообещал — его дело, главное — гуляевцы не бегут на стройки. Но с другой стороны — тех середняков, которых удержал от массового бегства во время осенних хлебозаготовок, он в январе — феврале этого года непростительно много раскулачил и выслал. И яв-

но прошляпил скот. Сотни голов рабочего скота пропало! — недоумевал Гнездилов, поднимаясь с дивана.— Колхоз в Гуляевке организован в декабре прошлого года. Скот весь обобщили. Почти тысячу голов держали колхозным стадом. Но после мартовской статьи, когда хлынули из колхозов, он выходить-то запретил, не было у него выходцев, молодец, чем и нравился мне, а вот скот не сберег. К сегодняшнему дню его что порезали, а что продали. Это быков-то! Основное тягло. Сейчас там осталось то, что у высланных конфисковано, да скот наиболее сознательных колхозников. С его хваткой это уже не промашка, нечто другое. Теперь, ты говоришь, с севом у них не ладится, и ведь не ты один. Надо срочно самому ехать туда.

Похмельный с облегчением откинулся к спинке дивана:

— Да здесь и гадать нечего, все понятно. То-то он вопросики задавал, все с вывертом, с подковыркой. Ах, подлец! Я сразу почуял — враг! Нет, не вернут. Его посадят. Я б, конечно, расстрелял!

— Видишь, какой ты наблюдательный. А нам он показался человеком деловым и преданным. Понадеялись на его горячие заверения, теперь такая вот обстановка...

— Иван Денисович, ты извиняй, но во дворе ребята ждут. Нам бы пристроиться где до паровоза,— начал просить Похмельный голосом, которым наловчился выбивать слезу у самого сурового начальства.

— На этот счет не беспокойся. Приберегли мы для таких случаев домишко у вокзала. Ты вожатого отпустил? Вот ему и поручим. Посиди маленько, поскучай.

Гнездилов вышел из кабинета. Похмельный с наслаждением завалился на диванный валик. Сказывался ему тяжелый отъезд из села, тряская дорога, невеселые дорожные раздумья. В кабинете было тепло, уютно. Неоткрывавшиеся с зимы двойные рамы, в замазке по щелям, надежно берегли от сквозняков, мерно отсчитывали время ходики у портрета, расслабляли, обволакивали дремотой...

Разбудил его Гнездилов.

— Отправил я твоих бойцов в наши «нумера». А ты задержись, потолкуем. Устал? Верю. Ничего, сейчас чайком взбодримся... Так, говоришь, в Гуляевке партячейку создавать надо? — Он собирал листы, освобождая стол.

— Надо, Иван Денисович. Без нее толку в селе не

будет. Колхоз — это одна сторона дела. В нем сейчас высланные появились, и оставлять их без партийного руководства нельзя. Им нашей правды до гробовой доски не понять. А вот заставить их работать на нас так, как они на себя работали,— ваша прямая обязанность. Пусть, гады, под принудиловкой рабочий класс хлебом снабжают. Не дошло через головы, дойдет через грыжи... Да и какой сейчас колхоз без коммунистов? Ты не наездишься, а сами они не вытянут или не захотят. Сев — еще туда-сюда, засеются, но по осени они весь хлеб по своим закромам растащут, что мыши по норам, и разбегутся. Скот не уберегли, а хлеб и подавно. Ночью повыкосят. Колхоз... Ничего не получится.

Похмельный вольно полулежал на диване. Теперь он мог позволить себе некоторую рисовку в разговоре. Гнездилов отмалчивался.

— Удивляюсь я вам! Чего тянуть? Из тех же активистов можно создать партячейку. Поговорить, объяснить нашу задачу, прижать в крайнем случае — и в партию. Тогда и спросить на полную катушку: чего тянешь? Чего выжидаешь? Почему ленишься? С нас ведь спрашивают... Хотя нас вообще не спрашивают: приказали — и выполняй. Время уговоров кончилось. Я вчера с ними битый час просидел, слушал. Ничего дельного. Носят воду решетом. Это было вчера, будет завтра, послезавтра... Собрать людей в колхоз, создать партячейку — это вам не бруствер на перешейке выкопать...

— Не хотят они в партию,— тихо отозвался из-за стола Гнездилов.— В сочувствующих числиться — пожалуйста, а в партию — нет. Просится одно барахло...

— Плохо разъясняете,— сурово объявил Похмельный.

— Может, и плохо,— спокойно согласился Гнездилов.— А все, о чем ты мне говоришь, я знаю. Наша беда, парень, в том, что нет людей. Сел много. Между ними двадцать верст — самый малый крюк, и в каждом черт ногу сломит. Любое райкомовское распоряжение вызывает там переполох, я уж не говорю о центральных постановлениях. Слышал небось, что творилось в марте? То стопроцентный охват, то массовые выходы из колхозов и гибель скота, то вновь с заявлениями... Сейчас притихли. Выжидают. Плюс к тому и мы зеванули по-крупному. Середняков много выехало тайно... да пусть! — горя меньше: не сбежали — мы их, во рве-

нии своем, все равно бы раскулачили и выслали. Беда в другом: после них дома остались. Сельской бы власти к рукам их прибрать, бедняка вселить многодетного или приспособить под что-либо — ан нет! Бедняк сам не хочет въезжать. Ему, видите ли, совесть не позволяет. Объясняли мне: стыдно, кто-то строил, а я въеду? Даром? В чужое? — не могу. А я думаю — страх. Боится возвращения хозяина в случае перемен, боится выглядеть бессовестным в глазах односельчан. Совесть — свойство неплохое, только...— Гнездилов поморщился.— Только тому же бедняку она позволяет украсть, урвать, уволочь ночью из этого дома что-нибудь. Так, исподтишка, совесть позволяет. Дескать, не все беру — кусочек, не о себе — о детях думаю, не я один — все тащат. По таким кусочкам в Майдановке с двух брошенных дворов железо с крыши сняли, в Новоспасском скотный двор на дрова разобрали. Выламывают окна, двери, разбирают пристройки, камень выворачивают из амбаров. Понятно было бы в степных селах, а то ведь, негодяи, в лесу живут. В Кошаровке половина собранного инвентаря пропала. Спросить бы: зачем он им? Борща из плугов не сваришь и не продашь — купить, чтоб в тот же день в колхоз отдать? Люди нам нужны. Умные люди, руководители... Вот еще. Мысль мне в январе подали: отдать под расписки по дворам семенное зерно. Доводы — ого какие! — привели. Переберут, мол, от сорняков и сберегут от всякой напасти: сырости, пожара, а то и воровства, и к весне сдадут в бригады чистеньким, протравленным, в сохранности... Хорошая мысль? Нравится? Вот и мне, дураку старому, понравилась, одобрил. А в прошлом месяце стали собирать — и половины не собрали. Я сам по селам поехал. Где, спрашиваю? Детям, отвечают, скормили. Что прикажешь делать? Судить? Многодетных? Я за эту «умнейшую» мысль еще спрошу с кое-кого... Ты думаешь, в одной Гуляевке могут сев завалить? Только что председатель Переметного — наше село — предлагал сдать семенное зерно в счет тройных хлебопоставок осенью: он сейчас сдает пуд семенного зерна, а осенью я у него три пуда не добираю. Это — перед первой коллективной посевной, когда каждое зернышко должно засеяться. У тебя укладывается в голове? У меня тоже... Ему, оказывается, не засеять все. Массу причин нашел: то людей нет, то быков мало. До колхоза засевали в три раза больше, а теперь, видите ли, не оси-

лить. Всего мало, одного зерна много... Я ему так и сказал: не засеешь — под суд пойдешь, как саботажник. Это в ближних селах такое творится, а в дальних — черт не только ногу — голову сломит!

Гнездилов с силой швырнул карандаш на стол и расстегнул ворот коломянковой рубахи. Тяжелое лицо его набрякло, и было неловко смотреть в его сторону.

Нервный цокоток «ундервуда» в приемной смолк, в кабинет заглянула секретарша.

— Все готово, Иван Денисович. Принести?

— Нет, оставьте в желтой папке и в понедельник напомните Лукашевичу. Ну, а сейчас отдыхайте и простите за... громкий разговор.

— Что вы,— оживилась секретарша, с любопытством рассматривая Похмельного.— Я все понимаю. Чай будет скоро...

— Э-э, нет. Это мы сами, по-мужски.

Она аккуратно прикрыла дверь.

Гнездилов вновь подошел к окну и надолго замолчал, глядя в грозно расцвеченное к вечеру небо.

Похмельный тоже молчал, знал, что в таких случаях лучше не соваться с ненужными сочувствиями.

— Ты скажи, как там Россия, строится?

Похмельный поднял голову. Его больше удивил голос Гнездилова, чем сам вопрос.

— Ты говорил, что побывал во всех железнодорожных тупиках, видел, наверно... Тракторов много? Машин, тракторов, другой техники? Стройки видел?

— Видел... О, стройки есть! Под Челябинском целые армии землекопов. Такие котлованы роют, аж голова кружится. Техники мало. Есть, конечно, трактора и другое, но мало для страны. Я даже подумать не мог, что бывают такие просторы, особенно здесь. А строят много... А что?

— Да так, спросилось... Хорошо, наверное, там! Развернули коллективизацию, ясные цели дали, теперь тракторов поболе — и поднимай матушку. А? Хорошо? На год бы под Орловщину, поглядеть, поработать. Я ведь тамошний рожак.

Внезапная перемена в нем удивляла. Только что от каменевшей у окна фигуры несло отчуждением, и тут же обмяк, лицо отпустило, и Похмельный отметил, что он ниже ростом, чем казался раньше.

Гнездилов отошел от окна, встал напротив дивана.

— Строитель я, парень! — объявил он с бахвальцей в голосе.— Да! Чего на живот смотришь? Это он здесь у меня появился... С малых лет на стройках. Начинал у первогильдейского купца Новикова. Был такой в Орле. Он же меня позже и в коммерческое пристроил, правда, окончить не удалось, выперли за участие в сходках. Пришлось снова шапку ломать перед Сергеем Даниловичем. Взял. Лет десять у него ума набирался. Гонял мужиков за лень да пьянки, хитрил, жульничал — словом, всячески помогал классовому врагу. Зато и строили! Теперь вот на партийной работе. Ты бы, конечно, меня расстрелял,— подмигнул он Похмельному.— Люблю стройки! Хорошо на них! Все по-другому, ясней как-то. Кто хочет, тот работает, кто не хочет — работа сама выгонит.

— Разве здесь работы мало?

— Работы и здесь хватает, невпроворот, успевай только лоб вытирать. Но работа работе — рознь. На одной — душа радуется, на другой — сердце гробишь.— На лице его дотаивала теплота, с какой он вспоминал свои стройки, но было видно, что в мыслях он уже здесь.— Люди нужны. Эх, если бы ты знал, как нам сейчас нужны люди. Без крепкого ядра, без партячеек, как ты верно заметил, мы идею коллективизации не проведем должно. Быть нам битыми.

— Я не пойму: из тех же активистов...

— Да на кой черт мне такие коммунисты, которых надо прижимать, чтобы они писали заявления в партию! За горло брать. С них толку что с козла молока. Они, прежде чем выполнить партийное указание, будут неделю по селу в растерянности бродить. Сообщать, предупреждать, опасаться, советоваться, потому что у них все село сваты, кумовья, зятья и прочие родичи. Главная беда наших сельсоветчиков. Потому-то были допущены массовые выезды из сел. Единственное,— дома оставили, на все остальное хватило времени узлы связать. Я не хочу хаять всех сельских коммунистов. Честь и хвала им за их партийную совесть. Но много ли таких? Нет, парень... Да, а ведь и я забыл. Как звать-величать-то тебя? Нет, дорогой Максим. На место председателя колхоза или секретаря партячейки надо человека со стороны, чтоб никакого кумовства, чтоб не тянули его за руки, за ноги родичи. Хотя бы первый год, потом-то никуда не денется... Да человека твердого, не размазню, знаю-

щего коммуниста, чтобы мог наши решения до сердца довести, а не отталдычивать циркуляром очередным. Ведь в своей массе этот новоиспеченный колхозник и понятия не имеет, какую выгоду может принести ему колхоз. Для него сейчас колхоз — не колхоз, а обдираловка. Сам посуди: часть пшеницы он по налогу вывез, часть в обложения у него забрали, часть за зиму съел да на портки обменял, остатки недавно в семенной фонд обобщили, скотину он с перепугу да с жадности еще в феврале порезал и съел, а что осталось — продал. Что мы сейчас ему предлагаем? Уверения? Обещания? Рассказ о счастливом будущем? Наслушался он их. Это не рабочий, он — крестьянин, ему здесь и до революции неплохо жилось. Трудно ему поверить в наши обещания, ибо с семнадцатого года мы с него только брали. И если он пошел в колхоз, если еще держится, то исключительно на нашем большевистском слове. Вот поэтому настало — давно настало! — время не на словах, а на деле доказать преимущество колхоза перед единоличным хозяйством. Этой осенью, а не в будущем засыпать зерно — заметь: с колхозного поля — в его закрома. Сегодня, а не завтра накормить, обуть и одеть его детей. Сегодня, сейчас засеять его обобщенный в колхоз надел земли. Понимаешь? Сегодня!

Горячность Гнездилова увлекала, и Похмельный невольно заволновался.

— Но мы тоже выше головы не прыгнем. Урожай будет осенью, а не завтра.

— Ну, а сеять когда? Тоже осенью? Хорошо: осенью. А вдруг засуха, недород и осенью он шиш получит?

— А разве раньше засух не было? Или они только при Советской...

— Вот это и надо объяснить! И еще тысячу вопросов. Потому-то и нужны умные, крепкие коммунисты в селах. Чтоб поддержали народ, не позволили разбежаться при первой же неудаче. После раскулачивания это не так-то просто, да ты не хуже меня знаешь... Нам бы первый урожай хороший, дальше легче пойдет... И людей. Хотя бы два-три большевика на село. Таких вот, какой был только что...

— Ты же грозился его под суд отдать,— насмешливо напомнил Похмельный.

— И отдам, если не засеет! Но он засеет. Умрет, но засеет. Мужик с характером.

— А что за разговор у вас вышел? Он меня чуть с ног не сшиб.

Гнездилов легко крутнулся на каблуках, прошелся по кабинету.

— Требует невозможного. Ультиматум мне, видите ли, предъявил. Я должен или принять у него зерно в счет осенних поставок, или дать указание отобрать в казахских аулах лошадей и отдать ему на посевную.

— Хорошая мысль, почему бы не поддержать? Ведь он вернет?

— Хватит мне мысли о семенном зерне... Он вернет? Да к этому хохлу что в руки попадет — считай пропало. Вернет... И кто это сможет точно определить, в каком ауле нехватка лошадей, в каком излишек? Кто, по-твоему, тот казах, у которого, положим, пять лошадей, корова и десяток баранов?

— Кулак! Кто ж еще... Или как там по-ихнему?

— По-ихнему — бай. Но ты ошибся. Этого казаха и середняком-то назвать трудно. Дело в том, что казахи здесь — народ полукочевой, и кормится он только от скота. Нет у него ни огородов, ни пахотных земель. Земля-то есть, закрепили за ними, но используется она, в основном, под выпас... Тебе долго объяснять... Плохо с селами, а с аулами еще трудней. В селах хлеборобы милостью божьей — и пахари, и гречкосеи, и огородники-бахчевники: солят, квасят, сушат. Прокормятся в трудный час. С казахами сложнее. Не помрут и они, но если урезать им количество скота, то чем они жить станут? Насчет животины они первые люди — любому цыгану фору дадут, но артели и тем более колхозы — это оседлый образ жизни. И тогда, как ни крути, придется земельку распахивать, зерновые сеять, картофель, овощи и все остальное, в чем они нуждаются, на что свой скот меняют. Не в юртах мерзнуть — дома строить, а главное — это организация коллективного труда, приемлемого для артели, дела в общем-то для казахского аула преждевременного. В аулы нужны коммунисты-казахи. Русака или хохла туда не пошлешь. Просил я у Айдарбекова несколько человек, но и у него нет. Обещал запросить в Казкрайкоме, да быстро только сказка сказывается, а ветер, гляди, как землю сушит... Но довольно. Чай-то будем пить?

Он вышел и вернулся с чайником, кружками, со свертком.

— Присаживайся, Максим. Утомил я тебя своими жалобами? Что поделаешь, другим мыслям нынче места нету... Ты не мостись на углу, садись поудобнее. Или чай — не наше казацкое питье?

Похмельный молчал. Он только теперь понял, что Гнездилов давно ведет свой разговор, но куда? А то к чему бы такая откровенность, перед ним, чужим человеком? Эта горячность, подробности, признание своих ошибок? Желание выговориться? Но не похож был Гнездилов на тех, кто ищет случайных собеседников для облегчительного разговора. Может, просьба какая?

— Угощайся, Максим... Куда теперь?

— Домой.

— Домой — это хорошо. А где состоишь? Женат? Похмельный ответил.

— Надо полагать на этапах временно? Или опять поедешь?

— О, нет! — Похмельного передернуло.— Хватит. Я свое отдал. Пусть теперь те умники... Мне теперь что-нибудь полегче... Господи, да неужели все кончилось? А? — Он недоверчиво взглянул на Гнездилова, и впервые за эти долгие месяцы лицо его слабо осветилось болезненной улыбкой.— Даже не верится...

Чай был крепким, терпким, булочки свежие. Интересно, кто их выпекал, жена или в местной пекарне...

— Учиться пойду,— неожиданно для самого себя определился Похмельный. И торопливо стал пояснять: — Выучусь на бухгалтера, буду костяшками щелкать. Или на ветеринара. Дело знакомое... К черту! — вдруг глухо крикнул, будто выхаркнул он.— Уйду! Все брошу! Из партии!.. — Он брякнул кружкой об стол, расплескал чай, залил какой-то лист...— Ты на свою работу жалуешься, а моя... Смотри! — и он выкинул к Гнездилову дрожащие руки.— Еще показать? — Он вскочил и распахнул кожанку — чтобы брюки не сползали с исхудалых кострецов, пояс был собран в узел и перевязан жгутом...— Нервов нет... Сегодня утром... Спасибо ребятам, не то бы вместе со Строковым связанным привезли...

— Да ты сядь! — встревожился Гнездилов, всматриваясь в его лицо.— Сядь, дорогой, попей... Эх, нет ничего... Тебе сейчас бы водки... Это у тебя оттого, что ты, видать, парень с сердцем. Сколько ты в пути был?.. Видишь, другие вполовину меньше, а доезжали с покойниками. Понимаю тебя, Максим,— с состраданием смот-

рел он на Похмельного.— Все понимаю, а утешить нечем...

Похмельный потянул со стола кружку, рукавом вытер коричневую лужицу. Гнездилов помолчал, несколько раз приценивающе взглянул на него, тупо и шумно тянувшего из кружки, и, выждав, заговорил с некоторой загадочностью:

— А ведь я к тебе с предложением, потому и задержал. Подумал сегодня и решил... Хочу предложить тебе председательство в Гуляевке. Рискую, конечно, но уж больно парень ты хороший, нравишься мне, а посему желаю видеть тебя на этой должности,— тоном купца, щедрого в подпитии, объявил Гнездилов.

— Не пойму... Там же Строков?.. Ах, да!.. Кто? Я? Председателем? — все так же тупо переспрашивал Похмельный.

— Говорил тебе: держись крепче,— тихо радовался его растерянности Гнездилов.— Сегодня у меня переночуешь, а завтра с утра поедешь принимать дела. Я понимаю твою растерянность, есть от чего.— Сквозь мягкую снисходительность чувствовалось окончательно решенное.— Но я уверен — справишься. Говорил о тебе Полухину, он тоже считает твою кандидатуру подходящей. Больше-то из наших райкомовских никто тебя не видел... Если возникнут...

— Да не согласен я!

— Как — не согласен?

— Не хочу! Не могу.— Похмельный окончательно пришел в себя.— Чуял я: что-то просить хочешь, но такое! Я и предположить не мог... Поди, шутишь, Иван Денисович? — И выдохнул с облегчением: — Аж не по себе стало...

— Ты погоди о шутках,— холодно остановил его Гнездилов.— Почему не хочешь, объясни?

— Ты что, смеешься? Да меня в первую ночь мои же высланные так спрячут, что только караси в озере будут знать, где я отлеживаюсь!

— Боишься? — сощурился Гнездилов.

— Боюсь, конечно! Это такой народ, такая...

— Ты мне дурочку не валяй. Я достаточно пожил на свете, чтобы разбираться в людях. Боится он... Тебя испугаешь, пожалуй... Завтра же в село принимать дела!

Похмельный встревожился:

— Иван Денисович, да ты, я вижу, всерьез задумал?

Так я тебе сразу говорю — нет, и кончим разговор.

Гнездилов с грохотом отодвинул стул, поднялся.

— Хорошо. Не хочешь в Гуляевку — не надо. Может, и к лучшему... Пойдешь в другой колхоз, поменьше. Там — справишься. Хочу в Кошаровке сменить председателя. Из-за этой классовой борьбы он, бедолага, из запоев никак не выйдет, его скоро кондрашка хватит... Пойдешь?

— Нет! — Похмельный тоже встал.

— Да ты дурак в таком случае! — в сердцах бросил от окна Гнездилов.— Ты, видимо, не понимаешь, что я тебе предлагаю. Что ты шарахаешься, как черт от ладана? Только что говорил: учиться пойду, а я тебе без всякой учебы такое место предлагаю. Радовался бы и благодарил! Какой, к шутам, из тебя ученик в сорок лет.

— Тридцать.

— Пусть тридцать. Сядет он вместе с пацанами за парту... Бухгалтер! — в его голосе было столько иронии, что Похмельный непонятно чего устыдился.— Твоим друзьям и не снятся такие должности. А тебе — пожалуйста... Подучишься. Подберу тебе книги, почитаешь, с краем познакомишься, поразмышляешь над жизнью. Тебе этот этап многое дал, на многое глаза открыл. Скажешь, не так? Попредседательствуешь год-другой, вытянешь колхоз — дадим направление выше. А там глядишь,— ты уже...— Гнездилов многозначительно указал глазами вверх, повеселел. Доверительно взял его за руку и повел к дивану.— Люди здесь неплохие живут,— уже серьезно продолжал он.— О чем они думают, как с ними говорить, чем увлечь — тебе объяснять не надо: думают и мечтают о том же, о чем сейчас думают крестьяне и на твоей родине, и по всей стране. Разъяснить, поддержать, направить, а если потребуется — заставить — твоя задача. Постоянная и на всю жизнь. На сегодня первейшей целью поставить сев. Все разрешаю! Вплоть до арестов и высылки. Любой ценой вывести людей в поля и засеять все до единого зернышка. Когда засеешься, тогда разъяснения и принуждения не нужны станут. Ну, а в отношении высланных, то, по-моему, ты преувеличиваешь. Нет? Поэтому соглашайся и говори спасибо. Я ведь не каждому...

— Ошибаешься, дорогой Иван Денисович! — воскликнул Похмельный.— То, что они смирно ведут себя,—

видимость, для пайка. У них сейчас одна мысль: как бы отомстить. С ней встают, с ней ложатся... Не в страхе дело. Я в жизни боюсь только мышей да своей совести... Нет, не уговаривай, Иван Денисович. Ни за какие коврижки! Неужто у тебя своих, местных охотников мало?

— Ты присядь, послушай,— Гнездилов мягко положил руки на его плечи, утопил в диване.— Охотников много, большевиков мало. Верю тебе: тяжелые, опасные люди. Не знал бы какие, не просил бы так. Враги. Но все ли? Скажи мне как на духу: есть среди твоих несправедливо высланные? Есть. Много? То-то! Болит? Болит, еще как болит! Тебя не дорога вымучила, а совесть твоя, это она тебя корежит... А я даю тебе не только должность, я даю тебе возможность загладить и свою вину. Отнесись по-партийному. Мы напороли — нам и править. Ты вот домой рвешься, считаешь свой долг выполненным. Привез, сдал, и все на этом, живите с ними как хотите, а я умываю руки... Да что не так! Все так... Но разве здесь не та же партия, не тот же народ? Служить ему везде можно, а должно — там, где труднее. Пользу партии ты должен приносить там, где больше всего нужен, а не только на родине. Кем ты у себя будешь? Мелкой сошкой, порученцем, кто куда пошлет. Здесь же — председателем крупного колхоза, при живом, нужном сейчас стране деле.

— Мне покой сейчас нужен...

— Не будет тебе покоя! Ни одному коммунисту сейчас не будет покоя! Пока не вытянем страну. Такое время. Не скроешься, не спрячешься. Трудно нам здесь, потому и прошу. Ты видишь, в каком состоянии край?

— Откуда я мог видеть, с паровоза?

— Ничего, будет время, увидишь. Идет коллективизация. Это, Максим, такая грандиозная работа, что даже мы, участники ее, не можем увидеть конечный результат. Знаем, что лучше будет во всех отношениях крестьянству и рабочему классу, а конкретно? Хорошо в плановом отношении, и только? А вдруг не оправдаем мы надежд крестьянина в колхозе? Я не знаю, хотя расписывать счастливое будущее умею здорово. У нас коллективизация проходит сложнее, чем где-либо. В России, на Дону, Украине, Кубани — хорошо. Кулаков оттуда выслали, направили тысячи рабочих, трактора... Правда, и к нам рабочих прислали, но для этих мест их — капля в море. А нам приходится решать сразу не-

сколько задач. Нас, как и везде, заставили раскулачивать и высылать местных крестьян, обязали провести массовое обобщение колхозам в русско-украинских переселенческих селах, плюс к тому — организовать артели в казахских аулах. Это борьба с баями, муллами и националистами. Здесь, Максим, крепко надо думать, осторожно работать. За ошибки в отношении казахского народа с нас, русских руководителей, строго спросится. С нашими накладно вышло, с казахами — втройне выйдет. Да еще тысячи высланных — получите довесок! А край хороший! Чего только нет, даже золото есть. У нас свои заводы, не хуже челябинских. Есть фабрики, рудники. Потребуются сотни коммунистов разных специальностей. Потом пойдешь куда захочешь, а пока помоги нам. Ты, Максим, мне сразу понравился. Я как только увидел тебя — подумал: крепкий парень, вот бы его к нам. Как ты их на станции: «Жива-а построиться!» Да ты лихой мужик, Максим! Ей-богу, молодца. Я тебе без всякого, от души... Один такой, как ты,— десятка стоит,— в последней попытке во все тяжкие пустился Гнездилов.— Чувствую в тебе наше, крепкое, душу твою чувствую... Я напишу в твой окружком, или где ты там, объясню. Мало будет моей бумаги, поеду к Айдарбекову, он окружкомовскую напишет. До Казкрайкома дойду, но тебя оставят. Ну, соглашайся!

— Да какой из меня председатель,— из последних сил держался Похмельный.— Завалю колхоз — выгонишь с треском. У меня ни знаний, ни опыта. Не могу!

— Завалишь — и тебя под суд отдам,— с живостью пообещал Гнездилов.— Но ты не завалишь, не из таких... Мы не дадим. Помогать будем. Я к тебе наезжать, ты ко мне. В другие села съездишь, переймешь лучшее...— И строго прикрикнул: — Ты бестолочь из себя не разыгрывай! Вытянешь!

— Иван Денисович! — со страхом взмолился взмокший Похмельный.— Не силуй ты меня, ради бога. Не будет мне здесь жизни. Доконаю себя. Или они угрохают. Не председатель я... Ты уж прости, Иван Денисович.

Гнездилов замолчал, огруз на диване, лицо его поскучнело, вздохнув, он тяжело, по-стариковски, поднялся.

— За что прощать-то? Нет так нет, насильно мил не будешь. Езжай. Женись, учись, плодись... Кормить-то кто

вас будет?.. Я тебя не провожаю, мне еще поработать надо. Дом, где отдыхать вам,— недалеко от вокзала. Спросишь — укажут. Не забудь зайти до паровоза, бумаги тебе оформим, продуктов на дорогу дадим... Куда, куда пошел! Руку-то давай. Эх ты, бухгалтер... Подожди, еще пожалеешь, да поздно будет...

Похмельный еле сдержал себя, чтобы выйти, а не выскочить из кабинета...

VII

Он внезапно, в страхе, проснулся среди ночи оттого, что ему явственно почудилось, будто кто-то большой и невидимый, наклонясь над ним, с силой тряхнул его за плечо: он долго лежал не шевелясь и успокаиваясь и думая, к чему бы это?

С вечера переусердствовали с топкой, было жарко, а к полуночи выветрилось, остался тяжелый запах с угарцем да храп конвоиров, что лежали вповалку на полу, смертно белея исподним в темноте. За окном шумел ветер, тонко вызванивало стекольце в переплете и странное в ночи чувство одиночества и томящей печали объяло его. Сон не шел. Он нашарил на столе спички и разжег лампу. Кто-то из ребят поднял голову и долго смотрел на него тяжелым бессмысленным взглядом. Он накинул шинель, убавил фитиль и вышел во двор, присел на камень в углу пристенка, в затишье, месте, что облюбовал еще с вечера на перекурах.

Ночь была темна, но чувствовался близкий рассвет. Ветер, по-прежнему теплый и влажный, гудел в вершинах невидимых осокорей, временами с пугающим шорохом выметал из-за угла к ногам мусор. Первые же затяжки успокоили, и память, словно тяжело груженный состав, со сна медленно, с пробуксовкой, затем все быстрее, набирая привычную скорость, стала вырывать отдельные куски прошлого: дальнего — размытые во времени и остроте, ближнего — ярко и зримо. Так, вчерашний разговор с Гнездиловым помнился во всех извивах, поэтому его и сейчас томило неловкостью отказа в просьбе секретаря. Самое неприятное заключалось в том, что все доводы, которые Похмельный приводил, отказываясь, выглядели несерьезными, поэтому та разочарованность в нем как коммунисте и надежном человеке, с которой прощался с ним Гнездилов, в общем-то была по-

нятна и справедлива. Правда, и сама просьба была настолько неожиданна, что он долго не мог понять Гнездилова: предлагать председательство в крупном, только что созданном колхозе совершенно незнакомому человеку! Пусть бы предложил кто-нибудь другой, из тех, кто больше обещает и заверяет, чем думает и делает, но только не этот, повидавший свое партиец с громадным жизненным опытом. Ему, в должности секретаря райкома, не к лицу такие скоропалительные решения. Но так Похмельный считал вчера, когда конвоиры после ужина вышли перекурить, побалагурить, а он, по привычке обособясь от них, сидел на этом камне и все размышлял над гнездиловской просьбой. Теперь же, когда улеглось, осело, ее в какой-то мере объяснял довод, над которым он накануне особо не задерживался: а что, если и в самом деле здесь трудней, чем где-либо, и острая нехватка людей? Вполне возможно — коммунистов везде не хватает.

«Тут не только меня — черта просить станешь»,— с неким сочувствием подумал он о Гнездилове и тотчас спохватился: в его округе тоже не хватает людей, однако председательства не предлагали, держали для поручений, разъездов и прочей черновой работы, пока наконец не поручили...

Обида была старой, притерпевшейся, мучило другое...

«Хорошо, допустим, я согласился,— предположил он.— А что? Мало я здоровья угрохал или бог разумом обидел? Вполне заслуженно. Здесь Гнездилов прав: такие должности кому ни попадя не предлагаются, Гнездилов — он человека чувствует. Это не на побегушках при Карновиче. Здесь сам себе хозяин...»

И Похмельный, как всякий мечтательный человек, представил всеобщее удивление знакомых этому решению, представил в лицах каждого, кто его знал, и повеселел: от такого поворота опешили бы многие. Зато наукой будет.

«Не швыряйтесь людьми, не суйте их куда попало, не посылайте на сволочные задания,— назидательно выговаривал он далекому начальству.— А если еще колхоз вытяну да дойдет до них... Спохватитесь! Очень даже возможно. Крестьян, желающих жить коллективно, наверняка и в здешних селах много. Земли — глаз не хватает, лес рядом, озеро... Главное, людей подобрать, объяснить... Добрый колхоз можно сделать!» — разго-

рался он, но тут вспомнил высланных и разом надломился. Порыв ветра обдал редкими каплями дождя, заставил плотнее запахнуть полы шинели. О том, чтобы остаться, не может быть и речи. Кончилось все. Не видеть, не слышать, не рвать душу. Всему есть предел, в том числе и его силам. Для высланных он сделал все, что мог, а то что уезжает ненавидимый ими, так это их право. Не отнять, не переубедить, не доказать... Ничего, это сейчас больно и обидно, а потом отпустит сердце, время залечит и все расставит на свои места, как это было после гражданской. Все забудется. Забудутся и полные страдания глаза, сбитый платок, вскрытая плита с горкой золы в корыте, грохот упавшего совка и нежилой дух пепелища в низкой землянке...

Кончилось все...

Он выпрямился и жадно, по-звериному, принюхался к ветру, донесшему знакомый запах вокзала, с которым у него всегда были связаны дороги, отъезды, оставленное прошлое,— запах, предвещавший новую, без ошибок жизнь...

Однако выйти из круга, словно флажками очерченного разговором с Гнездиловым, он не мог.

«Постой, постой, секретарь, видать, и ты здесь дров наломал порядком. Да-да... Оттого-то и щедрый теперь на должности, оттого-то и людей у вас не хватает. Точно! Выходит, ты, Гнездилов, ломал, а я выправляй? Хитро...»

От этой мысли стало легче, и, чтобы усилить эту легкость, он еще раз прошелся в памяти по выгодному для него месту и будто на сук напоролся: «Я, Максим, даю тебе возможность загладить и свою вину».

Похмельного передернуло. Он мог вспоминать и размышлять о чем угодно, но всем существом гнал прочь, не допуская к раздумьям, мысль, которая вымучила его за последние месяцы — в своей причастности в несправедливом выселении. Еще в начале высылки он твердо принял для себя: я не виновен. Держался этого твердо, сам не сознавая, насколько крепко помогало ему это убеждение во время этапа. Жалел только об одном: не смог он пробиться к ним со своим: сосланы они (те, кто этого заслуживал) не жестокостью власти, но в силу той — да, суровой, не отрицает,— но единственной и справедливой необходимости, которая одна давала малой кровью провести великое преобразование деревни.

Только высылка. Другого пути нет. Он оставлял их здесь по-прежнему исполненных ненависти и к власти, их сюда сославшей, и к нему, рядовому исполнителю этого решения. Он не раз спрашивал себя: хорошо, а как сделать по-другому? Не раскулачивать, не лишать прав, не выселять? Сколько же в таком случае этот нарост будет тянуть соки из народа? Десять, двадцать, тридцать лет? В том, что кулачество существует, имея огромную силу и влияние в селе, он не сомневался: в последний год вся партийная работа его округа была, в основном, направлена на борьбу с кулаками. Из ЦК партии поступали директивы по работе с крестьянскими массами в период создания колхозов, и во всех документах по-деловому и ясно ставился вопрос о ликвидации кулачества. Такие же указания поступали в соседние округа, где также рассматривался вопрос о кулачестве.

Все поступающие из ЦК служебные документы с цифрами, фактами наглядно показывали и подробно разъясняли, насколько опасен этот затаившийся под личиной середняка-хлебороба классовый враг. Советская власть, которой уже без малого полтора десятка лет, не может любое начатое или планируемое мероприятие претворить в жизнь, обойдя при этом тяжелейший вопрос снабжения хлебом и яростное сопротивление кулачества. Жуткий двадцать первый, мучительный двадцать пятый и двадцать седьмой, грозный двадцать восьмой, тысячи голодных смертей, чудовищные последствия голода в Поволжье и средней полосе России, сотни и сотни убитых коммунистов и активистов из кулацкого обреза. Дважды: в восемнадцатом и двадцать восьмом кулачество ставило Советскую власть на грань катастрофы. Да и сейчас страна живет под черным знаком голода. Недоедают рабочие на заводах, строители на бесчисленных стройках, и, как ни странно, голодает сама деревня. Во всем этом виновато кулачество: держит хлеб, диктует свою волю сельсоветам, парализует действия комбедов, игнорирует партийные органы, не позволяет материально расти беднейшим слоям в деревне и тем самым снабжать страну хлебом. Так сколько ждать? Да за такую раскачку гнать из партии!

Чтобы покончить наконец с ненавистным классовым расслоением в селе, последним оплотом мелкобуржуазии, этими путами на ногах победоносной поступи социализ-

ма, надо идти на самые чрезвычайные меры. Контрреволюционную верхушку кулачества расстрелять, остальных кулаков безоговорочно выслать, их имущество отдать для производительных сил бедняцко-середняцкому слою, уравнять всех оставшихся в селах крестьян материально, вплоть до ржавого гвоздя, ибо только так можно начать правильный и справедливый отсчет в строительстве новой деревни и пойти в последнее решительное наступление!

Тех же немногих людей, среди которых были и его знакомые, утверждавших, что кулачество как класс не существует, есть только отдельные кулаки и частные случаи, он, как и многие сослуживцы — работники исполнительных органов,— считал людьми не то чтобы «правыми капитулянтами», адвокатами Бухарина (так их презрительно называли),— он считал их людьми попросту не желавшими или не хотевшими из личной боязни ехать в опасные села на раскулачивание.

В том подходе к делу коллективизации, в атмосфере, царившей в партийно-административных и хозяйственных учреждениях в зиму 1930 года, в самом духе непогрешимости и справедливости совершаемого в селах, сквозившем на различных конференциях, сборах, собраниях, в деловых встречах, во взаимоотношениях руководителей и прямых исполнителей, в самом понимании этими людьми важнейшего политического момента в жизни страны, считалось не то что предосудительным защищать интересы зажиточной прослойки в селе, но уже расценивалось открытым проявлением враждебности к курсу партии на коллективизацию.

Для него была вполне понятна та яростная драка, которая велась в низовых аппаратах — сельсоветах, селькомах, кресткомах, комбедах, кусткомах: не успевали там закончить одну кампанию, как тут же требовали разворачивать другую, постановления ЦК партии шли одно за другим и одно другого жестче, а ведь члены всех многочисленных сельских объединений являлись теми же кулаками и батраками, середняками и маломощными, зажиточными и бедняками, прожившие бок о бок в одном селе долгие годы. По всей логике именно там должна разворачиваться (и развернулась в подтверждение) классовая борьба. Где же еще ей быть? Поэтому вполне закономерно воспринималась и защита интересов зажиточного крестьянства, остро возникаю-

щая там, на местах, при создании колхозов. В аппаратах среднего звена — на уровне районов и округов — расстановка акцентов закончилась к концу 1929 года. Принадлежность к «правой» и «левой» оппозициям объявлялась несовместимой с членством в партии и предполагала немедленное освобождение любой занимаемой должности. Втайне сочувствовать, одобрять отдельные выводы того или иного течения можно было; выступать открыто, собирать сторонников — нельзя. Среди партработников того же уровня не рекомендовалось устраивать дискуссии, туда не поступало добросовестных научно-экономических разработок по коллективизации, которые отличались бы всесторонним анализом и вскрывали бы всю глубину хозяйственных преобразований в сельском хозяйстве и их последствия в будущем.

Приводимые цифры ни в коей мере не объясняли подлинную ситуацию, но в силу своей простоты и доходчивости многих устраивали. Вообще, с каждым вновь поступающим документом становилось все проще и яснее. С ними стало удобно работать. Стало легко отличать «правого» от «левого», своего от чужого, не требовалось даже ярлыков придумывать — они поступали вместе с документами. И с мест стали отправляться свои бумаги, подтверждающие правильность предпринятых решительных мер сверху.

Не вникал, да и не думал вникать во все тонкости внутрипартийной борьбы и Похмельный. Из всех ключевых положений ему нравилось одно — решительность. Он так и не разобрался до конца во всех течениях, расколах, фракциях, группировках и платформах, что время от времени возникали в партии и болезненно отзывались в народе. Не знал, что нужно «левым», чего хотят «правые» во главе с Бухариным, чего конкретно добивается этот крупный деятель ЦК, каковы его конечные цели и чаяния, как раньше не разделял негодование большинства партийцев в Троцкому — по крайней мере, тот предлагал натиск и быстроту в решении крестьянских вопросов, и без всякого слюнтяйства. А чего тянуть? Кому нужно и к чему это «поступательное развитие кооперации в деревне»? Рубить — так уж сразу, махом, чтоб не рассчитывали, не ждали, не надеялись, долгие проводы — лишние слезы...

Да, все так, именно так... Но между тем в глубине души он теперь начинал понимать, что даже такой вы-

сокой целью, какой являлась коллективизация, нельзя оправдать страдания тысяч несправедливо сосланных и весь теперешний ужас их положения. Душевный разлад усугубляло и то, что он до недавнего времени не мог понять, кто же конкретно виноват в этом. Много выселено середняков — людей, не заслуживающих подобной кары. Но списки на выселение составляла беднота и активисты — часть крестьянства, твердо поддерживающая Советскую власть в селах. Ей ли не знать, кто заслуживает высылки, кто нет? Обвиинить ее? Но составлявших и одобрявших выселение в каждом селе было столько — он видел это,— что они в его представлении были не частью, но всем трудовым крестьянством. И если говорить о выселении середняков, то среди середняцкого и бедняцкого слоев находилось немало людей, ненавидевших Советскую власть похлеще кулака.

Именно за коллективизацию.

Нищ, убог, истязает себя, семью, единственного измученного быка на двух-трех давно выжатых десятинах земли, но противится колхозу всячески, ибо хуже нищеты и недоеданий для него мысль — отдать в колхоз последнее, тем самым окончательно лишить себя надежды если не самому выбиться когда-нибудь в «справные» хозяева, то хоть сыновей своих увидеть в той также нелегкой, трудной, но все-таки основательно-прочной жизни зажиточного соседа, которую создавало чувство собственника и явной независимости от нужд и чаяний остального народа.

Обвинить саму идею коллективизации? Но она была настолько близка и понятна ему, насколько она действительно являлась необходимой и неизбежной, поэтому и такое обвинение казалось кощунственным.

Обвинить ЦК партии? Но не могло же оно потребовать от местных властей выселения невиновных! На какой бумаге, какими словами могли бы потребовать страшного для многодетных семей этапа соратники и ученики Ленина — Сталин, Бубнов, Каганович, Молотов, Калинин... Скорее, наоборот — от ЦК скрывали, таили сущность событий, оно не знало о перегибах при раскулачивании, и сталинская статья «Головокружение от успехов» — лучшее тому доказательство. Скольким людям она жизнь спасла, сколько сохранила молодых колхозов от развала!

Обвинить партийных работников среднего звена в

спешке? И с этим он был решительно не согласен: начать кампанию по лишению прав и высылке и проводить ее в течение нескольких лет — худшего решения невозможно принять: нельзя — ни в коем случае нельзя! — оставлять в селе того, кто знает, что со временем он будет выслан. Чтобы обратить свое хозяйство в деньгу, ему хватит трех дней, остальное время до высылки он все свои силы и сметку направит на вредительство, и навряд ли тогда сыскался бы для сельских коммунистов враг страшнее, чем он. Только так: из села выселить за день, из района — за три, из округа — за неделю, не дольше — меньше большевистской крови прольется под кулацким топором...

Обвинить местных руководителей в непродуманном утверждении поданных из сел списков, в требовании расширить эти списки, в нажиме на низовых партработников и сельский актив — для него означало обвинить и себя. Значит, виновен? Виновен в несправедливом выселении не только незнакомых ему людей, число которых ужасало, но и своих односельчан?

И как бы ни тяжело было для него, как бы он ни старался огородить себя, но теперь, когда гигантскую дымную занавесь очередного социального пожарища, которая беспросветно закрывала от него последствия выполненного приказа, пронизывающими ветрами паровозных тендеров и сквозняками скотных дворов медленно понесло в прошлое, когда огромное напряжение духовных и физических сил при высылке и этапе пошло на убыль и затихали в ушах крики и мольбы и многое по-новому увиделось в темноте невыносимо долгих ночей,— теперь он все более полно и ясно видел размеры и тяжесть последствий и все более убеждался в свершении огромной ошибки и своей личной причастности к ней.

Да, ошибка. Тяжелая, непоправимая. Особенно ясна она теперь и признана всеми. Признала партия, осудила, признал и он — будь она проклята, эта спешка!

Но ведь только ошибка, не суть! Всего дела коллективизации не вправе осудить даже пострадавшие, ибо она — дело неизбежно и кровно народное. И партия просто так эту ошибку не оставит. Мартовская статья многим остудила головы. Сейчас возвращают из высылок, возвращают права, землю, скот. Пусть пока возвратили немногих. А вдруг завтра возвратят всех ошибочно высланных? Не возвратят, значит, здесь дадут возмож-

ность жить не хуже. Коммунисты на местах таким помогут. Уже помогают: не успели дойти до места высылки, а им жилье и паек. Всем: кого справедливо и кого ошибочно. И потом: в любом деле возможны промахи и перегибы. В любом. А здесь такая масса народа! Как тут взвесить до тонкости, до каждого человека?

Но было что-то фальшивое в подобном рассуждении. Он не мог уловить, что именно, откуда оно шло, где его истоки, а они — чувствовалось — были где-то рядом, стоило чуть сместить взгляд, но куда? Эта беспомощность угнетала, мешала душевному освобождению и ставила под сомнение многое из его убеждений.

«Все виноваты!» — решил он в начале высылки, одинаково распределив вину по всем инстанциям в безуспешных поисках выхода. Помогло, но не надолго. Объяснения хватило на несколько дней, потом пришел стыд за детскую увертку. К тому же мытарства высланных, их непроглядное будущее породили странное своей сложностью чувство. Все было в нем: и классовое отчуждение, и личная неприязнь, и жалость давнего знакомого, и сострадание к семьям, особенно к детям, и ко всему — сознание и своей вины...

За этой бедой вставало еще более грозное: что, если действительно только что созданные маломощные колхозы не дадут в ближайшие годы хлеба стране и правы окажутся те, из числа которых был тот изношенный работой гуляевец, Игнат, с речью комканой, покаянной, но искренней? Если правильным был другой путь, из-за которого до недавнего времени шла острейшая борьба в ЦК партии?

Вот тогда не будет прощения не только за ошибочно высланных...

Эти противоречия окончательно выбили его из колеи, истерзали душу.

Встреча с Гнездиловым несколько успокоила: его высланные, в том числе и высланные ошибочно, попали в хозяйские руки. Без работы не останутся, значит, будут с хлебом, благо, что поработать здесь есть где, это не украинские крошечные поля, с голоду не пропадут.

«У него не пропадут. Он не будет себе душу выворачивать, он вам всем работу найдет, недаром купец его при себе держал,— с завистью думал Похмельный о гнездиловских возможностях.— Жаль, не увижу, каким манером из вас кулацкий дух выбивать начнут... Здесь

повыбьют... А что, если и в самом деле остаться? — мелькнула сумасшедшая мысль.— Почему бы нет? Не сам напросился — уговорили. У Гнездилова спина широкая, в случае чего — спрячусь... К черту! — сам отвечу. Да, сам. За все отвечу. Вот когда у меня будет время... Я бы из вас, гадов, без Гнездилова через год сознательных колхозников сделал. Я бы показал вам вашу правду! Носом бы тыкал: вот против кого вы шли, вот кому не давали, вот кого убивали и чему противились! Завертелись бы на горячем. А тем, кого напрасно выслали,— помог. Им надо помочь, и это только я смогу. Другому председателю что? Он их не знает, махнет рукой — и всех под одну гребенку, а я каждого знаю. Нет, только я... Вот тогда поймете нашу правду! С полным правом тогда спрошу: ну, кто из нас был жесток: вы, кулачье, или мы, коммунисты?»

Он так взволновался очередным виденьем, что теперь мысленно разговаривал с ними и как председатель будущего зажиточного колхоза — его несомненная заслуга! — и как человек, который уже сделал для них многое.

Увлекшись, не замечал, что ветер менялся, холодал и уже несколько раз с шорохом просыпал редко-мелкий дождь. Он вытер мокрое лицо, опомнился.

«Не все так быстро. Колхоз даст выгоду не раньше чем через два-три года. За это время... Не дадут дожить... Вдруг не будет лета? Или засуха, или такие дожди, что хлеб на корню сгниет, или подожгут поля враги — что тогда? Перед Гнездиловым еще смогу оправдаться, а перед людьми? Все на меня свалят. Скажут, поглядите на героя: остался колхозом руководить, правду свою доказывать, а сам в земле понимает не больше барана в Библии, и вот результат — людей по миру с сумой пустил. Еще скажут: из-за девки остался. Да, так и объявят ее отец с братцем, остальные подтвердят, и пойдет по селу, размусолят языками. Наработаешь тогда...»

Вспомнился разговор в хате старика-выселенца, срыв при отъезде, и ему стало так стыдно, что, сидя в темноте, он стиснул зубы и зажмурился.

«Домой! Первым же паровозом. Пропади все пропадом здесь со своими несправедливостями, обидами, угрозами и любовями! — с болью рвал он, словно присохший бинт, мысли о сосланных.— Не было вас! Привиделось!

Морок один... И ты тоже гусь хороший! — с ненавистью подумал он о себе.— Размечтался! Что, наелся, выспался — и загорелось? Председа-атель! А при первой же закавыке опять бабой в слезы кинешься? Нет, Иван Денисович, не выгорит у тебя. Спасибо, конечно, но домой, только домой», — решил он и сгорбился под шинелью...

Он сильно сдал за последнее время. Не зная, ему давали все сорок, но он был с девятисотого года. Вырос без родителей. Отец, по рассказам, ушел к карпатским плотогонам за большой деньгой к рождению первенца, да там и погиб. Не потерпела на себе быстрая горная река сильного, но нерасторопного степняка: развела под ним бревна, сомкнула над головой и только к вечеру выкинула в низовьях на галечную отмель изуродованным трупом. Мать не могла выкарабкаться из нищеты, нажила, не без участия сельских мужиков, мудреную бабью болезнь и умерла, когда ему едва исполнилось десять лет.

Сход — те же мужики — не долго сопел и чесал затылки над его судьбой: дальнейший прокорм и воспитание поручил вдовой двоюродной тетке, бабе с ленцой, скорой на слезы, сплетни, скандалы, отупевшей в нужде, измученной долгой сестриной болезнью, обозленной свалившейся на нее новой обузой. Она и в добрые-то времена досыта не едала, разве что на поминках. Скудные надои от коровенки берегли пуще святой воды: они шли в обмен на крупу, картошку и сало, которое ели по три раза на дню с пустым, слабо забеленным борщом и от которого урчало в животах и через час опять хотелось есть.

Впрочем, обиды на тетку он никогда не держал — ни в детстве, ни будучи постарше, когда сам узнал истинную цену куску хлеба. Понял, каким унижением он достается в деревнях одиноким вдовам, чем часто приходится расплачиваться, а потом пить мерзостные отвары, губить щелочами в себе зачатие будущей жизни, наживая при этом различные болезни. В детской памяти нищета и недоедания держатся плохо, больше помнятся события — мелкие, крупные, печальные и радостные, вехами отмечающие каждый год подростка.

Событием, которым закончилась та болезненная пора, когда отрочество отлетело, но взрослой жизнью жить не разрешалось, был его уход на фронт с партизанским

отрядом, расквартированным в Лебяжьем и набиравшем заодно ополчение в окрестных хуторах.

Квартировали по хатам, но с утра собирались на майдане. Здесь проводились сборы, обучали молодежь, читались редкие газеты, толковались с мужицкой горки действия бесчисленных и скоротечных властей, стояли коновязи, трофейная немецкая полевая кухня, и он целыми днями отирался у майдана. Кони, оружие, красные перевязи, сами отрядники с их матом и хохотом вызывали у него дикую зависть и восхищение.

И по сей день помнится то радостно-томительное волнение, с каким он жил в дни недельной стоянки отряда. Он страстно хотел уйти с ними, были в отряде даже младше его, но просить не хватало духу: взгляд командира, угрюмого горняка, становился брезгливо-жалостливым, когда он натыкался на Максима, который с утра до ночи был на подхвате у поваров и легкораненых, выполняя обязанности «кто куда пошлет», добровольно на себя возложенные.

Решилось все просто. В конце стоянки отряда, во время обеда, к нему сзади подошел командир и спросил голосом, от которого он поперхнулся:

— Долго ты будешь чужие миски облизывать? Где батьки? Нема-а? Довганюк, а ну выдай цему бугаю все, шо полагается!

Из нескольких счастливых дней, какие были в жизни Похмельного, это был первый. Он не знал о том, что Карнович — давний друг командира, слышавший это, с укором выговаривал тому наедине, что не следовало бы набирать в отряд безотцовщину, хоть и жалко до слез — вояки из них никудышные, в первом же бою полягут, поберечь бы до победы, когда придет время построения мирового социализма. На что командир разразился несвойственной ему длинной речью:

— Ты, Петро, на прошлой неделе мне под нос газетой тыкал. Там ясно пропечатано: если мы германца не погоним, он нам еще одно монгольско-татарское ярмо вздепет. От тоди их жалко станет... Батькив нема... Який же вин молодый? Ты глянь, у него не руки, а грабли — далеко доставать буде... И жрет в три горла! Я приймаю. Он мне за оци дни усю душу... Ты не скалься, як той блаженный... Побережем по возможности.

И его берегли. Был он при кухне и раненых месяца три, до тех пор, пока отряд не разжился тремя орудиями

и не влился в один из красноармейских полков.

Там его перевели в коноводы. Но и в коноводах он пробыл недолго: не мог выносить мучительного бездействия в укрытии, у вздрагивавших лошадей, когда рядом, за бугром, с выстрелами и топотом, с глухими по сырому ударами и вскриками шла страшная сеча. Когда все кончалось удачно, то после боя начиналась его работа. Он перевязывал раненых, увозил их в лазареты, копал могилы, прибирал в смерти убитых, готовя их к прощальному салюту. Но случалось нередко, что и бежал, обеспамятев, вместе со всеми, оставляя на поле и убитых и раненых... Часто после тяжелых боев, когда становилось невмоготу смотреть на черные от усталости и печали лица бойцов, он брал свободного коня, уезжал подальше от глаз и там, облегчая душу, весь выкладывался в рубке лозы и вольтижировке. В открытый бой Карнович его по-прежнему не пускал, держал в служках смерти (так посмеивались над ним бойцы). Наконец он умолил командира перевести его к разведчикам, где впервые почувствовал себя равным. Но и этого ему показалось мало — стал проситься в прикрытие.

Это была своеобразная расстановка сил открытого боя, когда, готовясь к атаке, первые ряды занимали известные и опытные рубаки с тяжелой рукой и счастливой «планидой», сзади и с боков их прикрывали бойцы послабже и рукой и духом, с тем чтобы первые, не опасаясь за тыл и фланги, могли колоть надвое встречную лаву противника.

Из первого боя, который запомнился обрывками, он вынес такой животный страх, такую душевную подавленность, что друзья усматривали в этом плохую для него примету. Но обошлось. Пошел во второй раз, в третий, казалось, переломил себя, и прибывавшие молодые красноармейцы считали его закаленным бойцом. Однако это было не так. Каждый раз после боя он чувствовал в себе остатки того, первого, страха, но научился тщательно скрывать его не только от окружающих, но и от себя. Почти полтора года берегла его военная судьба; носил он два небольших рубца на плече да ныла перед ненастьем левая рука, пробитая шальной пулей, и ему часто вспоминался убогий старик Назар, ненадолго приблудившийся к отряду, незаменимый конюх, лекарь, повар, советчик и фуражир, с которым Похмельного посылали свозить к могиле убитых, и однажды сказавший

юному напарнику, что жаловаться на эту печальную работу не следует: за скорбный труд бог милует долголетием.

Контузило Похмельного под Одессой. Так шваркнуло о землю ближним взрывом, что он, со сломанной левой рукой и оглохший, очнулся только к вечеру. В том же бою погиб горняк-командир. Похмельному наскоро привязали руку к дощечке и повезли по лазаретам, а потом в госпиталь.

Рука вскоре зажила, он уже мог двигать ею, но глухота держалась долго и, подавленный этим, он почти смирился и не верил утверждениям старого врача-еврея, которому — он знал — чем-то понравился, в том, что со временем слух восстановится. И верно: когда из ушей словно пробки вынули, он возликовал и побежал проситься на выписку. Врач накричал и выгнал из кабинета. Ему стало скучно.

Он бродил по старому черно-желтому осеннему парку с бюстом какого-то мыслителя, подолгу разглядывал сквозь мокрые решетки чужую городскую жизнь и с тоской убеждался, что ничего в ней не понимает.

Многое в ней было непривычным.

Почти каждую неделю то открывались, то закрывались различные лавчонки и магазины, менялись вывески, хотя товар в них оставался тем же — мелким и скудным; вдруг ни с того ни с сего посреди недели люди толпами носили по улицам корявые плакаты, чудовищного исполнения картины и чучела незнакомых правителей с присными или ехали куда-то, стоя в грузовиках, грозно глядя вперед; вечерами в свете газовых рожков и запахов осени волновали его музыка, пьяные крики и смех женщин, которых выводили из ресторана на углу, и спутники ловко помогали им взойти в пролетки и, оглянувшись по сторонам, уезжали вместе с ними, а ночами часто гремели выстрелы и тяжело топали по мощенной камнем мостовой сапоги патрулей. В городе то шли повальные аресты, то объявлялись всеобщие амнистии, и тогда улицы заполняла различная шпана, бывшие, проститутки, спекулянты и прочие; каждодневные митинги противоречили один другому; кричали и оскорбляли друг друга ораторы, зазывали заумными стихами поэты, и, слушая всех, голова шла кругом...

В палатах лежали, в основном, свои люди, фронтовики, поговорить с ними можно было, а вот объяснить

всего, что происходило на улицах таких богоспасаемых городков,— человека не находилось, а скорей всего, не хотелось допытываться, держал все в себе и мучился непониманием. Черно-лаковый мокрый мыслитель с крендельками прически насмешливо улыбался, глядел сквозь редеющий парк куда-то за город — ему было не до Похмельного, часто разглядывающего его снизу...

Когда рука окрепла, стал помогать по мелочам завхозу и кастелянше, с которой завел скоротечную любовь. Она была замужем, жила в достатке, поэтому их отношения ни к чему друг друга не обязывали, вся любовь кончалась в темной каморке, где на них наткнулся его лечащий врач, куда некстати зашел с требованием сменить белье раненым перед какой-то проверкой.

На второй день он вызвал Похмельного в кабинет и язвительно объявил, что лучшего доказательства полного выздоровления не требуется, и выписал Похмельного, но не в часть, а домой, признав негодным к строевой службе. Спорить Похмельный не стал и уже на следующий день вместе с мешочниками добирался до дома.

Наступило странное для него время.

Война кончалась. Несмотря на весь ее ужас, она, как Похмельный впоследствии понял, постоянно держала его в жесткой узде, словно строевого коня. Он привык к каждодневному волнению, страху и тайному счастью оставшегося в живых после боя.

По привычке еще не остывшее сердце требовало чего-то волнующего, похожего на предстоящую атаку или конную разведку по хуторам. Мирная жизнь в селе предлагала только каждодневный монотонный труд, тяжелый, нескончаемый, от которого он отвык. Другого не было. Было пустое наполовину село, брошенные хаты, незасеянные поля, голодные семьи и вдовы. Он уехал в город. Но и в городах, особенно промышленных, обстояло не лучше — мертво и черно громоздились заводы, зияли провалами взорванных пролетов мосты, блестела вода в стволах шахт...

С трудом нашел место разъездного агента по закупке скота, но закупать было нечего, и кроме клички «шкурник» (вместо мяса предлагали шкуры) он ничем не разжился.

Работа была — не бей лежачего, соответственно ей и зарплата, он нудился бездельем, с тоской ждал вечера,

вечером — утра, а день занимала мысль: где пообедать завтра. Пресные, будто жеваные дни проходили до одурения похожими один на другой, и казалось, так будет до конца жизни. Встретилась женщина, привязался, и вроде бы уже намечалось, но чего-то не хватило,— видимо, испугали трудности в нелегкое для семьи время, а возможно, мучившее ощущение пустоты и неопределенности. Она не поняла, сочла капризом из-за разницы в возрасте — он был на пять лет моложе — и запретила приходить, а ему стало ясно: надо что-то менять в себе, заняться чем-то серьезным. И он стал бросаться из одной крайности в другую. Одно время устроился в уездную милицию, где пришлось гонять спекулянтов, самогонщиков и ворюг, выезжать на поимки не то банд, не то шаек, не то просто вынужденных добытчиков, а потом дошло: нет смысла рисковать собой, вылавливая нечисть, чтобы на следующий день выпускать — в «предварилках», в местных «бутырках», «крестах» и «домзаках» кормить арестованных было нечем. И он околичностями выпросил место в губкоме.

Против ожидания здесь оказалось куда сложнее. Здесь была политика. Но он не отчаялся, а схватился за работу. До хрипоты кричал на выездных собраниях в селах, верил сам и заставлял верить других в рабоче-крестьянский союз, в завтрашний счастливый день, в мир и согласие в людях. Но голод двадцать первого, непонятная нэповщина, отсутствие той смычки между городом и деревней, о которой вещали газеты, дух вражды, с каждым годом все более разгоравшийся в деревнях, вынесли его на бездорожье.

Он потерял смысл и этой работы.

Стал отлынивать от поручений, попивать, обзавелся сомнительными друзьями из различных заготовительных контор, его не раз предупреждали и наконец предложили уйти по-хорошему.

Он уехал в соседний округ и устроился помощником ветеринара на участке от небольшого племенного заводика. Эта работа оказалась веселой и легкой. О политике здесь можно было говорить сколько угодно, но делать ее не требовалось, как не надо было делать умных выражений на лице при вопросах, в которых ничего не смыслил. Выручал с приплодом мужиков с ближних хуторов, добывал корма с фуражирами — в этом, собственно, заключалась вся его работа. Два безответных

старичка-селекционера занимались своим, не приказывали — просили, и все по отчеству, а самогон да вдовы делали свое дело. Даже в трудные годы ходил он с бражным запашком и в рубахах не по размеру. Потихоньку привык к этакой кошачьей жизни и не замечал, что со временем опускался все ниже...

И когда в двадцать восьмом его случайно встретил Карнович, то бывшего комиссара, ныне секретаря окружкома неприятно поразила перемена Похмельного. Он едва узнал в раздавшемся плутоватом мужике того юного, удачливого конника, некогда дравшего рот в яростном крике «За Советскую власть!» в конной атаке. Поговорили, вспомнили, и с согласия Похмельного Карнович взял его к себе в округ на должность порученца, затем уполномоченного.

И как же жалел первое время он о своем согласии!

С раздражением и глухой тоской выслушивал он горячие речи Карновича о возрастающей борьбе классов — о чем ты, секретарь?! Где она, эта борьба? Все та же лень, голод и нищета по деревням, все так же враждуют в них бедняки с кулаками, но когда дело доходит до закупочных цен на хлеб, то есть о прокорме рабочего класса — противятся, взвинчивая цены, на удивление дружно; о новых планах партии в сельском хозяйстве и развертывании коллективизации — господи, да о каких планах может идти речь, когда цены на рынках меняются по три раза на день, путаница в налогах, неразбериха в снабжении сел, малоземельные слои крестьян бедствуют, а кулакам, злейшим врагам власти, даны все возможности для обогащения; о предстоящей кропотливой разъяснительной работе коммунистов в селах и деревнях — тоже знакомое дело, бывали, знаем, секретарь, чем кончается вечерами такая работа... Но Карнович засадил его за газеты, подсовывал брошюрки, брал с собою на каждое выступление, заставлял бывать в судах и потом дотошно расспрашивал, кого и за что осудили, следил за его свободным временем, очерчивая круг знакомых, и Похмельный постепенно втягивался в работу. Перед ним стала вырисовываться еще размытая в очертаниях и неясная в деталях, но поражающая своим размахом картина гигантского переустройства страны. Оказалось, что он совершенно не знает действительного положения дел. Все эти годы, которые он провел на отшибе в тихом, удобном местечке, не интересуясь

ничем, кроме харча, одежды и вдовьего сословья, и ни во что не вникая, разве что наблюдая с завалинки лаборатории давние, безобразно-базарные, малоуправляемые отношения между сельчанином и горожанином, были на самом деле годами мощного развития державы. Восстанавливались заводы и фабрики, строились электростанции и железные дороги, открывались рудники и шахты, национальные республики за год делали то, чего раньше не мечтали сделать за десятки лет.

Слышать об этих событиях он, разумеется, слышал, даже почитывал кое-что, но вникнуть, задуматься, поразмышлять, хотя бы грубо примерить к прошлой жизни в дни безделья — такой охоты не возникало, и они, эти события, проскальзывали мимо, не оставляя ни в памяти, ни в сердце никаких следов.

Теперь же беспристрастные цифры ошарашивали, заставляли сопоставлять и думать. Он сравнительно быстро избавился от душевной лени, на заплывшем равнодушием лице его все чаще стало появляться то злобновато-властное выражение, которое избавляло от глупых шуточек приятелей и привлекало к нему женщин...

После февральского постановления по борьбе с кулачеством его неожиданно вызвали на парткомиссию, где утверждались кандидатуры особоуполномоченных — начальников эшелонов, в которых увозили раскулаченных к местам высылки.

Особоуполномоченные обязаны были также оказывать помощь милиции и активу сел и хуторов в выселении кулаков и доставке их к железнодорожным станциям.

Похмельному вменялось в приказе организовать выселение в его родных местах — они находились неподалеку — и уехать последним эшелоном. Приказывал Карнович. Говорил с ним сухо, строго, держа на расстоянии, чего раньше не замечалось.

Доводы Карновича были убедительны.

Во-первых, Похмельный — из тех мест, многих неплохо знает, следовательно, меньше будет ошибок; во-вторых, ему знакомы места и родственники выселяемых — легче искать в случае исчезновения; в-третьих, есть знакомые в милиции по прежней работе — тоже неплохо: действенней будет помощь, и, наконец,— это станет хорошей проверкой Похмельного и веским доказательством его партийной принципиальности. Здесь Карнович

прозрачно намекнул о дальнейшем росте в качестве кадрового партработника. Когда тот заикнулся было о другом месте выселения, Карнович оборвал его с сарказмом, ему не присущим: личные переживания Похмельного он с сочувствием выслушает по прибытии с выполненным приказом. Похмельный почуял недоброе и попробовал вообще отказаться, но Карнович был тверд как никогда: или выполнение приказа, или вопрос о пребывании в партии.

Пришлось подчиниться.

Похмельный мог отказать, даже нагрубить любому, хватало смелости, но только не Карновичу. Власть тот имел над ним непомерную. Позже, уже в дороге, кляня и Карновича, он неприятно удивлялся своей податливости при общении с ним. Возможно, сказывалось давнее, когда его только приняли в отряд, и с тех пор он испытывал благоговейное уважение, признательность, крепко замешенные на боязни, а может, здесь проявлялась та магическая сила внушения, свойственная людям глубокой убежденности, воли и твердого характера. Слабовольным себя Похмельный не считал, и тому имелись доказательства, однако противостоять Карновичу не мог...

Он уехал в тревоге и опасениях, и вскоре предчувствие сбылось.

То, что он увидел и в чем принял участие, потрясло его. Самые страшные бои, где в безумии и яростной рубке в кровавое месиво крошится человек человеком, так не отяготили душу, как этот приказ. На убийство в боях сходились на равных. Каждый, выхватывая шашку и посылая вперед коня, знал, на что шел. Требовались в те минуты только ненависть да тяжелая кисть, а там... Как бог рассудит!

Здесь же такого равенства не было, но требовалось неизмеримо большее: и классовое чутье, и воля, и весь небогатый жизненный опыт, и личная убежденность в справедливости происходящего, и непоколебимая вера в непогрешимость партийного решения, и все это надо было проводить без крика, сохраняя спокойствие...

С первого же дня он оказался на грани срыва, теряя в каждом селе годы жизни. Ночами стонал и вскакивал в страхе, настолько явственно виделось пережитое днем. Сначала, чтобы было легче, он пил, потом уже и хмель не брал, и спать не мог...

Когда становилось совсем невмоготу, его охватывало нестерпимое желание бежать из сел, бежать к Карновичу и выложить ему вместе с партбилетом все, что он теперь думает о коллективизации.

Ночью успокаивался, понимал, что не прав, не в этом выход, не в одном Карновиче дело, а утром все начиналось сызнова...

К концу выселения он едва сдерживался. Собирал всего себя в кулак, чтобы не взорваться, не закричать и вытерпеть все оскорбления, угрозы, крики и мольбы, чтобы как можно тверже объявить решение приговоренному и ни в коем случае не отвести взгляд ни от женских глаз, ни от мужских, шальных от ненависти, ни от ничего не понимающих глазенок ребенка...

Его с трудом узнавали.

Все слетело: и жирок, и вальяжность ответственного работника, которую он приобрел за последний год, и лихая готовность выполнить любое поручение, что недавно аж светилась в нем.

Его обнажило, словно вербу поздней осенью. Выпирали кости, желваки, скулы, мысли, решения, поступки... Дорогой ценой платил он за безупречное выполнение приказа.

Лебяжье к выселению он оставил последним, давал своим односельчанам хоть как-то подготовиться к судному дню, знал, что самое мучительное наступит в родном селе. Так и случилось.

Выселять пришлось тех, кого помнил с детства, к кому ходил с колядками под окна, с детьми которых вырастал и обучался грамоте на казенный кошт, кто гладил колючей от мозолей ладонью покорную сиротскую голову и, вздыхая, доставал краюху хлеба...

С той поры его не покидает ощущение, будто в Лебяжьем он в пьяно-безумной озверелости сгреб и с корнями вырвал все родное, связующее его с детством и дорогим ликом матери, оставив и в селе, и в своей душе самим загаженную пустошь.

Это и выволакивало его ночами в темень на бесконечные перекуры, заставляло мучиться желчной горечью за исковерканную жизнь тех, с кем вырос, за кого бился на фронтах гражданской, кого за извечную тягу к земле и достатку теперь по чьей-то недоброй воле, в которую он сам немало вложил сил и старания, неправедно объявили злейшими врагами той власти, которая,

как никакая другая на свете, желая им счастья, дала новый мир, о котором мечтал он с Карновичем и друзьями в передышках между боями и, что было самое горькое, мечтали и они, ныне высланные...

«Привез, сдал и умываешь руки?..» Нащупал же место! — дивился он гнездиловской проницательности. Ударил, пожалуй, больней, чем тот выселенец, спросивший в правленческом дворе Гуляевки, за что выслали его с детьми и других, ему подобных. Вспомнилось все, чему он не мог дать объяснения, чему не было оправдания, на что не находил ответа, и вновь перед глазами завертелась болезненная круговерть. Всплывали, пропадали и опять возникали в памяти события, люди, беспощадные факты, дороги... Словно неумолимо-торжествующие судьи водили его, как водят пойманного мародера по местам его мерзостных деяний, со злорадством разворачивая перед ним, отныне подсудным, картины преступлений, которые он тщетно пытался скрыть. Он то ругался вслух, то каменел в холодной ярости, тихо растирая кисть правой руки, словно готовясь к конной атаке, то скрипел зубами и мотал головой, открещиваясь от пугающей яви.

«Ты, Максим, не бойся смерти, крепи дух свой,— вспоминал он сейчас совет убогого умницы старика Назара, когда тот отмывал тряпицей и теплой водой залитые кровью лица порубленных красноармейцев, бледный от пережитого ужаса молодой напарник, неотрывно и молча глядел в разверстую, страшную ожиданием и простором могилу.— Всем нам срок туда же лечь. И убивать не бойся. Не в том грех. Самый страшный грех не убийство, а предательство. Никто не знает имени того мучителя-жидовина, который вогнал на распятии гвозди в тело Иисуса. Такую муку ему причинял, а не знаем. Не нужно оно было людям, потому и не знаем. Люди запомнили Иуду. Того, кто предал Христа прокуратору Иудейскому. Имя христопродавца никогда не забудется...»

Похмельный замычал словно от боли.

«Все правы! — с ненавистью думал он.— Власть права, Гнездилов с Карновичем правы; высланные справедливо и несправедливо — правы, даже Она права — ответить не пожелала. Один я виноват. Во всем. Что наживались, что голодают, что выслали, что не заступился, что здесь не остаюсь...»

Его уже подташнивало от курева, но жадные, до

треска, затяжки помогали. Глаза давно привыкли к темноте, различимы стали ближние деревья, щербатый забор, черные лужи травы, разлитые по мутно-серому двору.

«Ну хорошо, Гнездилов, я согласился, я — председатель, а дальше что? — изнывал он в своем отказе.— Ни края не знаю, ни местной обстановки, ни земель, ни людей. В селе теперь мои высланные. Старик говорил, и киргизы живут. Смогу ли я справиться с такой разношерстной толпой? Как ты мог, Гнездилов, предлагать мне столь важное дело?! С твоим-то опытом и нюхом на людей...»

Хотя, с другой стороны, почему бы не предложить ему председательство? Чем он хуже других? Другие в войну хорьками в норах отсиживались, а ныне такие должностя заняли, что смотреть — шапка свалится. А он с шашкой...

«Нет, в чем виноват — в том виноват, но лишнего на себя тоже не следует... Почему это не справлюсь? Другие справляются. Знаний мало? Что знать-то? Не в городах вырос. Заставить каждого работать на колхоз, как он раньше на себя работал, и пойдет... Чуть что — к Полухину. Для ихней же пользы. Провести бы первую посевную, дальше дело само подскажет, само учить станет... Плевать я хотел на ваши ухмылочки! Зажму так, что не пикните! Это мелочь... Колхоз — вот главное. Что сказал Гнездилов: одно доброе лето, чтоб с урожаем... Неужто пойдет? Помогать обещал... А почему не должно пойти? Колхозы не председателям с гнездиловыми нужны — людям, колхозникам. Они и помогут. Не будут же со стороны глядеть. Мы эти колхозы не со скуки выдумали. За что я на смерть ходил? За что мои ребята полегли? Под наганом на поля! Во что бы то ни стало засеяться! Прав Гнездилов, когда тюрьму обещает... Может, действительно остаться? До осени? Доказать им, гадам, что партийцы за свои ошибки отвечают. Я виноват, я и остался. На такой же хлеб пошел».

На востоке слабо высветлилось, и на бледной зелени рассветного неба смутно очертились крыши домов, купы растрепанных деревьев и плавный изгиб мелкосопочника. Ветер выметал угарные, прокуренные мысли, Похмельный словно трезвел, ежился от утренней сырой прохлады.

«Ну, и что ты докажешь, оставшись? Кому? Мест-

ным? Они не таких героев через себя кидали. Так и дадут тебе волю у них под носом наганом размахивать. Кто ты для них? Птица залетная. К тому же неблагодарная. Кукушенок. Его вырастили, выкормили, а он в благодарность своих же односельчан, тех, кто кормил и растил, лишил всего и сюда на страданья лично свез. Еще не так скажут... И не объяснишь, не докажешь и к Полухину всех не отправишь... А с высланными и того хуже. Им не только объяснить — с ними говорить невозможно. Что объяснять? Чем убедить? Что они поймут? Здесь сам слепым кутенком во все стороны тычешься, а они и подавно... А-а, хватит! Не могу больше...»

Он обморочно запрокинул голову и с закрытыми глазами бессильно откинулся к стене...

VIII

Месяца за полтора до прибытия первого эшелона с высланными людьми на станцию Щучинскую в Н-ске, в одном из уездных Северо-казахстанских городков состоялось расширенное бюро окружного комитета партии. На нем присутствовали все секретари подчиненных райкомов, начальник уездной милиции, начальник отдела ГПУ, военком и несколько исполкомовских работников.

Открыл бюро секретарь окружкома Айдарбеков. Информация, которую он зачитал, даже при предварительном знакомстве с нею присутствующими, по-прежнему подавляла своей неожиданностью.

Это была директива Казкрайкома и заключалась в следующем: всем партийным, советским и хозяйственным организациям округа, районным, городским, сельским и аульным Советам, отделам милиции, транспортникам и военным комиссариатам предлагалось в кратчайший срок тщательно продумать и составить единый план по расселению нескольких (на округ пять-десять) тысяч, высланных из различных областей страны кулаков.

Такой план требовал:

Первое. Определить места расселения всем трем категориям. Первую составляли кулаки-одиночки, исполнители террористических актов, раньше находившиеся в заключении, а ныне решениями особых комиссий освобожденные. Их предлагалось расселять по точкам под комендантским надзором. Вторую и третью категории составляли и кулаки-одиночки и семейные, которых на

данный момент только высылают из центральных областей страны, разрешалось расселять по усмотрению округа, то есть не исключалась возможность расселять в селах, аулах и деревнях.

Второе. Для наиболее быстрого и выгодного расселения округу рекомендовалось привлечь все строительные подчиненные тресты и организации, мелкие предприятия, заготовительные конторы, союзы, кооперации, артели и даже фактории для обеспечения высланных продовольствием, одеждой и материалом для строительства личного жилья и государственных построек, а также снабдить необходимым инвентарем и тяглом для обработки пахотных земель.

Третье. В зависимости от той или иной категории высланных и местных условий новообразованному поселению вменялось определить направление хозяйственной деятельности, а земельным отделам — определить межи и площади пахотно-сенокосных угодий. Все руководство по составлению плана и дальнейшему фактическому расселению возлагалось на окружной комитет партии, и прямо оговаривалось: от того, насколько быстро, ясно и полно разработают и представят план в Казкрайком, будет зависеть размер помощи по расселению и будет дана соответствующая оценка деятельности округа.

В конце директивы строго напоминалось, что при расселении ни в коей мере не должны быть ущемлены интересы коренного населения и переселенческих сел, а вся кампания не должна снизить темпы коллективизации и отразиться на первой коллективной посевной.

Эту директиву Айдарбеков получил несколько дней назад. Прочитав ее, он приказал никого к нему не пускать и закрылся в кабинете. Когда растерянность прошла, наступило время раздумий. Он сразу понял, что несла с собой директива — перед всеми партийными и советскими органами, плановыми и хозяйственными организациями, руководителями и населением округа вставала задача огромной важности: на территории, равной площади небольшого европейского государства, предстояло расселить массу людей, а это означало...

Что это означало сейчас в его понимании — не имело пока границ ни во времени, ни в деталях. Но за сухими приказными точками просматривались пугающие обилием, не оговоренные директивой, но не менее важные и необходимые мероприятия. Требовалась немедленная

перестройка всех звеньев — от окружкома до сельских Советов,— всех организаций и местных отраслей производства с учетом будущих поселений и поселенцев, куда входило снабжение продовольствием, стройматериалами, рабочим скотом, спецодеждой, инвентарем. Это хлеб, мясо, транспортировка на десятки верст, подбор кадров для работы в поселениях, создание отделов по всей цепи, начиная от окрисполкома и кончая местом поселения, обеспечение должной охраны и еще десятки направлений и связей, которые, подобно нервному узлу, переплетаясь, образуют живую ткань любого общественного института...

Он попытался было составить предварительный план всей кампании, но через час отложил карандаш: даже грубые наметки не выстраивались в плановой очередности. Один вопрос порождал десятки схожих, цеплял ближние, тянулся к дальним, ранее главный — становился второстепенным, все бесформенно и зыбко росло, громоздилось и, наконец, рушилось лавиной, поглощая и первое, и второе, и третьестепенное...

Вызывала недоумение неопределенность и двоякость директивы: что же конкретно требуется от округа? Что значит «полно и ясно»? Не надо ли понимать это так, что чем больше затрат и больший объем работ возьмет на себя округ, тем облегчительней будет для Казкрайкома?

Можно, конечно, многое взять на себя, но в таком случае как ни изворачивайся, но на создаваемых колхозах и артелях это неминуемо скажется, потому что обеспечивать кровом, мясом, хлебом, инвентарем и рабочим тяглом придется за счет сел и аулов. На хлеб уйдет драгоценное семенное зерно, с таким трудом собранное в осенние хлебозаготовки, на мясо и тягло — скот, который так же придется брать из местных сел, а скорей всего — только из казахских аулов. Оплата должностей в отделах и на местах — дело Казкрайкома. А остальное? Взять хотя бы самое простое — доставку: потребуются подводы, быки или лошади, ездовые, возможно, охрана... Но и уходить в сторону, перекладывая все на плечи Казкрайкома, тоже не лучший выход. Не тот вопрос, чтобы ловчить и выгадывать, и вполне возможно, что куцая директива вызвана таким же недоумением и в Казкрайкоме...

Айдарбеков приказал ее перепечатать и в тот же день

разослать засургученные пакеты секретарям райкомов вместе с приказом прибыть к сегодняшнему утру. Он всегда заранее уведомлял их, о чем пойдет разговор, с тем чтобы многое продумали до бюро. Таить содержание директивы уже не имело смысла. Он поделился раздумьями в окружкоме. Ничего дельного, кроме встревоженных вопросов, он не услышал, только военком Миронов твердо пообещал помочь с людьми, и Айдарбеков подумал о секретарях райкомов — вот на кого ляжет основная тяжесть по расселению, и готовят они сейчас ему вопросы куда сложнее его собственных, и никуда не денешься, отвечать придется... Работа не ладилась. Теперь все, над чем бы он ни задумывался, что хотел решить и каким бы важным оно ни было, неизбежно и помимо его воли сводилось к требованию директивы.

Прошло два дня. Неустанные размышления в поисках выходов, резервов, решений, возможностей мало-помалу сказывались — проступило главное, определились направления. Последней ночью ему удалось все-таки составить первые наброски и по расселению, правда, грубо, обще, но верно в изначальности и сроках, и по всей работе бюро, что было также немаловажной деталью. Он все опасался, как бы не забило зимники липким мартовским бураном, но дни выдались в ту пору чистыми, крепкими, ночи — морозными, светлыми, и к назначенному сроку прибыли все, кому надлежало.

Прошел знакомый порядок открытия бюро, он зачитал полный текст директивы. Предугадывая множество не столь важных вопросов, которые неизбежно должны были возникнуть, и с целью оставить для обсуждения только главное, он взял слово первым.

В том, что принято решение о расселении кулаков именно в северо-казахстанском округе, он, Айдарбеков, усматривает особое доверие партии. Не секрет, что среди высланных в северные районы страны довольно высокая смертность. Причиной тому не холода (есть такое мнение), а нерасторопность и неподготовленность.

Здесь морозы не слабее, зима не короче. Не стоит говорить о том, какие трудности создаст это расселение в сложных условиях коллективизации, проходящей здесь. Поэтому на коммунистов здешних округов ложится громадная ответственность.

Но как бы там ни было, с политической стороной дела все ясно, не следует на ней останавливаться, приказ

партии получен, надо решать проблемы хозяйственные. Он понимает: трудно что-либо конкретно сейчас предпринимать, исходя только из директивы, она практически ничего не разъясняет. Очень много неясностей. Например: сколько тысяч кулаков той или иной категории привезут? Сколько одиночек и сколько семейных? Наверняка больше, чем указано. А не зная точного числа, невозможно конкретно определиться. Не сказано, какие отчисления разрешено проводить местным предприятиям на расселение. Не ясно, в чем же реально будет выражаться помощь Казкрайкома. Выделит ли он хотя бы немного людей, продовольствия, инвентаря и тягла, или все придется изыскивать у себя. Согласится ли оплачивать все те штатные должности в различных отделах, которые необходимо будет вводить. Какова сумма денег и кто ее выделит в Казкрайкоме на расселение и выделят ли ее вообще? Где брать инструмент, спецодежду, сельхозорудия? Не указан срок прибытия первых партий, не сказано, можно ли проводить открытые собрания, конференции, различные сборы районных активов с целью полнее выявить свои возможности и для нормализации обстановки в округе, и еще десятки вопросов, которыми наверняка озабочены присутствующие.

Он послал телефонограмму в Казкрайком. По времени ответ уже должен прийти, но его нет,— видимо, и там ждут разъяснений из ЦК. Но когда бы ни пришел ответ и каким бы он ни был, уже сейчас надо действовать, чтобы не повторить трагических ошибок северных округов. А на Казкрайком особо уповать не следует. Известно, какие у него возможности, на что он отдает все, до последней копейки.

План, который он требует, составить нужно, но прося с Казкрайкома, ставя его перед фактом, местным руководителям надо рассчитывать прежде всего на свои возможности, предусмотрительность. Пустой расчет на чью бы то ни было помощь со стороны неминуемо обернется тяжелейшими последствиями.

Как их избежать?

Для того и собрано расширенное бюро, чтобы все обдумать. У него, Айдарбекова, есть кое-что по плану, но, следуя хорошему правилу военных, он, чтобы не навязывать своего мнения младшим, возьмет слово позже.

Когда он напомнил о правиле военных, кое-кто не сдержал улыбки. Дело заключалось в том, что и по это-

му правилу, и без оного первым всегда приходилось говорить Тулебаеву, молодому секретарю райкома. Его открытый взрывчатый характер нравился многим. Он никогда не отказывал в займах соседям, не умел хитрить, таиться, выгадывать и прибедняться в попытках урвать, добыть, получить для себя больше. Неплохие отношения с Айдарбековым (некоторые намекали на дальнее родство) не мешали тому с особой резкостью — другим в науку — разбирать ошибки Тулебаева. Он их легко признавал, вызывая тайно веселое сочувствие остальных секретарей, замешанных в тех же грехах, клятвенно заверял — лишь бы ругать кончили — в будущей осмотрительности, обещал прислушиваться к советам знающих людей, а по возвращении к себе со свойственной ему напористостью моментально разрешал самые запутанные вопросы, что, вполне понятно, не обходилось без новых ошибок. Однако только в его районе отмечалась хорошая сохранность скота, построек, земель, и главное — у него держались люди.

Выступление Тулебаева заняло немного времени. Его также вначале озадачила директива. Но, поразмыслив, он пришел к выводу, что ничего сверхсложного в ней нет.

На первый вопрос: где расселять? — ответ пришел сразу — на казахских летовьях. Лучших мест трудно найти. Как правило, летовья расположены возле лесов, озер и рек. Следовательно, у высланных под рукой вода и материал для строительства, что сразу снимет часть затрат на расселение. Выдать инструмент, и пусть строят. Дадут плуги и семена — будет земледельческое поселение, дадут скот — будет скотоводческое. А те районы, где нет летовок,— обязать оказывать помощь. Кто чем богат, тем и помогать. И его, Тулебаева, не пугает число высланных, не беспокоят размеры помощи Казкрайкома. Если хорошо подумать, то округ вполне может обойтись своими силами. Единственное, что потребуется от Казкрайкома, это разрешение взять в Челкарском скотохранилище тысячи полторы голов скота, и вопрос с тяглом и мясом будет решен. Если же такого разрешения не дадут, то на нужды новопоселенцев можно провести еще одну конфискацию скота среди затаившихся баев и местных кулаков. Он сел.

— И это все у тебя? — с недоумением спросил Айдарбеков.— Немного... Кто следующий?

К стене, на которой висела большая мутно-зеленая карта, уже пробирался меж стульев, задевая сидящих и тихо извиняясь, секретарь райкома Каширцев. Был он высок, большерук, костист, несколько сутул и мягок в движениях, как большинство высоких.

— Я, товарищи, был уверен, что предложение Тулебаева поступит одним из первых,— грустно сообщил он присутствующим и достал из заднего кармана брюк очки.— Сам вначале так же подумал. Больно заманчивый выход. Потом дошло... Представьте, какой удар мы нанесем казахам-кочевникам. Если говорить словами той же директивы — интересам коренного населения, используя при этом партийное указание.— Голос его стал еще печальнее.— Раньше нас называли царскими колонизаторами. Как нынче назовут? Советскими? — На задних стульях кто-то хмыкнул, и Каширцев, обращаясь туда, продолжил: — Мало того, что сотни аулов в результате создания артелей оказались практически разоренными и тысячи аульчан разбрелись кто куда, мы положение усугубляем высланными. Нам не нужен казах-скотовод на стройке. Какой с него прок? Что он там делает? Кирпичи таскает, грязь черпает. А в ауле он бросил землю, скот, и теперь, боюсь, мы навсегда потеряли опытного животновода...

— Каширцев, дорогой! — взмолился предисполкома Тарасенко.— Ну сколько можно попрекать! Ну ошиблись мы с этими артелями, будь они неладны, поспешили, так ведь исправляем! Чего же ты нас на каждом бюро головой об стенку бьешь! Доклевал, ей-богу... Тулебаев верно сказал: если даже больше сошлют, то неужели им возле лесов места не хватит?

А вот этого говорить Тарасенко не следовало. Не было ни одного бюро, конференции, пленума, на которых Каширцев не брал бы слова и в своих выступлениях не вносил бы ноту неоправданной нервозности в и без того бурные, порой доходящие до личных оскорблений, сборы партработников округа. Он даже простому вопросу придавал некую многозначительность, усматривал пристрастность в чужих мнениях и тяжело переносил критические возражения. Это, в его понимании, видимо, и было партийной принципиальностью, которой он гвоздил замеченных в ошибках, зачастую несоразмерно вине, неумно, только учитывая его большой партийный стаж, ему, с негласного уговора, позволялось говорить о дав-

но известном, понятном, тогда его слушали молча, не возражая, чтобы не затягивать выступление, как слушают старшие школьники тяжелую и скучную речь нелюбимого учителя. Айдарбеков знал об этом, ему много жаловались на Каширцева, и он неоднократно, под благовидным предлогом, предлагал ему перейти на работу в окружком. На самом же деле стремился хотя бы так, если другого выхода не было, держать его при себе и по возможности придерживать в старании. Но Каширцев всякий раз отказывался и при случае с затаенной гордостью говорил, что, будучи на должности секретаря райкома, он ближе к земле, к людям, к великой идее коллективизации, которой он будет служить, пока сил хватит. Сил у него хватало, чего нельзя было сказать о твердости Айдарбекова...

Каширцев надел очки, и лицо его мгновенно преобразилось.

— Ты, Александр Прокопьевич, человек здесь новый,— тихо сказал он, разворачивая какой-то листок,— многого не знаешь, а я, друг мой, в этих краях всю ссылку...

— Слышал я...

— Слышал, да не понял... Здесь прожита часть моей жизни, лучшая часть. И мне, как коммунисту и человеку, знаешь, не безразлична нынешняя политика в отношении казахского населения... А слышал ты,— он сорвал очки,— что одной из причин восстания казахов в шестнадцатом году была переселенческая политика царизма? Переселенцы тысячами основывали свои села на самых выгодных местах — у озер, рек, возле лесов... У Тулебаева губа не дура... Заняли и отобрали лучшие пастбища, летовья и зимовья, как когда-то линейные казаки... да, и мобилизацией тоже... ты не мне, Михельсон, подсказывай, ты ему подскажи... В несколько поселений вы всех сосланных не уместите, при всем вашем желании. Да и нельзя. Придется рассыпать по всем летовкам. И какого бы назначения новое поселение не было бы, оно неизбежно разведет скот, разобьет огороды, пашни, займет окрестные пастбища и земли. Этими поселениями мы окончательно разорим аулы. Чем же, скажите, наша политика будет выглядеть лучше столыпинской?

Секретарь райкома Кожамбетов сердито отозвался сипло-простуженным голосом из дальнего угла кабинета:

— Ты, Каширцев, не путай царскую политику с советской. Мы развиваем Казахстан...

— Мы развиваем, когда строим заводы, шахты, Турксиб, открываем школы, выселяем баев,— строго поправил Каширцев,— а не тогда, когда набиваем его тысячами сосланых кулаков и пытаемся обустроить их за счет казахского народа.

Айдарбеков постучал карандашиком.

— Твое какое предложение, Илья Григорьевич?

— Посмотрите сюда,— Каширцев положил огромную ладонь на карту.— Видите эти значки? А теперь вспомните доклад товарища из Успенска. Догадались? Я предлагаю все три категории расселять только в районах месторождений. Никаких летовьев и зимовьев. Будем создавать рабочие поселки. В ответе Казкрайкому так и надо сообщить. Пусть включают в план развития нашего округа и поставляют необходимое оборудование для открываемых рудников. Не сразу, разумеется, со временем... Переведем сельских кулаков в рабочий класс. Согласен, трудно им будет первое время. Ничего, нам, коммунистам, не легче было. Это самый лучший выход. Давайте прикинем, что он нам дает. Во-первых, все они окажутся в пяти, не более, точках, далеко от жилых мест и в одной стороне, что, сами понимаете, немаловажно при нынешнем положении. Во-вторых, легче поставлять материал и все остальное, легче вывозить оттуда, легче охранять, согласовывать. Да что ни возьми — все легче. Самим сосланным будет легче. Они смогут помогать друг другу. Нашим людям проще наладить политработу, контроль за проживанием. В одном из поселений, самом крупном, открыть школу, больницу. Такое мое предложение по расселению. Подчеркиваю: только по расселению. Я, конечно, его никому не навязываю,— все так же строго посмотрел он в зал,— но и пренебрегать им не советую.

Он ушел на свое место, а члены бюро рассматривали блекло-цветные кружочки и треугольнички, жидко пробрызганные в нижнем углу карты.

Взял слово еще один секретарь райкома, Коновалов.

— Полностью поддерживаю Каширцева. Я тоже думал свезти их в одно место, чтоб, как говорится, от одной кучи воняло... извините. Прямая выгода. Вместо двадцати нарочных пошлешь пять, обоз какой ладить — то не во все концы, а в одно место. Средств на создание

поселений в местах уйдет больше, тяжелей скажется самим высланным, однако та подготовительная работа, которую мы проведем для будущих разработок, окупит все затраты. Известно, что значит в наших краях жилое место, вода, дороги. За одно это нам строители огромное спасибо скажут. Высланным мы поможем, правильно сказал Тулебаев, у кого чем найдется. Я, например, могу наскрести немного масла, Тулебаев поможет мясом, у него, знаю, есть запасец скота, Гнездилов — зерном, у него тоже есть в загашнике. Мало будет — пошлем еще разок по селам и аулам уполномоченных по заготовкам. Одним словом, я поддерживаю Каширцева: расселять надо на местах разработок.

Он сел и будто команду «вольно» подал. Скованность исчезла, люди заговорили, загремели стульями, Айдарбеков разрешил курить, и по рукам пошли пачки папирос... За предложение Каширцева, чувствовалось, было большинство присутствующих. Одобряли его начальники милиции и ГПУ, кое-кто из секретарей райкомов и почти все исполкомовские работники.

— Высказывайтесь, товарищи, высказывайтесь,— поощрял Айдарбеков шумок голосов.— Для того и собрались. Утверждать будем позже, а пока обсуждайте. Мы должны все учесть, далеко заглянуть... А почему молчат наши уважаемые товарищи Гайдабура, Михельсон, Гнездилов?.. Иван Денисович, поделись своим. Тебя-то мы с удовольствием послушаем.

— Пока помолчу, послушаю... Вы бы фортку открыли, табашники!

Гнездилов был старше Айдарбекова годами, к тому же приезжий, но общность забот, ум и опыт, которые определили стиль общей работы, ответственность за будущее, ставшая главным делом жизни, крепко связали двух большевиков, они сразу поняли, кто есть кто, и с тех пор испытывали друг к другу глубокое, ничем не афишированное уважение. Гнездилову нравилось то, как верно Айдарбеков решал самые запутанные национальные вопросы, справедливо подходил к сложным отношениям между русско-украинскими и казахскими поселениями. Порой вражда, которая десятки лет тянулась между ними, таяла за час-другой беседы в его кабинете с приехавшими за советом аульными выборными и ходоками от «обчества». Когда бесед и разъяснений не хватало, он брал с собой землемера ли, бухгалтера, краеве-

да, учителя — смотря по ситуации — и вместе с ними выезжал на место и там со старожилами, активистами сел и аулов окончательно разрешал давний спор. Обращение к Айдарбекову считалось последней инстанцией, а обращались в сложных случаях к нему многие, в том числе и Гнездилов. Были у Айдарбекова и промахи, но видел, замечал он их первым, признавал открыто и честно, не маскировал под дутые высшие соображения, сразу исправлял, и если принимал решение, то доводил его до конца с азиатским упорством.

Айдарбеков, в свою очередь, ценил в Гнездилове ту черту опытного хозяйственника, которая помогала секретарю райкома из множества долгих речей и предложений мгновенно схватывать главное, деловое, держать его основным, не позволяя увести в сторону, и спокойно, рассудительно, с юмором к месту и меткими народными присловьями, чему всегда восхищался и завидовал Айдарбеков, подводить к этому главному остальных. Умел он нащупать ту грань дела, которая вначале выглядела теневой, незначащей, а найдя, повернуть, высветить расчетами, и тогда становилось ясно, что она есть одна из решающих.

Многое из того, что Гнездилов на первый взгляд решал, казалось бы, просто, чуть ли не походя, другим давалось тяжело, вдобавок с обидами и ссорами.

В общении с ним Айдарбеков многое брал для себя, многому учился. За словами, поступками, в логике рассуждений Гнездилова, даже в тех же присловьях, открывалось нечто сугубо русское, какое не замечалось в давних переселенцах и ныне приезжающих из России. Гнездилов был точен в различных прогнозах, его опасения, если не принимались меры, часто сбывались. Простота стиля его работы была обманчивой. Все, чтобы он ни делал и как бы оно ни давалось, имело под собой прочный фундамент ума, опыта, памяти, совести, сердца...

— Вообще-то в предложении Каширцева что-то есть,— раздался неуверенный голос.

— Да не что-то, а хорошее предложение! — тут же сердито и громко, через весь кабинет ответил Коновалов.— Или у тебя лучшее придумано? Голосовать пора...

— Верно, довольно обсуждений,— Григорьев, начальник отдела милиции, щелкнул крышечкой часов.— Я считаю вопрос о местах расселения решенным. Отделам милиции выгодно держать сосланных вдалеке от населен-

ных пунктов и железной дороги — меньше будет побегов, меньше потребуется людей для охраны, легче следить... Теперь главное, чем их кормить?

Снова поднялся Коновалов.

Норму пайка он предложил установить из расчета красноармейского, и только семейным высланным; остальным же, кто бы там ни был,— на треть меньше. На конечной железнодорожной станции, которой, по всей вероятности, окажется Щучинская, немедленно начать складирование всех видов довольствия и материалов. Учет, хранение и первые выдачи продовольствия поручить Гнездилову. Там же, в Щучинской, должна находиться комиссия по распределению высланных согласно категориям и местам расселения. Организацию постоянной доставки должен взять на себя хозяйственно-транспортный отдел. Секретарям райкомов по прибытии домой немедленно приступить к изысканию продуктов и материалов. Товарищам Гнездилову, Остапчуку, Гайдабуре, в районах которых имеются лесные массивы, необходимо создать небольшие артели для заготовки строевого леса. Товарищу Тулебаеву найти лошадей для извоза. Он, Коновалов, обязуется выделить две-три тысячи пудов хлеба, если, конечно, будет дано разрешение на конфискацию.

Спецодежду должны найти промышленники. Она выдается на рудники, шахты, заводы. Надо поговорить с рабочими, удлинить срок носки, вот и выход. Ну, а инструментом: топорами, пилами, лопатами, кирками, ведрами и прочим сам бог велел поделиться различным мелким предприятиям округа. В директиве многое неясно, но одно очевидно: Казкрайком всецело полагается на местных руководителей, дает им большие права и еще больше ожидает от них. Надо полагать, в дальнейшем поступят разъяснения, однако тянуть время нечего. Поможет Казкрайком хоть чем-либо — хорошо, не поможет — придется рассчитывать только на себя, поэтому откладывать подготовку нет смысла.

И опять заговорили, зашумели в кабинете. Одному показалась большой норма пайка, другой противился отчислениям, третий недоумевал по поводу артелей: кто будет оплачивать лесозаготовки и извоз; кто-то допытывался у Коновалова об излишках у него зерна накануне первой коллективной посевной; а Шкляревский, заместитель председателя окрисполкома, что-то нашептывал в

волосатое ухо соседа, смеясь и выразительно показывая длинными пальцами. В это время попросил слова Гнездилов. В кабинете сразу наступила тишина.

— Если я тебя правильно понял, Алибий Мустаевич, утверждать будем завтра? — спросил он у Айдарбекова.— Ну, слава богу! А то я, грешным делом, подумал, что всю эту ахинею, какую сейчас городим, тут же в протокол внесем... Вот ты, товарищ Григорьев, все на часики поглядываешь. Спешишь? Хочешь решить судьбы тысяч людей между завтраком и обедом? А вам чего весело, Шкляревский? Не оттого ли, что вам, как обычно, поручат одну политработу? Нехорошо...

Гнездилов навис над столом, сосредоточился.

— Начну с начала, с расселения... Каширцев, что же ты предлагаешь, седая твоя голова! Эшелоны с высланными прибывают из России, конечной станцией окажется Щучинская, другой нет. От нее до первых кружочков и треугольничков не менее ста пятидесяти верст. Объясни нам: как пройти эти версты голодным, уставшим людям в морозы, бураны, а позже — в весеннюю распутицу? У кого хватит духу вести их к месту поселения? Но, допустим, довели... что останется... А дальше? Где ты их укроешь? Чем землянку выроешь? Чем накормишь, чем детей согреешь? Здесь товарищ Айдарбеков обмолвился: в районах Севера высокая смертность среди высланных.. Мягко выражаешься, товарищ секретарь: там гибнут люди! Семьями вымерзают и умирают от голода и непосильной работы! Я заявляю со всей ответственностью: предложение расселять высланных в районах месторождений приведет к такой же массовой гибели и у нас.

— Это высланные враги,— насторожился Каширцев.

— Дети тоже? — приподнял к нему голову Гнездилов.— А если говорить о взрослых, то кулак был опасен на местах, когда имел дом, землю, родичей, скот, нанимал батраков, имел связи. Сейчас, лишенный всего этого, он в положении пленного — полностью в нашей власти. Пойдет туда, куда прикажем, будет делать, что укажут. Жизнь его теперь зависит от нас. А мы обрекаем его на верную смерть. Вы только вдумайтесь, товарищи: голодных людей прогнать зимней стопятидесятиверстной дорогой в голую степь и сказать: живите. Уж лучше сразу, на станции, расстрелять и не мучить... Бесчеловечно это, не по-партийному... А вы чего отмалчиваетесь, слов-

но сычи в ясный день? — сдерживая гнев, Гнездилов обратился к Михельсону и Кожамбетову, сидевшим рядом, за спинами остальных.— В мутной воде неплохо рыбка ловится? Хотите дармовой силой разжиться? Ведь на ваши, в основном, районы выпадают треугольнички и кружочки. Помяните мое слово: превратятся они в крестики... Если из чего сколотить будет...

— А сам-то ты что предлагаешь? — пряча за улыбку досаду, спросил Михельсон.

— Только в переселенческие села! — со всей твердостью заявил Гнездилов.— Всех: и семейных и одиночек. В директиве сказано: она не ограничивает права округов, многое предлагает решать на наше усмотрение, с учетом наших возможностей. А кому, как не нам, знать свои возможности?

— В таком случае нам плановики из Казкрайкома и копейки не дадут на расселение. Инвентарем, возможно, помогут, а в остальном, скажут, обходитесь своими силами,— недовольно возразил Михельсон.

— Да они и так нам ни шиша не дадут! Неужели не понятно? Где они деньги возьмут? С каких доходов? Все, что было, на колхозы ушло... Неужто никто не видит всей выгоды расселения высланных в местных селах? Ведь одним этим мы затраты снимем вполовину. Какие там, к шутам, артели лесорубов, извозы! Кто дал нам право столь неразумно расходовать все, что собрано в районах по крохам к первой посевной? Это к тебе, Коновалов, относится... Извозы... Не дай бог, сорвется этот извоз из-за буранов или обломается в дороге или разграбят — помрут люди лютой смертью. А в селах всяко, в голода и холода, местные жители не дадут им пропасть, помогут, поддержат... Вот ты, Каширцев, говоришь — враги. Эх, нам ли с тобой не знать, парень, сколько там врагов, а сколько ошибочно высланных! — горько улыбнулся он присутствующим.— В селах мы этих людей заставим работать в посевную. Хорошая помощь колхозам. Пайки окупятся, и главное — сохраним людей для дальнейшего. Ну а в летнее время, когда отсеемся, бригадами из тех же высланных можно готовить жилье на твоих рудниках: возить лес, рыть землянки, колодцы и только к следующей зиме переводить их туда семьями. Впрочем, я бы и того не делал, будь моя воля. Оставил бы в селах...

Он сел и тут же поднялся Григорьев:

— У меня вопрос к Гнездилову... Вы что же, Иван Денисович, действительно считаете, что мысль о расселении по местным селам одного вас осенила? Остальные, по-вашему, не сообразили? Не хватило ума? В таком случае объясните мне: как работникам милиции и ГПУ осуществлять охрану? Вы предлагаете расселять в селах, большая часть которых расположена на местах тех же летовок, некогда отнятых у казахов, то есть у лесов, в лесах или недалеко от лесов... Взгляните на карту, товарищи. Семейные, может, и не будут бегать, а где прикажете ловить высланных-одиночек, которые в первые же дни побегут табунами? Ваше предложение, товарищ Гнездилов, повлечет за собой разгул бандитизма, грабежи населения, особенно в небольших аулах и хуторах, убийства активистов и милиционеров. Вот уж чего не ожидал, так это подобного предложения от секретарей райкомов Тулебаева и Гнездилова!

Поднял руку Шкляревский:

— У меня попутный вопрос... Не кажется вам, Иван Денисович, что в связи с расселением в селах политическая обстановка в округе может сложиться весьма опасной?

— Не пойму тебя, Шкляревский...

— Прекрасно вы меня поняли, Гнездилов... Я, товарищи, твердо уверен: затаившийся вражеский элемент непременно использует такую великолепную возможность нанести удар колхозному движению. По сути дела, мы в каждое село определяем на местожительство заведомых врагов. Выражаясь фигурально, под узцы вводим троянского коня. Их не надо агитировать. Тот же скрытый местный враг ночью принесет высланному кулаку мешок зерна и скажет: за это сожги конюшню. И тот сожжет. Ради голодных детей он пойдет на все. Он знает, что детей мы не тронем, а ему уже терять нечего. Упомянул Гнездилов об ошибочно высланных. Скрывать не стоит, много таких, партия указала, осудила, мы свое получили за перегибы, в дальнейшем поостережемся. Но я понял вас так, что эти ошибочно высланные будто бы и не враги. Если так, то глубоко ошибаетесь, Гнездилов. Высланный кулак — враг, а высланный ошибочно — ныне вдвойне враг! Если первому еще как-то можно примириться — да, виноват, поделом вору и мука, то высланный несправедливо никогда не простит. Он теперь так рассуждает: за что меня-то? Был я за Советы, по-

могал — и на тебе: сослали... Нет, не простит... Я, товарищи, вот чего боюсь: стоит какой-либо контре проявить мало-мальски организаторские способности, и наверняка быть вооруженным выступлениям. Банды-то возникнут точно. Если только за один последний месяц в Сузакском районе убито двадцать три активиста, то представляете, что будет твориться в селах, когда там поселим тысячи сосланных кулаков? Крах наших колхозов неминуем! Ваше предложение, Гнездилов, я рассматриваю проявлением политической... назовем так: безграмотности... Да-да! Не смотрите, Гнездилов, на меня волком! Именно безграмотности, если не сказать больше... Ставить под удар первую посевную, колхозное движение, наконец, создавать предпосылки к резне... И это предложение вносит Гнездилов, старый член партии, опытный человек! Да еще говорит таким тоном, будто он один все знает, все продумал, а мы от нечего делать собрались, лишь бы проголосовать.— Он с гневом скомкал изрисованную квадратиками бумажку и через головы швырнул ее к дверям.

Гнездилов желчно усмехнулся:

— Тешу себя надеждой, что товарищи Шкляревский и Григорьев озабочены именно заботой о положении в округе, а не опасением большой работы в личном плане и лишних хлопот... Да, верно, несколько тысяч высланных кулаков на округ — не подарок...

— В села, Гнездилов,— сдержанно уточнил Каширцев.— Ты предлагаешь в села.

— Да, в села... Придется поднапрячься. Многое может случиться, готовиться надо ко всему, здесь расписали страхи... Но я по-прежнему настаиваю на расселении только в селах. Ввести в них комендантские часы и надзоры. Запретить на время разъезды по гостям, установить контроль на дорогах: выставлять посты и дозоры. Оповестить все население, определить жесткие инструкции железнодорожникам и лесничествам. Самих высланных связать круговой порукой, объявить им сразу же по прибытии: если из села совершит побег кто-либо один — все остальные немедленно переводятся на новое поселение с лагерным режимом, колючей проволокой, охраной... Что-то же можно придумать, пригрозить... Поймет нас местное население, поймут впоследствии сами высланные. Но никогда не поймут, не простят нам гибели из-за нашей бесхозяйственности и пере-

страховки! Наворочали мы делов с раскулачиванием. Может, хватит? Остынем немного? Да я и не понимаю, о каком рудном деле может идти речь. Каширцев, неужто ты всерьез считаешь, что мы в ближайшее время можем приступить к разработкам? Это при наших-то возможностях? Самый грубый подсчет покажет, что без поддержки государства мы оттуда в ближайшие годы ни хрена не вывезем! Действующие шахты и заводы задыхаются, кричат, просят оборудования. Люди есть, желающие есть, нет средств, не хватает техники. А ты размахнулся — рудники, базы... Зацепин, встань и скажи, чего мы можем, а чего не можем...

— Я за него отвечу тебе, Гнездилов,— выпрямился во весь рост Каширцев.— Что ты заладил: погубим людей, в пустую степь гоним, где нет ни жилья, ни материала, и не поймут нас, и не по-партийному... Ну а как, скажи, кочуют бедняки казахи в поисках корма скоту по голой зимней степи, где на сотни верст ни деревца, ни укрытия? В морозы, бураны, в драных юртах вместе с детьми и стариками? Им никто не помогает. Такие же лишения испытывают геологи, строители, различные экспедиции и еще тысячи людей. Не тянут с собой обоз со всем необходимым. Сами устраиваются. В прошлом году был я на Турксибе. Те же условия. Рабочие неделями на жмыхе и сухарях сидят, из озер соленую воду пьют, однако работают, да еще как! От добровольцев отбоя нет. Соревнуются, песни поют... Бабы детей рожают! А здесь государство оказывает помощь, приказывает снабдить пайками, одеждой, материалами, заставляет продумать до последней мелочи, и для тебя — плохо. Тем более что время подготовиться у нас есть. Для чего мы собрались? Чтобы выработать план по расселению. Другими словами, заблаговременно помочь им расселиться, обустроить их... А кому помочь? Высланным кулакам. Врагам нашим заклятым! Ты помнишь ленинские слова: везде зажравшееся кулачье соединялось с помещиками против рабочих. Миру с ними не бывать... Я не помню дословно... Да! Кулака можно помирить с попом, с царем, хоть они и рассорились, но с рабочим классом, с пролетариатом — он никогда не помирится. Поэтому бой против кулака — это есть наш последний и решительный бой. Вот так Ильич считал... Ты думаешь, одному тебе семейных жалко? Напрасно. Мы тоже люди, у всех у нас сердце. Но мы не имеем права ставить под

удар колхозы, рисковать нашим делом, подставлять под ножи и топоры коммунистов и актив округа, сиротить наших детей. Тебе, Гнездилов, сейчас не расписали страхи, как ты изволил выразиться, а ясно показали, чем окончится твое предложение,— бандитизмом, открытой вооруженной борьбой и, вполне возможно, крахом созданных молодых колхозов. Конечно, жалость проявить куда легче, чем твердость, быть добреньким проще и выгодней. Для славы, авторитета... Только всегда надо помнить, за чей счет их приобретаешь... Сбежавшие голодные кулаки-террористы в окна твоего райкома не полезут. Грабить и убивать они станут в хуторах и аулах. И ловить ты их не поедешь, других пошлешь... Давно я приглядываюсь к тебе, Гнездилов. Странную позицию ты занял в последнее время. Я помню, как ты болезненно воспринял постановление о темпах коллективизации, противился выселению кулака и бая, а прошлой осенью — планам хлебозаготовок. В твоем районе на данный момент меньше всего высланных и лишенных прав голоса. Зато самый высокий процент единоличных хозяйств. Это говорит о том, что кулак и бай у тебя не прижат, имеет влияние, мутит воду в колхозах. Слышал я, пропали у тебя тысячи пудов семенного зерна, которое ты якобы раздал колхозникам на пересортицу или сохранение, уж не знаю, как назвать... Банда какая-то объявилась... Не она ли извозы будет грабить? Теперь ты вообще ставишь под угрозу политическую обстановку в крае. Всем известно, что творится сейчас в аулах, на чем держатся казахские артели. Нам бы именно сейчас поддержать их, развить добрые отношения между аулами и переселенческими селами, что стали налаживаться в последние годы, а ты хочешь расселить в них русских бандюг, которые сразу же побегут по мелким аулам да по летовкам, где два-три пастуха с семьями... И не надо перехлестывать: речь идет не о разработке рудников, а об элементарном жилом месте для будущих изыскателей. Хочешь, я скажу куда ты клонишь? Бухаринские загибы у тебя, Гнездилов. Пытаешься врасти в социализм мелкособственником, въехать в него на горбу у пролетариата, за счет трудового крестьянства. Нет, не туда ты клонишь... Но мы тебя поправим... Зацепина-то зачем дергаешь? Возможности промышленников мы не хуже тебя знаем и прятаться за их спины не собираемся. Когда потребуется, он сам скажет... Говорю те-

бе, Гнездилов: расползаться по селам перед первой коллективной посевной многотысячной орде вражеского элемента мы не позволим. Если ты не примешь это во внимание и не сделаешь должных выводов, я буду обращаться в Казкрайком. Вносить неразбериху и явный оппортунизм в наши ряды мы тебе не дадим.

Айдарбеков предупреждающе постучал по столу, укоризненно качнул головой. Давнее опасение, что и это заседание бюро пройдет наполовину во взаимных упреках и ссорах, начинало сбываться.

Гнездилов, с посеревшим лицом, за все время, пока говорил Каширцев, не поднял взгляда, ни разу не прервал его, но каждый выпад отмечал смутной усмешкой; в такие моменты он становился особенно сдержан, даже медлителен, и тогда слушали его с предельным вниманием — ответы, краткостью похожие на формулировки, отличались простотой и вместе с тем — глубиной понимания вопроса. Он грузно поднялся.

— Не с того боку заходишь, Каширцев. В бухаринской платформе я открыто разделял и по-прежнему одобряю одно: бережное отношение к зажиточному крестьянину...

— Проще сказать — к кулаку,— блеснул очками в сторону президиума Каширцев.

Гнездилов холодно и насмешливо поглядел в его сторону:

— Да мы и так упростили — дальше некуда: либо батрак, либо кулак, других для простоты вычеркнули. Но коли говорить о кулаке, то я за его уничтожение, как класса, но не как людей. Замечаешь разницу? Или упростил, как упростили ленинскую мысль себе на потребу... А такие слова Ильича на восьмом съезде: «Насилие по отношению к среднему крестьянству представляет из себя величайший вред» — ты хорошо запомнил?

— К середняку, но не к кулаку! — выкрикнул кто-то из задних рядов.

— А кулака всего через несколько месяцев после призыва к «последнему и решительному бою» он посоветовал не раскулачивать, а лишь поприжать и поставить под контроль хлебной монополии,— раздельно ответил Гнездилов.— Это Ильич призвал в самые страшные, голодные годы. Доживи он до наших дней — наверняка бы уличили в бухаринских загибах... Я не хочу превращать бюро в очередную потасовку, но смею

тебе, Каширцев, заметить: твои левацкие заскоки и высокие проценты дорого народу обойдутся. Ты со своими башибузуками практически разорил район. Если бы не статья Иосифа Виссарионовича, ты бы его вообще опустошил. Позже увидим, чего дадут твои колхозы, твои проценты... Я ведь тоже к тебе давно присматриваюсь. Особенно в последний год. Одно время даже позавидовал, думал поучиться у тебя. Теперь понял, куда ты правишь... Умеешь ты дело повернуть, да так, что сразу не поймешь, а потом не ухватишь тебя. Только что прошелся насчет казахских артелей. Говорил так, будто мы все виноваты, один ты чист — противился их созданию. А я напомню, что только по твоему давлению в нашем округе были приняты решения о их создании в таком огромном количестве, в результате чего мы потеряли массу скота и лишились стольких казахов-скотоводов. И тебе, как никому другому, уж коли ты здесь вырос политически, где твоя жизнь прошла, должна быть видна вся ошибочность подобных решений. И на мне грех: поддержал тебя. Не зная толком местной обстановки — поднял руку. Но особенно рьяно взялся за организацию именно ты. Готовил бумаги в Казкрайком, писал от имени людей, рассылал своих помощников, даже, помнится, грозил Кожамбетову... А потом первым учуял недоброе, незаметно крутнулся в обратную сторону, с тех пор и попрекаешь... Вот и сейчас предлагаешь невесть что. Выглядит-то красиво, революционно, с расчетом на будущее, а по сути — головотяпство чистой воды... Мы в лице высланного приобретаем хлебороба. Да черт с ним, что он кулак и враг! Он хлеб умеет растить. И мы обязаны заставить его делать это здесь, в нынешнюю посевную. В этом выгода делу. Заставлять пахать и сеять, а не копать никому не нужные канавы. Вредительство это, а не создание жилых мест, если ты по-хорошему не понимаешь... Пока солнце взойдет, роса очи выест... Не доросли мы еще до тех разработок, не набрали сил. К делу надо подходить с расчетами, а не с политической трескотней. Пора, Каширцев, прийти в себя после поездки к товарищу Троцкому... Ну-ну, он и мне не товарищ, извини, к слову пришлось... Но твоя архибдительность осточертела, равно как и твое прожектерство. Думаю, не только мне. Кончай с ними. Предупреждаю тебя и всех, кто с тобой согласен: если будет принято решение расселять на местах месторождений, я соберу на

пленум коммунистов своего района и объявлю им о том, что мы огранизованно приступили к физическому уничтожению тысяч людей, и буду писать об этом не в Казкрайком, а в ЦК партии!

Лицо его совсем побледнело, скрытое волнение пробилось каплями пота, одышкой, он тяжело сел, и Тулебаев торопливо налил ему из графина воды.

— Все у тебя, Гнездилов? — поднимаясь, вкрадчиво спросил Коновалов и, не получив ответа, заговорил: — Упрек Каширцеву за поездку к Троцкому и на себя принимаю — я подсказал, одобрил. Принимаю твой упрек и в отношении артелей — я их тоже одобрял. Впрочем, и сейчас одобряю, хоть и осудили... Да, одобряю! Вы хотите провести коллективизацию в аулах и не запачкаться? Такой переворот среди казахов и — чистенько-гладенько? В русско-украинских селах, значит, классовая борьба, все закономерно, вплоть до убийства, а в аулах — полюбовно? Нет, так не бывает и у казахов: без драки, без обид, без смертей, без урона... До смешного доходит: на каждом бюро, заседании, пленуме только и слышишь: даешь равноправие между казахом и русским, даешь казахский рабочий класс, долой отсталость братского народа! На деле — обратное. Когда из переселенческих сел люди уходят на стройки и заводы, мы одобряем: иди, крестьянин, учись железному делу, сознательности, пополняй ряды рабочих, а казаху — нельзя. Еще бы! Теряем опытного скотовода. Хитро задумано: все блага Советской власти кому-то, а казаху — на! — Коновалов сделал неприличный жест в сторону Тулебаева.— Ты, казах, только скотоводничай. Другого от тебя не требуется, потому что на другое ты не способен. Знай паси днем и ночью, зимой и летом, мерзни, задыхайся в жару, кочуй по степи, как сотни лет назад, ни тебе школ, ни больниц, ни библиотек, ни курсов, и боже тебя упаси на завод уйти, ты скот давай, не ленись, который уходит черт знает куда! Он что, этот казахский рабочий класс, из одних хохлов состоять будет? Это твоя партийная позиция, Гнездилов? От тебя только и слышишь: не спешите с аулами, подсчитайте, прикиньте... Да сколько ждать-то этому нищему безграмотному казаху!..

Слушали его грубовато-искреннюю речь с тем же жадным вниманием, что и гнездиловскую.

— Надо из двух-трех аулов создавать крупные скотоводческие артели, а то и совхозы,— продолжал Коно-

валов,— а в них школу, больницу, мастерские, чтоб всем, кто захочет, работа на выбор нашлась. А все эти мелкие аулы в десяток семей, где кроме родовой грызни ничем не занимаются,— распустить. Пусть идут на стройки, заводы, если не захотят в совхозы. Там их зачислят на курсы, приставят к рабочему делу... Чихвостят нас алашевцы в хвост и в гриву, и правильно делают — заслужили!

— Коновалов, может, хватит об артелях? Не для того собрались,— вмешался Айдарбеков.— Говори по расселению.

— По расселению я уже сказал: полностью поддерживаю Каширцева! А к артелям так или иначе, но придется возвращаться в самое ближайшее время. Партийные установки даются не для того, чтобы их переиначивали на свой лад кому как вздумается: Каширцев по-своему, Гнездилов по-своему... Есть указание из Казкрайкома полностью завершить коллективизацию к тридцать первому году,— значит, надо завершить, чего бы нам ни стоило. Тут осталось-то несколько месяцев...

Михельсон нагнулся к Кожамбетову:

— Понесло его, теперь надолго. Может, хоть ты его придержишь?

— ...Мы не должны в угоду высланному мелкобуржуазному, вражескому элементу рисковать сделанным в округе и колхозами... Половины ошибок можно было бы избежать, доведя до конца начатое и не пойдя на поводу у некоторых расчетливых... Директива Казкрайкома — это и есть партийная установка,— гремел Коновалов.— Какие здесь могут быть купеческие расчеты?! Выгодно в политическом плане расселять на местах? Выгодно. Безопасно? Так точно! Значит, там — и никаких сел!

— Это шельмование установки! — не выдержал Михельсон.— Вместо вдумчивого подхода — оголтелое критиканство.

И кабинет заклокотал:

— Довольно препираться! Голосовать надо.

— За что голосовать-то?

— Мы знаем за что...

— Перерыв,— сухо объявил Айдарбеков.

— Рано, время не вышло!

— Ты-то сам, Мустаевич, когда свое скажешь?

— Перерыв! — выкрикнул Айдарбеков.

— Явное вредительство. Гнездилов прав: пора кончать с таким руководством.

— Приспособленчество...

— Скорей — шкурничество...

— Перерыв! — шарахнул по столу Айдарбеков и попытался шутливо улыбнуться: — Продолжим ровно в двенадцать.

В последний год каждая повестка партийных организаций края, начиная с низовых: сельских и аульных, и вплоть до пленумов Казкрайкома, являлась не только документом яростной борьбы с байско-кулацкими остатками и свидетельствовала об неустанной работе партии с рабоче-крестьянскими массами, но и вскрывала такую мешанину из различных взглядов, течений, националистических веяний, группировок и платформ, что разобраться в ней было трудно даже опытному коммунисту-ленинцу.

Здесь, как и по всей стране, в полную силу разворачивалась коллективизация — процесс неизбежный в развитии социализма.

В Северном Казахстане, где русско-украинское крестьянство составляло половину всего населения, было напряженней, чем где-либо. Сбывалось давнее предостережение: «Там, где зажиточнее, уверенней будет чувствовать себя кулак, там ожесточенней будет борьба с ним».

К недоброй памяти перегибы и здесь нанесли непоправимый урон коллективизации. Крестьян зачастую принуждали вступать в колхозы под страхом лишения прав, раскулачивания и высылки. В некоторых округах (в Н-ском, где секретарствовал Айдарбеков, также) процент высланных доходил до двадцати; «лишенцев» — до тридцати и более процентов.

Каждый третий...

А к великому счастью, эти перегибы не были сущностью самой идеи. Объяснялись они нажимом сверху — сталинским указанием: «Последняя наметка коллективизации — 75 процентов бедняцко-середняцких хозяйств в течении 1930—1931 годов не является максимальной» — и исполнительским зудом снизу.

Один из руководителей Казкрайкома заявил без обиняков: «Несмотря на то что Казахстан является отсталым краем, темп коллективизации на сегодняшний день у нас огромный. Мы даже многие передовые области

Союза в этом отношении обгоняем»[1]. Что значил сей административный раж для середняка и особенно для казаха-кочевника, которому не только колхоз — артель была непосильной и преждевременной кооптацией, говорить не приходится. Подобное рвение дорого обошлось народу.

Такая связь: давление сверху — ответ «делом» снизу: «Есть указание завершить коллективизацию в крае к 1931 году,— значит, надо завершить, чего бы нам ни стоило» — приводила к серьезному недовольству крестьян и сыграла на руку врагам, а в некоторых местах прямо спровоцировала к открытым вооруженным выступлениям.

Трагические события коллективизации отразились в ЦК партии — против быстрых, коренных изменений в деревне и обострения классовой борьбы, вызванной непосильными хлебозаготовками в 1928—1929 годах, в защиту зажиточного мужика и немногочисленного к тому времени кулацкого слоя выступили правые оппортунисты во главе с Рыковым, Томским и крупным деятелем партии Бухариным. Они выдвинули ряд программных заявлений, в которых настаивали на постепенном, «мирном врастании кулака в социализм», предлагали товарно-хозяйственные отношения между крестьянином и рабочим отдать на откуп рынку и снять всякие ограничения с кулака: живи, плодись, диктуй свою волю сельским Советам, торгуй, а вечерами с ухмылкой подсчитывай барыши, омытые потом рабочего и нанятых в батраки односельчан.

Несмотря на очевидную ошибочность этого предложения (при стремительном развитии тяжелой и оборонной промышленности у страны не было времени растягивать коллективизацию на десяток лет, тем более что кооперирования требовала вся беднота и значительная часть середняков), во многом позиция правых возникла из желания защитить многомиллионное крестьянство от стремления лидеров левого уклона — так называемой новой оппозиции троцкистского толка — применить при коллективизации жесткие меры не только к кулакам, но и к зажиточному середняку, придерживаясь в санкциях рамок социалистической законности. Но то, что последовало после ликвидации оппозиционных группировок, для удобства в разгроме объявленных право-левым бло-

[1] Под знаменем ленинских идей. Алма-Ата, 1973. С. 399.

ком, что произошло в действительности во время коллективизации,— потрясло страну. Оно уже не отличалось ни «левизной», ни «правизной», имело лишь одно направление — к жесточайшему произволу и насилию на грани изуверства...

В Казахстане сторонники правых в упрощенном (если не сказать — в овульгализированном) толковании их программы сразу нашли последователей в лице различных мелких националистических группировок. Под прикрытием защиты интересов казахского народа они на протяжении длительного времени вели то открытую, то скрытую борьбу против ленинской национальной политики, не гнушаясь при этом использовать грязные средства — склоки, слухи, клевету, дискредитацию и подрыв авторитета партийно-советских органов. Одна из них, наиболее активная, ратовала за «гражданский мир» в аулах, шла против ограничения и вытеснения байства, противилась землеустройству и переселению в Казахстан русских и украинских крестьян, огульно отрицала результат промышленного развития края в первые годы Советской власти. Другая не менее известная националистическая группа, как впоследствии признавал один из ее лидеров, часто разжигала национальную рознь среди населения, в подборе кадров и в партработе руководствовалась групповыми признаками, но отнюдь не принципиально партийными, маскировала классовую борьбу в аулах[1].

В этих моментах все группировки близко сходились с алашевцами — серьезным противником ленинской национальной политики. Эти заходили с главного козыря: у казахского народа нет ни байства, ни классового расслоения, в аулах благоденствие и умилительная патриархальная тишина, а если есть противоречия, то не между бедняком казахом и баем, а между казахами и русскими. Политическая подоплека этого утверждения не оставляла сомнений: вот бы выселить всех русских... До выселения дело не доходило, но решения о запрещении въезда и дальнейшего проживания в крае русско-украинских крестьян в некоторых областях были приняты.

Русское переселенческое крестьянство, еще до прихода Советской власти, проживая на исконно казахских землях, быстрее приспособилось к запросам и веяниям нового века.

[1] Под знаменем ленинских идей. Алма-Ата, 1973. С. 357—358.

Казахский же аул тянули назад отжившие традиции, безжалостные и бессмысленные догмы Корана, родовая вражда, многоженство, частые кочевья. Теперь новая власть законом требовала равноправия, знаний, участия в местных Советах, в государственных мероприятиях и делах.

Этим не замедлили воспользоваться националисты. Поползли по аулам националистические выверты. Сборы партработников обострились болезненными дискуссиями о целесообразности выселения баев, возникло недоверие, всплыли, казалось бы, давно забытые ссоры и нанесенные обиды, между селами и аулами понеслись слухи и кривотолки. Коммунисты уличали друг друга в национализме и в великодержавном шовинизме. И нередко местничеством, национализмом грешили русские партработники, а шовинизмом — казахи. Объяснялось это тем, что многие русские (ныне руководители) были сосланы в казахстанскую ссылку задолго до революции, как случилось в жизни Каширцева, или остались здесь в годы гражданской войны, а еще больше их направила страна в помощь республике с середины двадцатых годов, из числа которых был Гнездилов.

А коммунистов-казахов часто упрекали — и за дело — в великодержавном шовинизме. У них не хватало опыта классовой борьбы, знаний в экономике и навыков в строительстве нового. Не виделось многим из них, что за феодальной убогостью, неграмотностью, косным бытом с его многоженством, калымом, барантой, дикими предрассудками и невежеством лежит уже вскрытый Советской властью мощный плодоносный пласт великих возможностей казахского народа с его национальной гордостью и самосознанием. Не видели и посему считали: какой смысл заниматься долгими изысками, время не ждет, проще взять за основу все русское — у них казахам есть чему поучиться. И редко кто мог с точностью определить ту границу, за которой привязанность к казахской земле переходила в национализм, а глубокое уважение к русскому народу — в исповедание казахом великодержавного русского шовинизма. Здесь мало было одного желания видеть эту землю обновленной, развитой — требовался большой жизненный и партийный опыт, умение мыслить новыми категориями, иными масштабами, способность за местным увидеть общее, часто отказывая сегодняшнему, чтобы за трудностями, слож-

ностями, недочетами, порой возмущением предвидеть результат принятого решения, несшего в будущем большие выгоды.

Нездоровую обстановку в крае осложняло проживание здесь Троцкого и Зиновьева, которых за непримиримую оппозицию к правительственному курсу выслали сюда в 1928 году.

Зиновьева препроводили в Кустанай, а Троцкому вначале определили место жительства в небольшом южном городке. Из одних окон виделся двор, где между разбитых повозок бродили куры, из других — замызганная улица из глинобитных домишек, с керосиновой лавкой в конце, откуда в привозной день неслась бабья перебранка, и все скучно, голо, грязно,— ничего из прошлой, столь яркой и бурной жизни, в которой было все, о чем мог мечтать человек его способностей. Теперь местное руководство шарахается, как от чумного, обеды носят скверные, пыль летит в окна, оседает на белье, вещах, скрипит на зубах, забивает густо седеющие кудри, и ко всему — эта вонючая лавка с запахом, который он не мог выносить с детства...

Лев Давыдович в очередной раз взбунтовался, и его перевели в Алма-Ату. Но и там оставаться «не у дел» он не мог, и вскоре к нему и тайно и явно, конным и пешим порядком потянулись, словно в Мекку, паломники от партии. Строгого партийного контроля за ним не устанавливали, и он витийствовал. Умелый оратор, гибкий в полемике, с громадным опытом ведения дискуссий на любом уровне, он мог увлечь собеседника и привести к выводам прямо-таки поразительным. Внешне — революционно, демократично, народно; в сути — в корне противоречиво генеральной линии партии. К слову сказать, больших трудов это ему не составляло: собеседниками, как правило, были различные отщепенцы, байско-кулацкие элементы, национал-уклонисты, исключенные вместе с троцкистами за антипартийные действия из партии. Но наезжали и члены партии. Часто ими оказывались люди, плохо осведомленные о всех сложностях внутрипартийной борьбы, не знавшие истории партии, ее диалектики, не понимавшие ленинских работ по дальнейшему построению социализма; закономерное изменение марксистской теории в практике немедленно расценивалось отступлением перед натиском империализма, пораженчеством; многие из них смутно представ-

ляли характерные особенности партийно-хозяйственной работы среди многонационального состава народов Казахстана, не видели перспектив его развития.

«Перспективу» приезжему вычерчивал Троцкий. Там всего было, и конечно же без учета реальных возможностей, сроков, без знания обстановки на местах, быта и всего уклада казахского народа. Привлекали трудности, о которых предупреждал Троцкий. Они придавали достоверность «откровениям». Коли трудно,— значит, жизненно. Но стоит ли их бояться? После всего, что пережито, и ради будущего нужно идти на любые трудности, даже если они связаны с насилием и жестокостью.

Хватив изрядную чашу политиканства, крепко настоянную на революционной фразе, потрясенный скорым и радужным будущим, приезжий, не умевший думать, сострадать и дальновидно хозяйствовать, лишь обуянный неуемной жаждой по-прежнему крушить, ломать, добивать остатки «старого» мира, спешил домой делиться с «сотоварищи» услышанным, и вскоре принималось соответствующее решение...

Троцкисты, объединившись с националистами и другими группировками, создали серьезную опасность. В 1929 году Троцкого выдворили за границу, где впоследствии удар альпенштока завершит его судьбу, однако мутная взвесь, всколыхнутая им, будет оседать еще долго...

IX

В первый же день Похмельный понял: Гуляевка совершенно не готова к предстоящему севу, колхоз находится на грани развала.

От обобществленных в декабре прошлого года семидесяти двух лошадей остался табунок в девятнадцать голов. Пять из них, считая и строковского выездного коня, держали в селе на пожарный случай, остальных правленцы отогнали на зимовку к знакомому казаху, откуда до сих пор не решались привести в село.

Колхозного стада, собранного такими же страданиями и с великой печалью, больше не существовало: что не успели по приказу Гнездилова увести из села в январе грозные уполномоченные по заготовке мяса — в марте отвели на свои дворы бывшие хозяева. Привели,

облегченно вздохнули, бережно обмыли засохшие катышки на стегнах радостно замычавшей в родном хлеву скотины и тут же, по-хозяйски, не упустив ни капли крови, пустили под нож. Быков и лошадей большей частью продали за хорошие деньги заготовителям с многочисленных строек. Из семенного фонда почти в четыре тысячи пудов в наличии имелось чуть больше половины, остальное по приказанию Гнездилова было отдано на руки гуляевцам для очистки и сохранения.

Никаких серьезных работ в хозяйстве не велось, поэтому колхозники трех бригад, созданных еще в феврале, имели по ничтожному числу трудодней. Но удивило число сторожей и скотников. Ему объяснили: нет единого скотного двора, амбары разбросаны во всех концах села, оттого и вынуждены держать быков на личных подворьях, но он сразу понял: каждому хочется придержать тягло у себя под рукой, мало ли, а что касается сторожей, то по нынешним временам — больно удобная должность: и не перетрудишься особо, и в сознательных числишься...

Из рук вон плохо был налажен учет колхозному, не говоря уже о единоличном, не хватало быков для планируемой посевной площади в 900 гектаров, и непонятно было, из каких расчетов Гнездилов требовал их засеять; пугающе мало оказалось инвентаря, фуражного корма, сена, упряжи, пустовали низенькие, полуразрушенные кошары; давно без дела высились за околицей два ветряка и мельница.

От гарнцевого сбора, который теперь числился общественным фондом, в колхозной кладовой сиротливо стояло лишь два мешка петлевки. Не велось учета кооперирования на бесплатные паи; на вкладе потребительского общества лежало двести рублей, хотя взнос от села уже составлял более трех тысяч рублей. О содержании инструкции по организации труда в колхозах на весеннюю посевкампанию 1930 года, разработанную в дополнение к рабочей программе Колхозцентром — главный документ в практической работе! — правленцы имели весьма смутное представление.

Сведения о последних событиях у многих кончались мартовской статьей, не было газетных подшивок; вызванный в правление секретарь комсомольской ячейки так терялся, что на него жалко было смотреть. Приводило в смятение число «лишенцев», бойкотированных,

оштрафованных, исключенных из партии в предыдущие хлебозаготовки, и в прошлом судимых сельчан. А в пыльных шкафах он находил прошлогодние указания от земельного управления, старые плакаты, пособия по агротехнике и давние справки, в которых фиолетовыми кровоподтеками печатей предписывалось в срочном порядке вывезти, составить, ограничить, ликвидировать, определить... И окончательно добил старик, отец болевшего сидельца — он весело объявил, что половина села толком не знает, кем числится: в колхозниках или в единоличниках.

Все это еще можно было понять (мало ли безалаберности и промашек в только что созданных колхозах), если бы не дух праздности и полного безразличия к будущему (который и страшил-то более всего!), владевший людьми.

Похмельный поражался: да будь Строков трижды враг и то не смог бы довести до такого состояния колхоз, не помогай ему своим тупым равнодушием к собственной судьбе либо злобной неприязнью к власти сами гуляевцы. И как теперь понимать Гнездилова с его озабоченностью состоянием колхозов в районе, с которой он уговаривал его остаться, и с тем, что в действительности творится в селах? Недоумение сменилось гневом: кабинетная душа, из-за стола обстановки не видишь! Не можешь руководить — уходи прочь, не губи не тобой начатого дела. А посмотреть, послушать — говорун...

В конце дня он собрал актив, уже знакомый по расселению.

Председатель сельсовета Гриценяк Гордей виновато разводил руками, ссылался во всем на Строкова, сокрушался, ловко перебрасывал вопросы другим правленцам, зато в выгодных для него местах принимал озабоченный вид и красиво поводил очами; за всем этим чувствовался мужик настороженный, себе на уме.

Игнат Плахота, тот самый, что требовал от Похмельного разъяснений по раскулачиванию и высылке, слушая, хмурился, ронял желчные замечания, ничего дельного не предлагая, хотя было видно: у него есть что сказать, и всячески показывал, что Похмельного считает временщиком, поэтому всерьез принимать его не желает. Один из комендантов, Иващенко (оба коменданта числились в активе), заявился с похмелья, с

важным видом задавал вопросы не к месту, вызывая досадливые улыбки, но Похмельный отвечал ему терпеливо, ибо комендант с фельдфебельской готовностью соглашался со всеми его предложениями. Другой, Алексей Кащук, болел в эти дни и, может, поэтому отвечал вяло и безучастно, поглядывая из правленческих окон на пустую дорогу.

Только два активиста хотели бы помочь. Это были Гарькавый Федор, бывший фронтовик с покалеченной ногой, и желтоволосый здоровяк Семен Гаркуша, один из кузнецов села, молодой парень.

Однако Гарькавому, как понял Похмельный, требовать дела в полную силу мешала его ущербность: тяжелой сельской работой он заниматься не мог, ограничивался только советами, а предложения Семена то ли из-за его зубоскальства, то ли по молодости во внимание не брались.

Из разговора с правленцами Похмельный многое выяснил для себя: что за село, сколько работного народа можно добавить в бригады и вывести на посевную, где какие земли пахотные и сенокосные и прочее, помельче, но все важное в преддверии посевной. И ему так захотелось увидеть их загоревшимися предстоящим делом, как горел желанием работать он сам, что готов был простить им, даже оправдать прошлую бесхозяйственность, но несобранность, многозначительные намеки Гордея, ядовитые замечания Игната и душок непонятной враждебности меж ними (видимо, что-то крылось за ней) вывели Похмельного из себя. Он не сдержался, выматерил язвившего Плахоту, тот ушел в гневе, остальные обиделись, и на том заседание закончилось. В запальчивости он объявил на утро общее собрание колхозников.

Стали расходиться. Семен, комендант Кащук и Похмельный выходили последними. Все уже знали, что он остановился у старика-вдовца, где ночевал прошлый раз с конвоем. По той мрачности, с какой он ответил на вопрос об этом, Семен и комендант поняли, что новому председателю там не по душе, поэтому пришлось проявить заботу, и они повели его на бывшую строковскую квартиру. Но хозяева, напуганные недавним обыском и арестом Строкова, напрочь отказали в постое.

Похмельный попросил спутников не хлопотать больше, однако отказ задел Семена:

— Не-е, я так не оставлю. Его надо бы к якой-небудь одинокой бабе пристроить,— размышлял он, идя по обочине.— Давай, Алешка, к Василине.

— Ополоумел ты к вечеру,— сердито ответил комендант, тоже обиженный отказом.— Да завтра все село в него пальцем тыкать станет. Надо к такой, чтоб не стыдно и сытно...

— О, есть такая! — осенило Семена.— Пошли к Сидорчихе. Хоть старый глаз, да бабий. Постирает, приберет... Пошли, председатель, так и быть, удружу тебе старуху. У ней корова... была, рассадник, огород хороший, всяко прокормит. Но в случай яких недоразумений — на меня не обижайся,— загадочно добавил он.

— Каких недоразумений? — приостановился Похмельный.

— Знахорка она. Мужиков чарует. Вот, к примеру, понравишься ты девке, на якую и глядеть-то тошно, не то шоб ее там где-нибудь... она пойдет к этой Сидорчихе, та наварит зелья из лягушачьей икры, угостят тебя по пьяной лавочке, и на другой день ты за той страхолюдиной будешь бегать, пока не догонишь.

— Чем бы тебя, бугая, напоить, чтоб ты хоть трошки меньше языком трепал,— с тоской заметил комендант.

— А поило! — убежденно вскричал Семен.— Поило, коварное племя! Один раз такой отравы поднесло по пьянке, шо всего наизнанку вывернуло. Я уж думал бражка не выграла або с табаком настояли, а потом допетрил: да тож чарует меня ведьмачье отродье! Но не вышло у них, устоял, а Серега из-за того и загнулся... Шо к девке она тебя, председатель, приворожит — полбеды, беда, когда она к себе, старой причарует... Глянька, Алешка, это не она со своего огорода посунулась? Пошли скорише, пока ее черная сила не уволокла куда-нибудь. Они, эти ведьмы, страх любят вечерами по селу блукать!

Старуха довольно охотно приняла Похмельного на квартиру, тут же предложила поесть, застелила постель, нагрела воды помыться, и он с первой минуты стал называть ее по имени-отчеству, что в общем-то в селе не было принято.

На том и закончился первый день его председательства в Гуляевке.

X

Разбудил его Семен. Со сна Похмельный не сразу понял, где он и зачем его будят, а придя в себя, наспех собрался, залпом выпил кружку молока, и оба поспешили к правлению. Возле него уже толпился народ, и Похмельный еще издали разглядел высланных. Он остановился.

— Этих зачем собрали? — Меньше всего ему сейчас хотелось видеть и разговаривать с ними.

— Вот тебе раз! — удивился Семен.— Ты же сам советовал собрать и выяснить, кто из них на шо гожий: кто кузнец, кто плотник, кто до баб охотник... Га-а-а... Зараз это самое коменданты и выясняют.

— Не до них сейчас. Пойди и скажи комендантам, чтоб отправили их по домам. Нечего им, врагам, присутствовать на колхозном собрании. Где Гриценяк? Дома? Ага, тогда ты скажешь и немедля пойдешь к нему. Я тебя у него подожду.

Председатель гуляевского сельсовета Гриценяк Гордей, стоя по щиколотки в стружках, фуговал доски. Он приветливо поздоровался и без тени смущения пояснил: надумал пол в хате за лето настелить, вот и решил поработать, пока время есть.

Похмельный неопределенно кивнул и сразу приступил к делу, которое наметил еще с вечера.

— Списки гуляевцев, кто брал зерно на сохранение и очистку, у тебя?

— У меня.

— Дай-ка их мне. Хочу, Гордей Лукич, после собрания пройтись по должникам. Может, соберу чего.

Гриценяк посмотрел на него так, будто впервые увидел:

— Вот, оказывается, с чего ты решил начать... Что ж, дело хозяйское. Но я не советую. Собрать-то, может, и соберешь по мелочи, да сколько ж его собирать-то можно. Зерно брала беднота. Каждый втайне думку держал попользоваться им в черный день. Так и вышло. Из остатков давно пасху выпекли и в тот же день съели... Нет, не соберешь. Безнадежное дело.

Похмельный улыбнулся:

— Обидеть боишься? Вернуть в колхоз семена стыдно? Стыдно нам с тобой будет осенью, когда мы людей

без хлеба оставим. Ведь семена урожаем нам в десять раз окупятся.

— Хорошо если нам, а если кому-то?

— А-а, не начинай,— махнул рукой Похмельный.— Да ты не бойся, я тебя с собой не возьму.

— Да я и не боюсь,— открыто засмеялся Гриценяк.— Я с тобой не ходок. Ты сегодня здесь, а завтра за тобой только пыль на шляхе встанет, а мне с людьми жить.

Подошел Семен. Гриценяк ушел в хату, вынес списки и все остальные документы, которые вместе с последними районными указаниями хранил у себя дома.

— Это кто ж тебя надоумил? — поинтересовался он.— Не Федор Гарькавый, случаем? Тогда Кащук или вот Сенька, больше некому... Ты не спросил у них, чего они сами до сих пор не прошлись? Надо бы спросить... Ты, козаче, не с того краю начинаешь. Ничего не соберешь, только народ против себя настроишь. А тебе это зараз совсем ни к чему.

Похмельный тронул носком сапога ослепительный ворох витой стружки:

— У тебя больше нет никакой срочной работы? Тогда кончай и кличь людей на собрание.— И еще раз холодно улыбнулся: — Жить тебе теперь, Гордей Лукич, не просто с людьми, а с колхозниками. Ты поразмышляй над этой разницей...

Когда они подошли к правлению, высланных во дворе уже не было, а может, он и не разглядел их среди собиравшихся гуляевцев. Ему было видно с крыльца, как выходили они из дальних проулков, появлялись на тропках и задах огородов, сходились на широкой улице и шли к правлению, заполняя двор. Много пришло молодежи. На перильцах сидели правленцы, еще какие-то незнакомые ему сельские комитетчики бубнили в комнатах, и коротко вспыхнуло в памяти: такое же утро, этот же двор, те же люди вокруг — все так же, как недавно, в день того, недоброй памяти, отъезда. И у него вдруг в страхе дало сбой сердце: а не провалится ли он сегодня с треском косноязычной в растерянности речью? Сумеет ли овладеть людским вниманием, интересом, повернет ли эту массу в нужную для дела сторону?

Он понимал: от того, насколько уверенно он проведет собрание, зависит его дальнейшее положение в селе. Проявит сейчас твердость, смекалку, бесстрашие,

хозяйственность — будет в дальнейшем легче работать, станут подчиняться, уважать. Даст себя сбить выкриками и каверзными вопросами, отдаст в панике и страхе на всеобщее осмеяние толпы — на том и кончится его председательство: два позорища в этом дворе ему не вынести.

А сбить здесь вполне могут...

Но тут же переборол смятение, закрылся улыбкой и шутливым многословным разговором с правленцами. Люди все прибывали, и среди них много оказалось женщин, что несколько ободрило: несмотря на присущую им в подобных случаях трескотню и взбалмошность, с ними было проще, они легче поддавались убеждению, уговорам, нужно только всякий раз умело напоминать им о детях и будущем семьи, при этом обставлять дело так, чтобы виновными оказывались не только власти, но и тугодумие их собственных мужей. Наука не столь сложная, сколь ловкая... Да, крепкую проверку он назначил сам себе на сегодняшнее утро. Вынужден назначить, ибо не станет ждать земля, когда он освоится и уймет дрожь в коленях...

Сползли с перильцев правленцы, посерьезнели, из комнат вышли остальные активисты, обменялись различными замечаниями, а он все оттягивал открытие собрания.

— Эй, ясные головы! — окликнули со двора.— Хватит шептаться, начинай!

Шум смолк. Похмельный повернулся лицом к народу и поднял руку.

— Считай, уже начали... Товарищи! Решением нашего правления на сегодня объявлено общее собрание колхозников.

— А це шо за гусак? — притворно и громко удивился кто-то, и тут же, в подтверждение опасений Похмельного, в задних рядах хамовито поинтересовались:

— Ты-то кто такой? Откуда тебя до нас черти кинули?

— Товарищи! Решением вашего районного начальства я назначен к вам председателем... Эй, молодежь, подойди ближе — кричать трудно... Какие вопросы будут по моей личности?

— Яки вопросы, шо за расспросы? — вознегодовал комендант Иващенко и полез на крыльцо.— Сразу видно, шо ты наш человек, не то шо Строков. Тот хочь и

умный был, а нам не умного надо, а такого, шоб с нас...— Комендант грозно встряхнул у груди кулаками и сделал такое свирепое лицо, что вокруг засмеялись.

— Куда Строкова дели?

— Ваш Строков оказался замаскированной контрой, бывшим офицером. Его будут судить и наверняка расстреляют... Зовут меня Похмельный Максим Иванович, с девятисотого года. Воевал, после гражданской был в милиции и на партийной работе. В последнее время занимался раскулачиванием и высылкой кулаков и прочего вражеского элемента. Теперь буду у вас председателем.

— До нас насовсем?

— Насовсем. Больше нет вопросов? Тогда у меня к вам имеются. Я вчера говорил с вашими правленцами. Они на вас ссылаются, мол, как народ порешит. Вот я теперь у вас спрашиваю: вы думаете в этом году сеяться?

— Не-а! — живо ответили со двора.— Мы этим годом порешили всем селом в пролетариат записаться.

— Это почему же?

— А у нас теперь, як и у него, кроме цепей, ничего не осталось.

— Пахать дуже тяжко, мы в кочевья, не хуже киргизов, кинемся. Або в торговлю...

— Товарищи, ну к чему эти дурацкие реплики! Давайте поговорим серьезно. Ведь давно пора за дело взяться.

— А ты умеешь?

— За дело мы — вр-р-раз!

— У нас таких делателей племенными держат...

Похмельный миролюбиво улыбнулся:

— Вы мне толком объясните: почему волынку тянете? На что надеетесь? Земля сохнет, лошади черт-те где, инвентарь валяется где ни попадя, семян мало, а вы хаханьки устраиваете. Государство вам хлеба не даст, оно его от вас ждет. Своей леностью вы обрекаете рабочих на голод. Между прочим, вас личные огороды не спасут, потому что при таком отношении к севу во многих селах вам картошку не обменять на пшеницу осенью. Кто вы есть на текущий момент? Земли личной нет, большого личного хозяйства тоже нет. Ни колхозники, ни единоличники. Ни то ни се. Доводите уж до конца, если начали. Собрались жить колхозом —

живите. Где же ваша хваленая мужицкая рассудительность? Мне один из ваших вчера пытался мозги запудрить: и выезжать на сев рано, и лошади еще на зимовке, и у быков язвы какие-то на шеях... Предупреждаю заранее: такие номера со мной не пройдут — я человек сельский. Вы, скорей всего, в дожди свои огороды пахали, потому и потерлись быки. Со своим спешите, а колхозное пускай стоит? Тот же товарищ мне вчера объяснил: лошадей отогнали на зимовку, чтобы вы не разобрали их по своим дворам, как коров в марте. Так сказать, от вас самих спасать. С трудом, но я ему поверил. Но тут же выясняется, что сена два прикладка осталось. У вас и быков-то нечем сейчас кормить, а были бы в селе лошади, то подохли бы с голоду или на веревках висели. Кстати, я вчера так и не выяснил: чем вы за такую услугу с тем казахом рассчитались? Не свиным же салом? Небось отсыпали пшенички из семенного фонда? А? И никто не знает, что там с лошадьми, может, с них давно шкуры сняли... Пусть в целости... Как они там содержатся? В табуне?.. Кому ты рассказываешь, дядя! Да за эти месяцы любая выезженная лошадь неукой станет. Нет бы раньше пригнать, приучать к работе... Ты же изматюкаешься на пахоте, пока ее в борозду вгонишь. А быков, основное тягло, приберегли бы до пахоты, поставили на откорм со своего загашника, коли пользуетесь ими в личных целях. Когда в единоличии жили, небось учителей не требовалось... Вот как ты думаешь, дядя, чем для тебя такая раскачка кончится? — обратился Похмельный к пожилому гуляевцу, судя по его унылой физиономии не столь быстрому на ответ.— Подсказать? Пойдешь ты, горемычный, с детьми кусочником по миру.

Гуляевец пренебрежительно отмахнулся:

— А с твоего колхозу тоже не разживешься. Была у нас коммуна. Вдосталь налюбовались!

— Коммуна — не колхоз. Ты не путай божий дар с куриными... А что тебе терять? Засеявши колхозное, ты хоть что-нибудь да получишь, не сеявши, ты не получишь ничего. Или я чего не понимаю? Так объясните, в чем дело...

В задних рядах зашевелились — кто-то отчаянно пробирался к крыльцу; передние расступились, и Похмельный увидел тщедушного мужичка с округлившимися от усилий белыми глазами на багрово сожженном весен-

ним загаром, шелушившемся лице. Он по-петушиному взлетел на крыльцо:

— Ты, вояка, сколько дней у нас? О, бачили вы таких быстрых: второй день, а уже учит! Ты знаешь, шо наше село до революции самым богатым было? По всему краю слух шел! А зараз одни ветряки да вербы остались. Все вымели! За последних три года с нашего села почти восемьдесят тысяч пудов пшеницы вывезли! Не веришь? Почитай у Гордея в бумажках. Вы нам их заместо денег оставляете... Всем дай! То рабочим, то пострадавшим, то лядащим, то еще какой другой холере. Аж за моря наш хлеб вывозите, в дружбу со всякими басурманами, а они жуют его и плюют в нашу сторону... Ты на днях привел две сотни голодных — кому их кормить? Тебе с Гнездиловым? Не-е, нам. Выходит, им тоже дай. Да когда ж оно, мать его в душу, кончится это «дай»! А нам кто даст? Молчишь? То-то и оно! Ты пытаешь нас, чи собираемся мы сеяться? Нет, не собираемся! Не желаем мы кормить тысячи высланных. Якого черта мы будем грыжи зароблять на пахоте, когда неизвестно, кому хлебец наш достанется. Правильно я ему сказал, люди? — обратился он к толпе, и она грозно всколыхнулась:

— Правильно!

— Не выйдем!

— Опять под метлу выметут!

— Не-е, по пуду на едока оставят, як в хлебозаготовки прошлой осенью.

— Пора, мужики, быков брать да выезжать на свои земли. Мабуть, не будет с колхоза пользы.

— Яка там польза! Разор один.

А когда гуляевец под шум и крики победно спустился с крыльца, его горячо одобрила неряшливо и позимнему одетая баба, стоящая у навесного столбца:

— Ай, молодец, Илько! Зараз и я ему выскажу...

Похмельный вгляделся и узнал в ней стряпуху, что не так давно варила для конвоя борщ. На крыльцо она всходить не стала.

— Кулаки — люди умные были. Они свое добро заранее пустили в копейку, а потом в глухую ноченьку выехали, а куда — сам бог не ведает, а нас оставили при червонном интересе, и мы за них отдувались — вывозили пшеничку. Гнездилов нажился на нашем селе! А теперь шо будет? Мы, значит, сеяться-пахаться, а потом

понаедут вот такие, як ты,— я тебя, черта заполошного, знаю! — и опять все вывезут. А не выйдет! А не пойдут наши мужики пахаться!

Иващенко презрительно сощурился сверху:

— Когда это ты успела мужиком обзавестись?

— Обзаведусь!

— Давай, давай, тетка Орина! — ободрили ее из группы парней.— Дай ему так, чтобы у него и дух занялся!

— И дам! — вскипела стряпуха, вымещая обиду за давешний окрик Похмельного.— Кому хлеб пойдет? Опять твоим рабочим? А шо взять с них? Керосину нема, материи нема, спичек нема, мыла нема, инструмента не куюгь, простой иголки — и той нема. А жруть они не меньше нашего! Вот нехай едут сюда и сами сеются, а мы побачим, а осенью дележки потребуем...

Похмельный попытался остановить ее:

— Вам рабочие Советскую власть, землю дали...

— Ничого нам твоя власть не дала! — окончательно взбеленилась стряпуха.— У нас и без твоей власти земли было — паши сколько хочешь, абы твое здоровье! Где вы только взялись... Люди, а я? Я правильно ему высказала? Я ж за вас страдаю! За мои слова меня, может, завтра на казню...

— Такая умная баба и одна пропадает,— веселились парни у каменного сарайчика.

Похмельный молчал. Он знал, что ответить, но и знал, что лучший выход в таких случаях — дать им выкричать свое, отвести душу. Так некогда учил Карнович...

— И откуда их только черти накачали на наши головы с тем колхозом...

— Хочь бы один приехал, порадовал.

— При богатых лучше было: они за работу хочь чем-то платили.

— А зараз ты высланных кулаков задаром будешь кормить!

— Да разве такую ораву прокормишь?

— Кажуть, еще пригонят...

Похмельный громко похлопал в ладоши. Подобное действо для гуляевцев, видимо, оказалось внове, потому что во дворе удивленно притихли.

— Высказались? Теперь все сюда слушай, а ты, веселый, подойди поближе, чтобы я тебя разглядеть мог...

Все, о чем вы здесь поете, знакомо мне. В каждом селе такая песня. Вам наверняка объясняли, теперь я попробую. В первый и последний раз. Вы слыхали, что во время гражданской войны на нас шло четырнадцать государств? Кто не слыхал, пусть знает. Мы выстояли и еще выстоим в случае чего. Советская власть крепнет с каждым днем! А добыл ее рабочий класс. Он готовил революцию, он ее и совершил. Вы после Декрета о земле в большинстве своем по домам мотанули. На большой дележ: «Як бы сусиду бильше не досталось», а рабочие пошли в Красную гвардию. В самые трудные годы гражданской войны Ленин обращался к рабочим. Кто из вас воевал, тот знает. Бросали они фабрики и заводы и шли защищать революцию. Из Москвы, Питера, Тулы, Донбасса и прочих промышленных городов, и тысячами погибали за Советскую власть, в том числе за ваши земли и пшеницы. И вот через двенадцать лет я, проезжая по Украине и России, своими глазами видел, что те же рабочие сидят на карточках. Триста граммов хлеба для мужика, который весь день молотом отмахивает! Вот ты, говорливый, вымахаешь? И его детишки, не в обиду вам будь сказано, маслицем и сливочками только в великие праздники пробавляются... Сталь варят, заводы строят, оборону крепят. Из последних сил тянутся, а крепят. А вы, имея в наличии семена, тягло и землю, гадаете: сеяться или не сеяться? Предлагаете рабочему землю пахать! Да это же настоящий саботаж! Заставим сеять! Выхода у вас нету. А ты, тетка,— он шагнул к столбцу, нагнулся,— еще плохо меня знаешь. Я вам не Строков... Предупреждаю всех: за подобные провокационные разговоры буду арестовывать и отправлять к Полухину.

— Только это и умеете!

— И хлеб забирать!

— Строков не твоего ума был, а не стращал Полухиным!

— Может, обломать ему рога, пока не оперился? — деловито предложил кто-то из мужиков.

Внизу у ступенек бесновался тщедушный гуляевец:

— Я всю осень на своих быках... в хлебозаготовки... пшеницу на станцию... меня люди прокляли, а я возил, бо верил! А оно вот як обернулось! Разграбили села, сволочи, а теперь к Полухину?!

После того как ему что-то нашептала стряпуха, он

совсем рассвирепел и все пытался подняться на крыльцо, но его осаживал комендант Иващенко.

«Начинается! — в тревоге подумал Похмельный.— От таких заморышей всего ожидать надо... Ну, погоди, ведьма конотопская, утрясется — я тебе на сей раз сполна воздам!» — мысленно пообещал он злорадно взглядывавшей на него стряпухе.

— Грозится еще!

— Эй ты, мурло в кожанке! Если еще раз гавкнешь на кого, мы тебя самого свяжем и свезем к Полухину.

Похмельный заметил того, кто это выкрикнул,— видного собой парня, скорей всего, местного заводилу. Парней было несколько, один из них многозначительно подбрасывал на ладони увесистый камень...

«Может, в самом деле лишнее брякнул? — росла в нем тревога.— Запросто ухайдокать могут... Но отступать нельзя, отступлю — совсем пропал...»

И он как можно спокойнее спросил:

— Сам свяжешь или с компанией?

Парни промолчали.

Похмельный демонстративно похлопал себя по карману, где у него лежал наган, и добавил:

— Я тебя, падло, так свяжу, что у твоей мамани слез не хватит... Я — полномочный представитель Советской власти и шельмовать себя не позволю! — Он напряг голос так, что в нем зазвучало такое, от чего во дворе наступила полная тишина.— Меня сюда направила партия! От ее имени я спрашиваю с вас дела и спрошу так, как сочту нужным. А вы! Вы... Вы чего добиваетесь? — хрипло спросил он у собрания.— Хотите, чтобы к вам в село хлеб государство возило? На кой хрен вы нужны ему в таком случае. Не для того большевики... Что вы мне тычете своей былой зажиточностью? Вы же переселенцы. Забрались сюда, к черту на кулички, место для села вам отдали неплохое, землю и лошадей по дешевке скупили у казахов — я все знаю! Подати вам, как переселенцам, установили небольшие, фабрик поблизости нет, делиться хлебом не с кем... Чего ж вам не богатеть! А вот на Украине дела обстояли и обстоят гораздо хуже. Объяснять не буду — долгая история... Партия поставила вопрос так: союз рабочего и крестьянина. Серп и молот! За то бились... Да, слышал я, что вы помогали, знаю, сколько хлеба из села вывезли, и про голод ваш слышал. Что

ж, спасибо. За то, что помогли в трудное время,— спасибо от имени Советской власти. Вы ей выстоять помогли. Благодаря вам она окрепла, поднялась... Эй, приятель, ты не уходи, дослушай, прежде чем меня вязать... Но это не значит, что теперь вы ей условия будете диктовать. Что вы баранами уперлись?! Переступите свои обиды, не стоят они того. До меня не доходит: время сеять, а они ни с места. Где это видано, чтобы в эту пору хохол сложа руки сидел? Вы же практически сделали все, чтобы жить колхозом: земли и скот обобщили, закрепили актами, кулаков своих выслали, даже деньги на трактора собрали. Вам надо продолжать, а вы на полдороге встали. Это еще хуже, чем вообще не начинать.

— А мы выписуемся из твоего колхозу,— неожиданно объявил тщедушный Илько.

— Точно! Единоличниками засеемся.

— Оно и лучше: с единоличника они только по налогу возьмут, а с колхозника — сколько захотят.

— Вертай земли и быков!

— Расписки верни!

— Не будем на твоих кулаков горбатиться!

— Выписуемся! — радовались поданной Ильком мысли гуляевцы.

Похмельный подумал и тоже объявил:

— С меня в районе потребовали: если кто из вас подаст заявление о выходе, то немедленно сообщать туда. Не здесь, в селе, а там, в районе, будут решать, что с такими шустрыми делать: то ли по-доброму выгнать из села, то ли... — и он многозначительно указал на север.

— От гады! — изумился кто-то из мужиков.— Они на всех путях заслоны поставили. Или в колхоз, или в петлю...

— Ты взаправди? — растерялся Илько.

— Еще как взаправди! — ответил Похмельный, с удовольствием слушая вновь наступившую тишину.— Вы что же, думаете, что в районах массовой коллективизации потерпят выходцев? Чтоб они палки в колеса колхозу вставляли? Нет, конечно. Таким найдут другое место. Поэтому мой совет — не валяйте дурака... Бабы, я к вам: пусть мужья дурью маются, а вы-то о чем думаете? Как же вы детей без коржа в зиму оставите? Не ожидал от вас... Да черт с ним, с Гнездиловым! Пусть

заберет, но не все же заберет. Сдадим план, остальное ваше... Что вы ждете? Другой власти? Не будет. И рабочий сеять не приедет. Поверьте мне: не даст вам сгинуть Советская власть. Ваша судьба — сам бог начертал — землю пахать, и никуда вы от этого не денетесь. После собрания я оставлю сидельца в правлении — записывать желающих работать в колхозных бригадах. Их число и состав будет зависеть от расположения ваших пахотных земель и тягла. Прошу по-доброму: записывайтесь сами, без уговоров. Не запишетесь — создам бригады из высланных, вспашу, сколько сможем, но осенью вы у меня ни грамма зерна не получите. Зарубите это себе на носу...

Его прервал сильный мужской голос:

— Да ты охолонись трошки! — К крыльцу подошел плотный, низкорослый гуляевец, веснушчато-рябой, голубоглазый, с рыжим жестким волосом, коротко торчащим из-под сбитой набекрень старой кепки.— Тебя кем сюда назначили? Председателем? Так ты и веди себя председателем, по-нашему, головой колхоза, а не прыгай фертом городским.— И добавил добродушно, обратясь к собранию: — Его дразнят, як бугая весной, а он и рад стараться — орет так, шо бабе на сносях и слухать опасно... Ты нам лучше другое объясни: когда же наконец кончится наша треклятая жизнь? Советской власти двенадцатый годок минул, это правильно ты подсчитал, а живем мы еще хуже, чем до нее жили. В большой обиде на нее трудовое крестьянство! Як-то разговорились мы со Строковым — он человек понимающий,— и вышло по всем статьям, шо власть-то больше твоего рабочего голубит, его греет, а мы навроде батраков при ней. Ты не обижайся, я тебе от всего народа нашего говорю. Сам рассуди: с семнадцатого года у вас, коммунистов, только и заботы с нами, як бы с нас, крестьян, содрать поболе. То война с нас хлебец спросила, то проклятые продразверстки, то голодовки — опять ты, хлебороб, помоги, больше некому, то какие-то вспоможения, то самообложения, то всесоюзные хлебные фонды, то еще какая напасть. И все с нас спрос, не с рабочего; взамен — одни обещанья... Вспомнить, люди,— обратился гуляевец к толпе,— в двадцать первом году у нас неплохой урожай вышел, но к весне двадцать второго мы уже пухли с голоду, а к лету,— он сообщал Похмельному,— половина села вымерла. Сил не было

каждому покойнику отдельную могилу вырыть. Поленьями в одну яму складали! Это чудом наши дети в живых остались. Не помоги в то лето киргизы с кобылятиной — не уцелеть бы и детворе нашей. А с твоих рабочих ни один возле станка не помер! Голодали, но не мерли!

Гуляевец своим звучным рокочущим баском легко перекрывал шум остальных голосов. Похмельный хотел было дать ему знак взойти на крыльцо, чтоб гуляевцу сподручнее было бы обращаться и к нему, и к толпе внизу, но почему-то знака не дал, остался недвижим на крыльце.

— К двадцать пятому кое-как выправились,— уже тише продолжил тот.— Крестьянину, шоб встать на ноги после голода, надо лет пять жилы рвать, но опять-таки вы не дали бедняку-середняку окончательно подняться. То налоги подняли такие, хочь «караул» кричи, то ввели дополнительные обложения, то увеличили хлебопоставки, то приказали всевозможные займы на пятилетку государству делать... И чого вы только за эти годы не придумывали, лишь бы еще разок потянуть с нас хлебушко! Прошлой осенью совсем с ума посходили на своих хлебозаготовках. Забрали все, шо можно. По пуду на едока оставили на весь год! Это сколько же граммов моему дитю на день выходит? Не подсчитывал? Я понимаю: помогать стране надо, но вы бы хочь какое-нибудь различие между кулаком и бедняком делали. Кулаку сдать по планам больше, середняку — меньше, бедняку — помочь, кулака — окоротить.

— А разве не так? — не выдержал Похмельный.

— На словах! — отмахнулся гуляевец.— На деле — обратное. Да, сдавал он по хлебоналогу больше. Но вы кулаку послабления дали, разрешения всякие. У него было с чего начать. Хочешь земли поболе — бери, хочешь батраков нанять — нанимай, хочешь торговать — торгуй. А мы як бились в нищете спокон веку, так и до сего дня бьемся. Нами эти годы не вы, коммунисты, руководили, а кулаки. Исподтишка, шо хотели, то и делали, да еще на вас ссылались, нас, мол, коммунисты уважають, им такие хозяйственные зараз крайне нужны. А у вас за двенадцать годов до бедняков времени не нашлось? Руки не доходили? Чем же вы, спросить бы, занимались? Ты спрашиваешь: чем мы думаем, сеять отказываясь, а мы у вас, коммунистов, спрашиваем: а

вы чем думали? Яким местом? Да эти колхозы надо бы еще в двадцатом году создать! А к вам только в тридцатом дошло? Обидней всего, шо вы все в одну дуду играете. Кто б ни приехал — либо требовать, либо попрекать. Шо за напасть такая: каждый приезжающий всех сельчан одной меркой — под кулака — равняет? Да взять тебя: ты еще не знаешь в яком конце твоя квартира, без указки не дойдешь, а уже орешь: саботажники! Тебе бы нас послухать, пожалеть, раз ты насовсем приехал, а потом сообща и о рабочем подумать. Какой дурак тебе сказал, шо мы каждый день масло едим и сметанкой запиваем? Вы наших же обобществленных коров еще в декабре прошлого года на стройки, на мясо рабочим отогнали. И нас не спросясь! Где мы зараз эту сметанку найдем? Разве шо друг друга доить станем...

— Тебя, Кожухарь, господь бог для этого дела не тем выменем сподобил,— сожалеюще заметил кто-то из мужиков, и невеселый смешок, будто вздох, пробежал по сборищу.

— А ты Полухиным грозишь. Не стыдно? — укорил Кожухарь.— Этот Полухин и без тебя у нас в печенках сидит. Долго его помнить будем! И ты не хлопай по карману, не покрикивай. Мы не таких бачили, не таких слухали.

— И то правда: перед ним батьки стоять, деды сивые, а оно, сопля невбитая, орет на них...

— Постыдился бы!

— Тю-ю, дурной: кого ты середь них с совестью бачив?

Кожухарь продолжил:

— Правильно молчало наше правление — ему сказать нечего. Як с вами балакать? Вы ж одно знаете: хлеб вывозить и международной гидре головы рубать, все никак не дорубите, а мы тоже гегемоны, и вот ты зараз ответь: шо мы выгадаем, состоя в колхозе? Сколько вы мне грошей та хлеба за мои труды положите? Чого будет стоить ваш трудодень? Чого из живота я вправе на своем двору держать? А самое главное скажи: сдавать мы будем только по плану и не зернинки больше или после плана опять с щупами и наганами уполномоченные по заготовке хлеба нагрянуть? Заживем мы наконец по-человечески или нет? Отвечай, парень, сурьезно. Пока мы от вас твердого партийного

слова не услышим — ни одна душа на пахоту не выйдет!

Похмельный спокойно выслушал, страх давно исчез, и было странно, что он вообще возникал. Бояться ему нечего, здесь его не взять. Как-то само собой получилось, что правленцы оказались сзади, у двери. А он — на краю, у ступенек, один на один перед народом и вопросами... Он оглянулся и застал правленцев врасплох: на лицах застыло любопытство, с каким они слушали гуляевца, и нетерпеливое ожидание ответа нового председателя. И молчат... Впрочем он и не рассчитывал на их помощь. Чем они дышат — ему стало ясно в первый же день. Прав был Гнездилов, когда говорил, что местных активистов вяжут по рукам-ногам многочисленные родственные связи. Но связи связями, подумалось Похмельному, однако то дело, ради которого он собрал село, стояло выше кумовства. Почему же ему приходится сегодня доказывать это?.. И Похмельный, у которого еще не осела обида за «городского ферта», уверенно заговорил:

— Ты, дядя, меня на склизкое не гони. Не получится. Я к вашему разору касательства не имею. Почему вы позволили Гнездилову и Строкову разграбить ваше колхозное хозяйство? Где ты был, когда из села скот уводили? — спросил он у басовигого гуляевца и тут же наклонился к другому — тщедушному Ильку: — А ты, говорливый, почему вывозил на своих быках зерно на станцию? Приказывали? Я вот вызову сюда Гнездилова, ты и ткни его в то, что он приказывал... Боишься? Значит, меня можно, как бугая весной, дразнить, а ему перечить кишка тонка? Раскусил я вас! — Похмельный торжествующе выпрямился. — Профукали добро, на прах пустили! Боялись? Теперь мне своим страхом тычете? Вы рассчитывали легко отделаться, мол, неизвестно, куда еще с этими колхозами вырулит, может, одними разговорами и кончится. Вот вы и вывозили пшеничку, позволяли скот угонять. От раскулачивания у райкома откупались! Да-да! А когда поняли, что колхозы — дело неминуемое, взвыли? Враскоряку стали: «Чи пахать, чи не пахать?» Будете вы пахать, дорогие колхознички, никуда не денетесь! Заставим... Скажите на милость, какие они обидчивые! Советская власть, оказывается, их батраками держит... Это тебе Строков, «понимающий» человек, нашептал или ты своим умом

дошел? Да эти двенадцать лет она из кожи вон лезла, чтобы только укрепить страну. Мы после гражданской войны, кроме полнейшей разрухи и страшного голода, ничего не имели. Вы здесь отсиделись в бурьянах, а там,— он указал на запад,— война лучших людей выбила, громадное сиротство оставила. На заводы жутко смотреть было. Страна все силы на восстановление и стройки кинула. Каждую копейку с расчетом... По восемнадцать часов горняки из шахт воду черпали, на заводах сталь варили, строители лопатами котлованы рыли. Мы армию вооружали. Не займись мы в первую очередь этим, нас бы давно, как лягушат, подавили. Пахал бы ты, дядя, сейчас под батогом какого-нибудь иноземного капиталиста, и никаких бы уговоров не требовалось. Советская власть о вас, деревенской бедноте, помнила с первого часу. Первым документом был Декрет о мире, вторым — о земле, о вас, значит. Помнила, да вот помочь вам у нее ни средств, ни сил не было. Потому-то и дали волю нэпману и кулаку. Другого выхода не было.— Похмельный вспомнил разговор с правленцами сразу же после расселения, Игната Плахоту, и гневно спросил: — Вы, беднота, могли дать городам, заводам и шахтам хлеб? Нет! Сами голодали! Чего же вы теперь, головы садовые, нас кулаками попрекаете?! Но сейчас, когда она, родная, поднялась... — у него на миг перехватило взметнувшийся голос и горячо стало под веками,— окрепла! — загремел он с крыльца над головами колхозников,— она всем сердцем к вам повернулась! Пятьсот миллионов рублей выделила на строительство колхозов! Налоги отменила на два года, кулаков выселила, чтоб вам жить не мешали, перегибы осудила, двадцать пять тысяч рабочих направила в помощь, трактора шлет, семенные ссуды дает, кредиты долгосрочные на покупку машин открывает! Это ли не помощь! Да как у тебя только язык повернулся попрекнуть ее! — насел он сверху на оторопевшего Кожухаря.— Кулацкие слушки среди народа сеешь? И вы, все остальные, старательные «колхозники», попридержите языки! — крикнул он притихшему собранию.— Сеяться надо, а не обиды подсчитывать. Вам рабочие тоже могут счетец поднести, есть за что...

Медленно поднялся на крыльцо Гриценяк, молча прошел за спину, к двери, следом пытался подняться и тщедушный Илько, но его осаживал комендант. Пох-

мельный окликнул их, и через миг, подобрав полы лапсердака, Илько оказался рядом.

— Нехай ты нас уговорил, нехай мы согласные! А толку-то с того сева! У нас девятнадцать коней и сто четыре быка, и то часть из них не в строю. Надия на твой колхоз во какая,— он отмерил на грязном мизинце мизер и поднес к носу Похмельного,— потому и потерлись быки на наших огородах... Считай: на пахоте будет работать человек двести пятьдесят, от силы триста. Это вместе с плуготарями, погонычами и ездовыми. А остальных колхозников и твою сотню высланных мужиков куда определишь? Они ведь осенью тоже хлебца спросят?! Я еще баб не трогал. Их учесть — числа не хватит. Твой Гнездилов наказал вспахать в эту весну девятьсот десятин...

— Гектаров,— поправил Похмельный.— Гектар меньше десятины.

— Ты нам памурки гектарами не забивай,— огрызнулся Илько.— С Гнездиловым будешь мерять гектарами, а мы десятинами... Ты считай: две пары быков при великих трудах за день вспашут без трети десятину, четверо коней — и того меньше, и получается, шо те девятьсот десятин мы до июля пахать будем, когда травы в пояс поднимутся. Считай дальше: на каждую десятину идет шесть пудов семян. На девятьсот десятин пойдет пять с половиной тысяч пудов. А у нас вместе с кормовым зерном и трех тысяч не наберется. Строков, собачий дух, твоим высланным сразу выдал пятьдесят пудов. О куда наше зерно идет! Еще раз выдадут, и никакого собрания не потребуется... Погодить, люди, я ему еще не все сказал,— успокоил Илько вознегодовавшее собрание.— Ладно, засеем, шо есть, а осенью? — он вкрадчиво избочился к Похмельному.— Осенью весь урожай на план уйдет? Гнездилов составил его на девятьсот десятин и уже в Москву заслал! — Илько обличающе погрозил Похмельному пальцем.— Нам опять по пуду на едока оставят. Задарма работать гонишь? Ну, горластый, шо скажешь людям? — Выкрикнув это в лицо Похмельному, он стал спускаться с крыльца. На полпути остановился и, не оборачиваясь, пренебрежительно указав пальцем через плечо, закончил: — Присылают вот таких скороспелых, а мы страдай.

Похмельный окончательно успокоился.

— Я вам еще раз повторяю: к тому, что вы имели

и растеряли, я руку не прикладывал. Если тебя послушать, то нам вообще ничего не надо делать. Будем сидеть сложа руки и ждать, когда кто-нибудь приедет и засеет то, что осталось... Нет, не для того я здесь... Я буду требовать свое. Имеете вы, дядя, немножко больше, чем ты сейчас объявил.

Он достал из кармана списки и потряс ими в воздухе:

— Здесь фамилии тех, кто брал семена на очистку и сохранение. Оглашать их не буду: кто брал, тот знает. Так вот: после собрания задолжникам приказывается немедленно свезти семена к амбарам и сдать завхозу.

Двор охнул, будто его водой окатили, и взорвался криками:

— Тю, сдурел, так его давно нема!

— Кого грабишь, сволочуга!

— Не имеешь права забирать!

— Он, гад, его своим кулакам скормить хочет!

— Да где ж его взять? Еще зимой проели...

Похмельный повеселел. Под крики и свист парней он стоял молча, а про себя посмеивался. Он не боялся этой грозящей и оскорбляющей его толпы. Неким чувством он ощутил перелом в ее дыхании. Самое главное он им выложил, свои доводы они исчерпали, осталась мелочь, шелуха словесная, а угрозы он совсем недавно слышал куда опаснее. Он поднял руку, пережидая гвалт, потом сказал:

— Зря шумите. Делаю я это для вашей же пользы. Чем больше засеем, тем больше возьмем осенью.

— Нема дурных: тем больше с нас вывезут!

— Опять кого-сь кормить...

— А зачем тебе его отбирать? С нашим тяглом ты, те семена, шо есть, засеять не успеешь.

— Это наше зерно. Откуда оно взялось в тех списках, туда и вернулось.

— А те, кто на муку перемолол, тому як?

Он с силой, перекрывая шум, заговорил:

— Вы, разлюбезные колхознички, обманным путем прикарманили часть семенного фонда. Брали вы не урожайное зерно, а именно колхозные семена, оттого и план на девятьсот гектар. Понятно? Поэтому вернуть вам его придется. Кто не вернет семена — ответит по всей строгости закона, по сто седьмой статье. Издержал, проел за зиму — займи, купи, обменяй, но верни. Мы

не только семена — кормовое зерно провеем и пустим в дело. Посевную проведем полностью, чего бы нам ни стоило. Друг на дружке пахать станем, я сам лямку вздену, но засеем мы все, до последнего зернышка! Все меня слышат?.. Да тихо вы! — рявкнул он в толпу.— Орут, словно скотина, три дня не кормленная... Мои высланные больше не получат ни грамма с колхозного амбара. Пусть их кормит тот, кто выслал. Гнездилов обещал им муки на паек и каких-то коров... Здесь кто-то кричал, что на муку семена пустил? Вези муку. Попробую в районе обменять на семена. Насчет урожая — не волнуйтесь. Часть его сдадим государству, остальное — себе. Государству невыгодно вас обижать, оно в нынешнем году себе в убыток пойдет, лишь бы сохранить молодые колхозы, дать им окрепнуть. Я вам твердо обещаю: ни одного мешка сверх положенного из села осенью не вывезем. В противном случае я уйду с председательства.

— Ото зарука! Другого пришлют.

— Нашел чем пугать! Семь год мак не родил, а голоду не было.

— Да ты не жди осени, тикай отсюда сегодня же!

— А як ты будешь тот урожай делить? — спросила крепкая молодайка, выделявшаяся среди товарок ростом и нарядной одеждой.— В селе почти тысяча триста душ, и ты каждой насыпешь? Там того урожаю выйдет — в подолах по хатам разнесем.

Семен взглянул на парней и негромко съехидничал:

— Тебе он может два раза подряд всыпать, ты только повыше подол задирай, шоб больше вошло и удобней всыпать было...

Ближние мужики засмеялись, молодичка смутилась, и Похмельный поспешил ей на выручку:

— Правильный вопрос, жаль, что его женщина задала, а не тот, кто смеется. Я уже говорил: хлеб получит только тот, кто будет работать в колхозе. Вышел ты сегодня на пахоту — бригадир тебе ставит трудовой день, а осенью подсчитываем, у кого сколько набралось. Набралось, например, хотя бы у тебя, дядя, с марта по октябрь двести — триста трудодней. При урожае, я слышал, кладут по одному-два, а то и по три-четыре килограмма зерна. И получишь ты... Сейчас... — он достал измызганную тетрадь, прикинул нехитрым расчетом.— Грубо говоря, получишь где-то пудов пятьдесят, а с же-

ной все сто. Это почти двадцать мешков пшеницы! — объявил он и испугался объявленной цифры — настолько она показалась ему большой.

Кто-то потерянно присвистнул:

— Вот так колхоз! Дождались христова праздничка...

Ему разочарованно отозвался другой:

— Тю-ю, выходит меньше, чем в единоличии!

Остальные подхватили:

— Не густо!

— Лишнего кабанчика не продержишь.

— Сам, не хуже кабанчика, на пойло перейдешь!

— А ведь упреждали умные люди: не лезьте в колхоз — старцами поделают, на то и вышло...

— Вам мало?! — вскрикнул Похмельный.— Пятьдесят пудов — себе на прокорм, десять — птице, остальные сорок — на продажу... А деньги... еще деньгами... А как же! И мало? Креста на вас нету! Это в первый год, потом, может, скотом разживетесь, трактор пришлют, больше засеемся... Мало!.. Попривыкли здесь! А где больше? Где сейчас лучше? Или вы хотите в первый же год колхозными куркулями зажить?

— А хорошо бы! — засмеялась молодица, ободренная председательской поддержкой, и шутливо толкнула плечом соседку.

Кто-то из баб поддержал:

— Чого б не жить? Власть давно наша...

— Да не дадут! — негодующе вмешался Илько.— У них все не слава богу: то неурожай где-то, то помогай кому-то.

Ему с полной серьезностью посоветовал Семен Гаркуша:

— Правильно, дядько Илько, не богатей. Не то обворують або обкулачать.

Мужики опять засмеялись, улыбнулся и Похмельный: хиленькая твоя поддержка, Семен, однако спасибо и за то, что она проявляется хотя бы так, в шуточках, но вот остальных правленцев, особенно этого предсельсовета, Гордея Гриценяка, надо бы отдать на расправу, за все сразу: осторожность, безделье, страх... Было бы по заслугам.

А по двору, словно по слабому льду, стремительно-тонкими расколами пролегало истинное:

— Будто ты раньше с трех десятин больше брал.

— Да то же самое!

— И из батраков не вылезал.

— Це вин с трех брав, а у кого одна-две десятины, та еще недород? Тоди и по двадцати пудов на прокорм не выходило.

— А голод, ты голод вспомни!

— И голод... С чого нам лучше було жить?

— Кто работать умел, тот жил!

— Во-во, такие, як ты, у которых по пятнадцать десятин было, и жили, а все остальное село голодувало.

— У Костомычей, так у тех сто пятьдесят десятин було. Шо ж теперь, всем колхозникам требовать того урожаю?

— Костомычам зараз под Архангельском дали тысячу десятин, правда, лесу, и сказали: пока весь не попилят — домой не выпустят...

— Тьфу, чумоватый!.. А случись у тебя в единоличии недород, шоб ты имел? Ты и зараз не богаче высланного, разве шо хата лучше!

— Может, он правду говорит? Не должно такого, шоб при колхозах все забирали.

— Конечно, и нам оставят, им невыгодно... Сеяться время, а мы торгуемся. Господь не простит...

— Рано! Мы об эту пору никогда не выезжали.

— Пидожди ты сеять! Спешишь, як Приська на ярмарку... Нехай усе расскажет и партийное слово даст!

— Яке там слово! С кого слово? Тоже мне — великий начальник! Вин сам ни черта не знает. Ему в партии места не нашлось, потому и до нас кинули: на тоби, боже, шо мени негоже.

— А кричит, будто важная цаца!

Похмельный чутко слушал каждый выкрик. Стронулось или это один из моментов людского сборища?

Илько завертелся у крыльца, замахал руками, но выше первой ступеньки подниматься не стал.

— Тихо! — привлек он к себе внимание.— Тихо, громада! Господь вам другого не простит... А ну, председатель, шо ответишь на такое...

Суть «такого» сводилась к следующему. Во-первых, откуда колхознику набрать триста трудодней, когда с сегодняшнего числа по октябрь нет и ста пятидесяти дней. Во-вторых, сумеет ли правление колхоза справедливо оплатить работу всем колхозникам, если одни будут горбатиться на тяжелых работах — пахоте, другие —

полегче: в конюхах, ездовых, водовозах, третьи — попросту дурака валять в завхозах, сторожах, учетчиках, счетоводах и на прочих легких должностях?

Подобная дальновидность Илька получила всеобщее одобрение:

— Ай, молодец! — радовалась стряпуха.— Этот знает, шо спросить.

Похмельный нагнулся к Ильку и спросил так, чтобы правленцы услышали:

— В счетоводы пойдешь? Я поручу тебе оплатой ведать.— Остальным сказал: — Будем оплачивать проверенным способом: возьмем колхозника с самой тяжелой работой и работой легкой. Тебе, например,— указал он на Кожухаря,— за твой труд на пахоте запишем два-три трудодня за день, а какому-нибудь малосильному водовозу — день. Вот и набежит у тебя к осени триста трудодней. Конечно, при условии, что ты работать будешь. Выберем честных колхозников, они поделят по совести. Ты только на работу выходи, а там оплатится.

— Врешь, собака! — крикнул кто-то из парней.

Похмельный недоуменно пожал плечами:

— Зачем мне врать? На мой век правды хватит.

— Ох, твои слова — да богу б в уши! — вздохнула старуха, стоявшая рядом с Кожухарем.

— Хорошо, хочь так. Бог с ней, с работой, лишь бы оплатилось.

— Мужики — те подсчитают.

— И на том спасибо.

— Гора с плеч!

— Чертовы активисты, чего раньше молчали!

Гарькавый оправдывался один за всех:

— Кто ж знал?! Строков не так объяснял...

— Не знал! — передразнила его стряпуха.— Тебе, короста хромоногая, все бы карасей ловить, а до людей нема печали!

Похмельный властно остановил галдеж:

— Мне вчера намекнули: если с вас строго спрашивать, то вы разобидитесь, растащите, что осталось, и выйдете из колхоза. Я вас предупредил, что ждет обидчивых. Высылать, может, и не станут, но выходцы никаких земельных наделов не получат, инвентарь, скот и зерно, если сдавали,— не вернем, личный огород урежем до одной грядки — под лучок на закуску...

— Самоуправством занимаешься!

— Он, точно, сегодня выпросит каменюкой...

— Мы не высланные, у нас права в силе!

— Надо прокурору жалиться, тот его быстро охолонить!

— Дав бог председателя! Дав та еще кинув, отошел и смеется...

Остановил очередную вспышку обиды Кожухарь:

— Из-за чего крик? Нам из села и выезжать-то не на чем — пять кобыльих хвостов осталось. Дожились козаки: ни хлеба, ни табаку... А ты, председатель, так и не ответил, вильнул в сторону. Часть людей на пахоте, а где же остальной народ будет трудовые дни зароблять?

— Найдем работу! — твердо пообещал Похмельный, но именно в этом он был меньше всего уверен.

— А бабы куда? — с тревогой спросила стряпуха.— У кого мужики есть, тем хорошо, а у кого их нема?

С ответом опередил комендант Иващенко:

— Ты же только шо орала — обзаведусь! Вот и обзаводись. Вон их сколько собралось. Зараз выбери, к вечеру обвенчайся, а с утра гони его в бригаду.

Похмельный не дал ему договорить:

— С вами труднее. Буду просить Гнездилова разрешить создание женских бригад. Чтобы все желающие могли работать на баштане и чигире. Овощи всем нужны, ну а детишек ваших... Не знаю, может, сумею выпросить должности в ясли... Да-а, крепко, я смотрю, с вами поработали или вообще не работали, не знаю как и сказать,— искренне удивлялся Похмельный под общее молчание.— Как вы жили: ничего не знаете, путаегесь. У вас, кроме Полухина и Гнездилова, бывает кто-нибудь?

— До нас только хлеб забирать приезжають!

— Кому мы нужны...

— Мы и Гнездилову не нужны!

— Одни лектора ездят, сказки про будущее кажуть!

Гриценяк наклонился к плечу Похмельного и, улыбаясь, шепнул:

— Не верь. Все они знают. К нам часто приезжают. Они тебя нарошно дергают, чтоб узнать побольше...

Похмельному опять болезненно припомнился день отъезда, это крыльцо и такая же ухмылка Гриценяка, с которой он шептал что-то на ухо Строкову, указывая

при этом глазами на исходившего сердечной болью и криком Похмельного...

Собрание между тем набирало силу. Мужики наседали со своим, бабы требовали немедленных разъяснений по женским бригадам, работе и оплате. С яслями им понравилось все, кроме названия.

— Шо за ясли? Чи по-другому нельзя було назвать? Будто в хлеву...

Семен уже открыто зубоскалил:

— Ничего, бабоньки. Христос тоже в хлеву родился. Какая вам разница, куда своих детей с рук сбыть?

На крыльцо снова, под улыбки парней, вскочил Илько:

— Вы, бабы, помолчали бы трошки. Обрадовались! Какой полоумок ваших детей нянчить согласится, хоть бы и за гроши?.. И ты, председатель, не дуже тут обещайся. Знаем мы цену вашим посулам! Мы, конешно, если не таиться, сеяться выедем. Мы всегда с десятого числа выезжаем, это на буграх землю сушит, а по низинам еще вода стоит... А сегодня мы так... щупаем вас. Тоже хочем прояснить, яким голосом в эту весну воспоете.

— Вот оно что,— засмеялся Похмельный.— А я-то стою и гадаю: чего они упираются? За что из меня-то воду вываривают? Оказывается, они меня щупают. Интересно, Строкова перед севом вы тоже собирались щупать или он весь ощупанный был?.. Ты продолжай, я тебя слушаю...

— Слухай, слухай, тебе не помешает... Конешно, проясняем! Если колхоз, так нас баранами куда хочешь гнать можно? Не-е, у нас тоже головы на плечах, тоже соображаем... Я вот не верю, шо нам хватит урожаю и государству сдать по плану, и людям трудовые дни оплатить. Хочь убей — не верю! Як бы сладко ты ни пел. Ты ж не Христос, если про него, вседержателя и заступника нашего вспомнили, шоб пятью хлебцами весь народ накормить. У нас зараз без одной души в селе ровно тысяча триста человек, да ты привел двести, и всего — полторы тысячи. И на всех хватит? Не верю! И вы, люди, ему не верьте! Обман в словах!

И вновь собрание восхитилось заботливостью Илька обо всем гуляевском народе.

В истрепанной тетради, где Похмельный вел записи во время этапа, нашлись чистые страницы.

— Давай считать, счетовод. С одной десятины вы берете по семьдесят пудов...

— Ого, який швыдкий!

— Казала Настя — як удастся!

— Який урожай, а то и тридцати не возьмешь.

— Где там! Хочь бы по двадцать вышло...

Похмельный упреждающе поднял руку:

— Вы казанских сирот из себя не стройте. Берете вы и по восемьдесят пудов, и по сто, и даже больше. Я же интересовался... Хорошо, давайте возьмем по пятьдесят для круглого счета и от всякого сглазу. Следовательно, с девятисот гектар... десятин... возьмете... сорок пять тысяч пудов. По словам Гнездилова, поставка государству составит треть урожая, не больше. Нам останется... ровно тридцать тысяч. Разделим их... Ладно, так и быть,— согласился он с Ильком,— округлим наши души, здесь на интересные цифры выходим... разделим на полторы тысячи и получится у нас... — Он считал внимательно и долго — не дай ошибиться, нолик упустить — и наконец радостно объявил толпе, которая нетерпеливым ожиданием, молча подгоняла его,— и получилось у нас по двадцать пудов на душу, в том числе и на грудную. На семью в пять душ — сто пудов. А если урожай добрый — все двести. Что, мало? — торжествовал он на крыльце.— Небось один хлебец на триста ртов делить не придется. Трудиться надо. Старание проявить.

— Грамотный, сволочь! — уважительно отозвались где-то среди парней.

— Считать умею,— улыбнулся польщенный Похмельный.— У меня вчера спрашивали: какие налоги будут установлены, что можно в хозяйстве теперь держать, сколько денег на трудодень и прочее. Отвечу прямо: не знаю, а врать не хочу. Все, что я сейчас сказал, я сказал со слов Гнездилова. Мне с ним всего полчаса о колхозе говорить пришлось. Вот соберем семенные долги, пригоним лошадей с зимовки, я вызову сюда Гнездилова, пусть он сам посмотрит, что мы имеем, и заодно расскажет обо всем. Он лучше меня знает. Но, думаю, большого хозяйства вам держать не позволят. Дай вам право и возможности, вы через год-другой превратитесь в тех же кулаков, каким мы недавно решку навели. Если с умом пустить в оборот,— а вы люди, я не сомневаюсь, умные,— всех коров, свиней,

телят и прочую живность да картошку со своих огородов, то можно сладко есть и мягко спать. Да еще продавать по бешеной цене рабочему, который непременно купит, потому как голодает. А про колхоз забыть. Зачем он вам в таком случае? Только для прикрытия... Давайте-ка, товарищи, заканчивать наш сход. Кто хочет — пусть записывается в бригады, остальные расходись, но думай: не совершил ли он ошибку, не записавшись. Кто брал зерно — вези к кладовым. Можно ругать меня на чем свет стоит, проклинать, но по первому знаку выскакивай на пахоту. Волынить вам я никому не позволю!

— Шо за людей ты до нас привел? — совершенно некстати спросил высокий старик. Он один стоял среди женщин, темнея лицом и картузом над белыми платками, и на каждый выкрик, глуховато вслушиваясь, медленно поворачивал голову.

Похмельный будто споткнулся, оглянулся на одного коменданта, поглядел вниз на другого... Нет, и на этот вопрос отвечать надо самому...

— Это высланные кулаки. Выслали их за то же, что и ваших. Работать они будут в колхозе. Возможно, со временем их уберут отсюда. Гнездилов сам еще не знает... Лишены они всех прав гражданства, выезд из села им запрещен. На общие собрания колхоза они не допускаются. Им нельзя собираться группами без присутствия комендантов.— Он помолчал, потом спросил с неловкой улыбкой и тихой надорванностью в голосе:

— Видели мое прощание с ними? Довели, сволочи... Среди них есть мои односельчане... Больная для меня история. Вы помогать — помогайте. Я не против. У них дети, старики. Вам с ними долго жить. Помогайте, чем можете... — Он встряхнулся и, разогревая себя, излишне весело крикнул: — Все? Отвели душу? Расходись, для первого раза хватит!

— Нет, ты подожди,— строго остановил его с поддержки остальных Петро Кожухарь.— Скажи: может наш колхоз строить шо-нибудь або земли прибавить?

Дельный вопрос потонул в пустом.

Толпа и не думала расходиться. Похмельный решительно махнул рукой — хватит! — и скрылся в правлении.

...Последние гуляевцы ушли со двора уже около полудня.

Но когда он возвратился с обеда, то с удивлением увидел, что двор снова полнится людьми — кое-кто решил-таки записаться в бригаду, а большинство пришло с одной целью: может, еще чего нового и хорошего сообщат. Он приказал отрядить нескольких человек на зимовку за лошадьми, завхозу Васецкому приказал неотлучно находиться у кладовых и принимать семена от должников. Трем бригадирам, в числе которых оказался и Петро Кожухарь, он поручил провести агитацию среди собиравшихся людей с последующим зачислением в бригады, а сам решил вместе с Гриценяком, Семеном и кое-кем из комбедовцев заняться инвентарем — свезти его в одно место, осмотреть и прикинуть, сколько его потребуется для сева и сколько людей нужно будет подобрать в помощь кузнецам для ремонта.

Но ничего не получилось — надолго засел в правлении. Семен ушел, взяв с собой комендантов и трех активистов, и Похмельному, по настоятельной просьбе Гриценяка и правленцев, пришлось самому вести подсчеты: сколько еще можно добавить работных мужиков в бригады, как распределить тягловую силу, какие установить сроки выезда в поля для каждой бригады, что выделить ей из инвентаря и даже, не зная местности,— вычерчивать для ясности размеры пахотных земель...

Считал, прикидывал, записывал, возражал и соглашался, а втайне радовался: есть у людей желание работать! Надо было Гнездилову не довольствоваться строковскими заверениями, а приехать сюда, на месте посмотреть, послушать колхозников, не побрезговать пройтись по селу, подсчитать вместе с ними,— может, и не случилось бы такого развала на сегодняшний день. Но когда ему, одуревшему к вечеру от крика, жалоб, бабьих причитаний, непомерных требований мужиков и бесчисленных фамилий, доложили, что за лошадьми отправятся не сегодня, как он приказал, а завтра, что из конюшни нынешней ночью пропало четырнадцать хомутов и три пароконных легчанки (Гриценяк прямо сказал: бежать собираются), что из шестидесяти трех должников только двое привезли семена — он будто в стену лбом ткнулся. Молча сгреб бумаги, угрюмо нахохлился; правленцы, видя это, тихонько разошлись. Он запер правление и побрел домой.

На другое утро он особенно тщательно выбрился,

начистил сапоги и пошел в правление с тяжелой решимостью продолжать во что бы то ни стало начатое дело. С теми мужиками, которых вчера посылал за лошадьми, поговорил мирно, и в прокуренном правлении опять поплыли вчерашние полупустые разговоры, но только лишь посыльные вышли со двора — он проследил за ними в окна,— вдруг неожиданно для всех со страшной силой ударил кулаком по столу и, бледнея, процедил сквозь зубы:

— Не-ет, это не работа, это — хуже саботажа... Надо кончать... — И вышел, оставив правленцев в полной растерянности.

Со двора громовым голосом кликнул комендантов и приказал им немедленно запрячь подводу быками — он сам пойдет по селу за семенным зерном; коменданты и Семен Гаркуша — с ним. Его страстная одержимость подействовала на других: перестал улыбаться Гриценяк и побежал за советами к Гарькавому; засуетился Иващенко, тщетно пытаясь скрыть свое нежелание идти за зерном, и в то же время стараясь угодить Похмельному. Он все шипел на Кащука, пока тот не выдержал, наорал на него и послал запрягать быков. Семен хмурился, а тех, кто пришел в правление побалагурить, точно ветром сдуло.

Через полчаса ко двору подъехала подвода, запряженная двумя тоскливо глядевшими в землю исхудалыми быками. На вопрос Похмельного, захватил ли кто мешки, комендант Кащук похлопал себя по карманам: на кутью бы собрать, а он про мешки... Иващенко сел возницей, остальные пошли обочиной, и, громыхая на рытвинах, подвода тронулась в дальний конец села, откуда они решили начать...

У первой же хаты должника их встретили так, будто они привезли какую-то заразу. Из дверей выскочила баба, ахнула, что-то крикнула назад, в темные сенцы, и замахала руками Семену, который уже вытаскивал жердь из воротных петель,— не въезжай!

Похмельный поздоровался.

— Не знаю, ничого не знаю, а хозяина нема...

Она горестно поднесла уголок платка ко рту, но в воротах встала решительно.

— Да? А говорили, будто Микола вернулся? — приятно удивился комендант.— Проведать приходил? — И повеселел: — Ага, тогда веди, Килина, нас в хату.— И

важно добавил: — Нашу текучую задачу на дороге не балакають.

— Знаю про вашу задачу. Нема пшеницы.

— Як то нема? Против вашей фамилии три мешка стоит.

Он хозяином пошел к хате, а баба умоляюще-ласково обратилась к Похмельному:

— Слухай, председатель, чоловиче хороший, пожалей ты их.— Она указала на мазанку, где на дверной порожек в одних рубашонках и с живейшим интересом на лицах вышло четверо ребятишек.— Мой куда-то на заработки в лесхоз пошел, обещал хорошо принести. Мы вернем деньгами або отработаем. Там той пшеницы на два коржа осталось... На шо тебе в первые дни такой грех... Алешка, ты ж клялся, шо вам хватит семян засеяться!

Кащук озабоченно нагнулся над колесом...

— Конешно, у меня легче всего забрать. Был бы сам дома... — всхлипывала баба, но за Иващенко следила зорко.

— Твой муж колхозник? — удивился Похмельный.

— Ну да! — обрадовалась она.— С первого дня в колхозниках. Всегда за ваш колхоз голосуем, дай бог ему и дальше...

— С чего же он, в таком случае, на заработки поперся? — недоумевал Похмельный. Он впервые узнал об отхожем промысле гуляевцев.

— Да с того и поперся,— еще больше волнуясь тем, что ее расспрашивают и, возможно, не станут забирать семена, стала объяснять баба,— шо никто не знает, куда нас господь с вашим колхозом выведет, а в лесхозе верная копейка. Мы ж люди темные, подсказать некому... — И жалобно попросила: — Вы бы не трогали нас, а? Идить до других, кто побогаче...

Семен мрачно дополнил у нее за спиной:

— Ну да, мы люди темные: любим грошики да харчи хорошеньки.— И пояснил Похмельному: — Ее Микола да еще кое-кто из наших подались на шабашку в лесхоз. Им обещали строевого леса вволю. С марта месяца вынюхивали, собирали артель. За строевой лес чего хочешь можно купить и выменять, и деньги хорошие, чего же не пойти...

— Что же это? — удивлялся Похмельный тому, что накануне первой посевной колхозники, бросив семьи и

землю, уходят на стороннюю работу.— В колхозе вы числитесь, семена взяли и присвоили, а чтобы помочь колхозу — того нету, за деньгой куда-то...

Иващенко между тем открыл двери сарайчика, и баба кинулась туда. За ней последовали остальные. Она решительно встала в дверях, всем видом показывая великую печаль.

— Хочь бы детей пожалели... С нищих последнее тягнуть, дождались от своей власти...

Похмельный проникновенным голосом, с каким он давно не говаривал, попытался убедить ее:

— Ну чего ты рюмзаешь, дорогая гражданка! Думаешь, мы по злобе пришли или твоих детей обидеть хочем? Для них же и стараемся. Ты кличь обратно своего мужика, пусть он в колхозе трудодни зарабатывает, здесь получит прямым хлебом и куда больше, чем в каком-то лесхозе. В выгоде останетесь! — И схитрил: — Вот записался бы он в бригаду, тогда другое дело, мы бы еще посмотрели: забирать или нет, а так мы обязаны возвратить в колхоз семена. Вы до осени как-нибудь на молочке перебьетесь. Если совсем невмоготу станет — поможем от колхоза. Но сейчас — сдавай. Ну, не все двенадцать пудов — сколько осталось...

Иващенко тоже подступил к ней вплотную.

— Нечего тут, Килина, сопливиться,— строго сказал он.— Нашу задачу слезами не размочишь. Вертай в колхоз семена по-доброму, иначе оформим твоего Миколу под суд.

Баба мгновенно стихла, выпустила фартук из рук.

— Ты глянь, яке оно розумне! Я тебе так оформлю, шо ты забудешь, як тебе звать... Вы куда мою корову дели? — гаркнула она Похмельному так, что он отшатнулся.— Вот когда ее вернете — отдам семена. Життя от вас не стало! Все выгребли, шо можно, у детей из рота кусок тянуть...

— Не загибай, тетко Килина,— поморщился Кащук.— Это он может поверить, а мы-то знаем, кто с чего живет. Осенью вы сорок пять мешков картошки пустили на продажь, из них двадцать на муку в районе у кладовщиков да начальников обменяли... Всю зиму мяском баловались. В марте твой Микола из колхоза телку забрал? Забрал, зарезал и — половину киргизам продал, а половину себе оставил. У тебя и зараз из две-

рей мясным попахивает... Давай не задерживай. У нас не ты одна.

— Вот и поняй до других, а я не отдам! Судить собрался? А тех, кто мою корову со двора свел, тоже будешь судить? — Баба с каждым мгновением становилась грознее.— Думаешь, если комендант, так тоби все можно? — наступала она на Кащука.— Мясо унюхал... А может, я с голоду хорьков варю! Если мого мужика нема... Сама оборонюсь... А ну геть отсюда, хабарники! — страшным голосом вскрикнула она и пошла на правленцев. Остановил ее скрип двери сарайчика, куда шмыгнул Иващенко. Баба подбежала и сильно толкнула в загривок коменданта.

Иващенко споткнулся, больно ударился головой об низкий сволок и упал в проходе. Баба этого никак не ожидала; отскочила в сторону, однако кричать не перестала, а когда комендант поднялся, кинулась к хате. Похмельный едва удержал Иващенко.

— Убью ведьму,— хрипел комендант и рвался из его рук. А Семен в чулане уже гремел ведрами, поленьями, выбрасывал на порог тряпки и сено, ему на помощь ринулся Кащук, и к тому времени, когда Иващенко стих в руках Похмельного, они выволокли из темноты сарайчика чувал зерна.

— Там еще есть! — крикнул багровый от натуги Семен и, приседая, понес его в охапке к подводе.

Действительно, в тесном коридорчике, среди загаженных курами поленьев, хранилось еще два мешка. Похмельный знаком предложил было один оставить, но Иващенко окатил его таким злобным взглядом, что он поспешил выволочь и последний.

А из распахнутых дверей хаты вместе с детским плачем неслись им вслед такие проклятья, какие можно услышать лишь в ругани хохлушек. Больше всего досталось Иващенко. Когда они кинули в подводу последний чувал, ему напоследок пожелалось такого, что комендант не выдержал, ответил, да так забористо да в лад, что его спутники отвернулись друг от друга, боясь расхохотаться.

Быков направили вдоль изгородей, не позволяя им привычно выйти на проезжую часть улицы, в дорожную колею.

Ударился комендант, падая, видимо, сильно, потому что, пройдя немного, снял кепку и бережно ощупал го-

лову. Оглянулся. Похмельный успел состроить сочувственное выражение, а Семен, не выдержав, расхохотался.

— Ну, залился, як цыган сыроваткой,— презрительно буркнул комендант.— Не того она, дура, толканула.

Засмеялись, словно получили разрешение, остальные, вынужденно улыбнулся и сам комендант. Похмельный смеялся, но на душе было скверно. Так взяли семена в хате, где нет хозяина. Что же будет там, где он окажется дома? Кому из них придется еще трогать, а то и бинтовать голову?

Иващенко остановил подводу, достал кисет.

— Ну, председатель,— осклабился он,— дальше пойдем или кончим на этом?

Похмельный кротко посмотрел на помощников и, изображая радостный испуг, горячо воскликнул:

— Что ты! Непременно дальше! Не все же нас толкать будут, может, где и к столу пригласят.— А сам старался не подставлять лицо под ненавистный ему сухой, теплый ветер, ровно и сильно дувший со стороны леса, со стороны пахотных земель.

XI

Еще в первый раз приехав в село, Похмельный отметил удивительное сходство Гуляевки с южными селами Украины. Гуляевку основали в начале века, когда по столыпинской реформе в казахские степи хлынули тысячи переселенцев из России и с Украины.

У главы русского правительства, незаурядного политика и дальновидного хозяйственника Столыпина, хорошо чувствующего огромную мощь созидательных сил русского народа, были все основания твердо заявить: «Дайте мне двадцать лет покоя — и я реформирую Россию». Видимо, точно знал, от имени какого народа, без опасения попасть впросак, можно делать подобные заявления. И не ошибся: результаты последовавших структурно-хозяйственных преобразований в различных областях экономики с применением лишь кайла, плуга и лопаты за какой-то десяток лет в стремительном рывке превратили отсталую Россию в одну из ведущих стран мира. Недоверчивые ухмылки на лицах политиков сменило выражение недоумения с изрядной долей почтительности.

Одним из коренных направлений всеобщей перестройки являлся вопрос землепользования — камень преткновения во всех начинаниях. В условиях самодержавия при огромных пустующих земельных площадях народ задыхался от безземелья. Столыпин решительно настоял на аграрной реформе.

Для осуществления намеченных целей он принимал те решения, которых от него требовал общественный строй капиталистической России; крайние меры, на которые был вынужден идти, предопределила принадлежность к своему классу и обязанности сановного поста, а жестокие формы в разрешении возникающих противоречий порождал сам дух времени — категория, не поддающаяся формулировке, однако несущая в себе железную неукоснительность выполнения, пренебрегать которой никому не дано.

При посредничестве печально известного Крестьянского банка, скупавшего за бесценок полосы крестьянской земли, Столыпин решил провести своеобразную «прополку»: малоимущим слоям русско-украинского крестьянства отдать на откуп окраины империи, а в сердцевинах России и Украины за счет освободившихся земель вырастить сотни «маленьких помещиков» — опору опасно накренившемуся после пятого года царскому трону. Блестящая на первый взгляд перспектива выхолостить начинавшее революционизировать крестьянство из рабочих центров страны, выселив его на задворки, принесла впоследствии неожиданные результаты. Горцы Кавказа, которые и без того чуть ли не в папахах приносили плодородную землю с низин, чтобы удобрить свои крохотные каменистые участки, под напором переселенцев вынуждены были тесниться выше в горы и лепить свои сакли подобно ласточкиным гнездам едва ли не на голых скалах. На просторах Азии вырубались «пид пшеницу та жито» миндалевые сады, сокращались хлопковые посевы, отбиралось самое дорогое — вода. Ничто не могло остановить переселенцев. Создавая так называемый земельный фонд, землеустроители с петербургского благословения отнимали земли под свои нужды.

Придя в Северный Казахстан, русско-украинские переселенцы с согласия губернаторов, уездных, волостных и земских начальников, водимые Переселенческим управлением, двигулись на лучшие земли, выгоны и па-

стбища, тесня казахские стойбища от лесов, речных излучин все дальше к югу — в пустующую степь с огромными сизыми проплешинами солончаков. Удар местному феодальному землепользованию, а заодно и духовной кабале, в которой держал бедняка казаха «родовой культ», был нанесен сильнейший, с необратимыми последствиями.

Переселенцы наглядно показали, что трудолюбивый человек может и обязан жить лучше, и, убеждаясь в этом, казахская беднота неоднократно обращалась с прошениями к правительству землеустроить их, как и переселенцев, однако всякий раз приходил решительный отказ. В аулах росло недовольство, появилось осознание своих социальных и классовых интересов. Окраины заволновались, задышали неведомым доселе мятежным духом и вскоре здесь прошли первые стачки с теми же требованиями, что и в центрах страны.

За все время переселения в одну только Акмолинскую область, в которую к началу века входили Омский, Петропавловский, Кокчетавский, Атбасарский и Акмолинский уезды, прибыло 508 443 человека. Поэтому как бы ни была несовершенна аграрная реформа, сколько бы ни таила в себе противоречий, каких только судеб и драм не стояло за ней — как бы там ни было! — но благодаря ей все же более полумиллиона русских людей в этих местах получили право на землю — право на жизнь.

И уж, конечно, никто не мог предполагать, что именно там, где расселилось русско-украинское крестьянство, через некоторое время, уже при Советской власти, с помощью тех же переселенцев,— именно там возникнут мощные экономические и культурные центры — средоточия научной и практической мысли некогда отсталых народностей царской России...

Саму Гуляевку основали переселенцы из Екатеринославской губернии.

Население близлежащих аулов яростно воспротивилось вторжению пришлых людей, по-сурчиному изрывших озерный берег их становища. Собирались конными отрядами барымтачей, грозились жечь постройки и посевы, полосовали нагайками одиноких землепашцев, но начальство гаркнуло, свои баи прикрикнули, муллы укоризненно покачали головами — и аульчане в конце концов смирились, годами позже совсем привыкли, завязал-

ся обмен и мелкая торговлишка между сельскими и аульными знакомцами.

Первое, что сделали переселенцы, дойдя до озерного берега,— очертили в угрюмом молчании просторный кладбищенский квадрат и похоронили умерших накануне в болезненной маете двух малых ребят, не выдержавших тысячеверстных дорог, а на другой день миром принялись за постройку не то часовенки, не то молельни, куда потом в чадную духоту свечных огарков по очереди ходили испрашивать неизвестно за какую вину прощенья и великого крестьянского счастья. После моленья торопились в поля. Там вбивали колья в белесое ковыльное безбрежье и, осветленные молитвой, рвали руками землю, нюхали, жевали, чуть ли не ели, поражаясь ее простору, и, вновь впадая в грех, рисовали воспаленным воображением картины будущей богатой и сытной жизни.

Каждый из них хоть с узелок, но донес, сохранил семена и теперь, наспех вырыв землянки, кое-как облепив их глиной, доставал зашитые в исподнее деньги, вырученные за проданное на родине хозяйство, по божеской цене прикупал лошадей и до хрипа в горле стал вспарывать вековой земельный пласт, укладывая в борозды бесценные зерна. В тревожно-сладостном ожидании урожая готовили сено, дрова на зиму, саман для будущих хат.

Вечерами, после изнурительной работы, над притихшей к ночи степью, озером, лесом, над дальними сопками с редкими, черно-сквозными мазарами в вечереющем свете и дальше ввысь — к изъязвленному мусульманскому полумесяцу поплыли неслыханные до сей поры в этих краях певучие украинские песни...

Но жили в страхе и боялись всего: чужого народа, начальников, дождливого лета, градобития, засухи, пожаров, дурного знамения, во всем усматривали тот или иной знак судьбы, уповали на бога и молились ему истово. Первый и запоздалый урожай оказался непривычно высок, и берегли его пуще веры христовой. Перебивались то рыбой, до тех пор пока она не залегала, то соленьями и сушеной ягодой, то молоком и только в светлый день позволяли досыта поесть белого хлебушка.

Года через три вдоль озера выросло большое село с прочными саманными хатами в прямых длинных улицах. Огороды охватили осокорями и вербами, в пали-

садничках завели акацию и терн, убрались во дворах, до синевы выбелили хаты и по давней украинской традиции трогательно обвели завалинки и окна цветными красками, и село удивительно преобразилось, похорошело, поражая округу чистотой и обилием колодцев.

Вместе с памятью о родине они донесли и точным сколком сохранили тамошние нравы, дух и все размеренное течение жизни южно-украинского села. С весны по глубокую осень — труд до гула в ногах и черноты на лицах. С осени до великого поста — время свадеб, уговоров, заручений, различного обмена и подготовка к новой страде.

Со временем определились крепкие семьи и дворы, проступили клейма бесталанных, неудачливых, бесшабашных. Обозначилось: кто хозяйствен, добычлив, умен, работящ и сдержан в слове, а кто брехло несусветное либо пьянь беспробудная или попросту — лядащь бестолковая; один скуп, другой щедр, третий набожен; этот — гуляка, песельник, вдовий утешитель, а тот — сам живет анахоретом и в страхе семью держит...

Привезли с родины скорбящего головой Юхима; позже, к великому горю родителей, появились свои юхимы, без которых, как известно, не обходится ни одно село. Порой женихались в явном кровном родстве. Учитель Никитин сердился, называл такие браки фараоновскими и предрекал им будущих юхимов, а отцу Феодосию из соседнего большого прихода за венчания грозил жалобой в епархию. И странное дело: чем больше родственных связей возникало среди гуляевцев, тем хуже становились отношения меж ними...

Но время шло, и выходило к дальнейшей жизни село крепким, зажиточным, с тяжеловесным укладом, при котором не позволялось сквернословия, блуда, воровства, с дружным выходом на крестные хода и мирские работы, со сладостно-многоголосым пением во христовы дни и хорошими подаяниями нищим.

Для полнокровной жизни пока вполне хватало едкого хохлацкого юмора, свар и сплетен соседок, вечорниц с непременными семечками, гопаками и россказнями до мурашек по телу да диких ночных забав парубков...

На редкость щедро платила здешняя земля за вложенный в нее труд. Вскоре гуляевцы стали выезжать на ярмарки. Вначале в волость, затем и в уезд. Меняли

пшеницу: у казахов — на лошадей, у лавочников — на одежду, плуги, скобяные товары, книги, резные комоды, кровати с пружинными сетками да блестящими шарами и прочее, о чем раньше и мечтать не смели. Через несколько лет Гуляевка стала не только красивым, но и одним из самых богатых сел округи, что не раз подчеркивал на земских собраниях в своих речах сам начальник земской управы господин Шевелев.

Пришло время подумать не только о спасении живота своего, но и о спасении души, и гуляевцы решили строить церковь, ибо не пристало крепкому, зажиточному селу справлять религиозную нужду в часовенке, да и перед богом совестно: сколько обещалось ему в трудные годы! Самые зажиточные собрали деньги и дали лошадей, менее имущие в жуткие декабрьские морозы — пока дерево не потянуло соки — поехали валить лес. Строили долго, на высоком каменном цоколе, с притворами, ризницами, закомарами и различными помещеньицами для церковной челяди, и только через несколько лет взметнула в голубизну неба золоченый крест сумрачная от продегтеванных бревен громада церкви. Из Н-ска вместе с колоколами, подсвечниками, хоругвями и большой иконой пресвятой богородицы привезли молодого худосочного батюшку со светлым, но далеко не всепрощенческим взглядом. С той поры во празднества, ярмарки, пожары и бураны разносился по азиатской степи мощный славянский гул большого колокола.

Война 1914 года быстро выдула патриархально-сытый душок, в котором нежилось богатевшее с каждым годом село. Когда в действующую армию призвали треть мужиков Гуляевки, она мигом притихла. Кончились недельные свадебные загулы и пьяный размах на престольных, свернулась торговля, сократились посевы. В ожидании недобрых времен стали приберегать хлеб, и они не замедлили сказаться. Пришли первые похоронки, привезли первых калек, к тому же взбунтовались казахи. Массовой мобилизацией на тыловые работы оборвалось их долгое терпение. Они подняли восстание. Громили волостные и разгоняли переселенческие правления и конторы, освобождали призванных, угоняли скот, уводили аулы.

Достались всем — и русским черносюртучникам, и местным баям. Под горячую руку попало и гуляевцам, кое-

что из земельных наделов пришлось вернуть. Впрочем, для Гуляевки это прошло безболезненно: из-за нехватки мужиков не успевали засеять и половины имевшегося.

Все, что происходило: война с убитыми, пропавшими и калеками, казахские волнения, забастовки рабочих на заводах и фабриках и многое другое — еще можно было понять. Верили и рассказам фронтовиков о сходивших с ума деревенских новобранцах при артобстреле и виде полей, усеянных изуродованными крупповской шрапнелью трупами; о двурушничестве и казнокрадстве царских министров; о беспробудных запоях полковых командиров; о любовно-религиозной утехе царицы с конокрадом, но то, что последовало дальше, в феврале семнадцатого — отречение самого царя от престола и народа,— не укладывалось в голове, денно и нощно молившегося богу, урожаю и царю-кормильцу. Последующие события заставили поверить. Революция и вслед за ней гражданская война выявили в Гуляевке то, чего меньше всего ожидалось. Оказалось, что благостная тишина и пасхальное целованье только прикрывали истинную жизнь села.

После первых постановлений Советской власти пошли по селу пугающие расколы. Медленно поднимались из глубины сельской жизни болезненные на срезах тяжелые пласты неведомых ранее мыслей, требований, решений. Многое вскрылось, многое можно было объяснить обидами, завистью, жадностью, леностью, доносами в волость. Не понимали одного: как можно проклинать ту власть, которой какой-то год назад все до единого гуляевца совершенно искренне желали здравия и вечности?

Несколько мужиков во главе с Гарькавым ушли к красным, несколько к белым, многие — в леса, подальше от тех и других, а те, кто остался, редкий день проводили без ругани, дележа, а то и мордобития. Правда, судьба оберегла Гуляевку от братоубийства и открытых боев, как-то вынесла из круговерти в тихую заводь, чего нельзя сказать о других таких же переселенческих селах. В одном из них жители подняли открытое восстание против колчаковских частей. Заняли оборону и три недели отражали атаки превосходящих сил белых, проявляя невиданную силу духа и величайшую преданность Советской власти. Подавили восстание с омерзи-

тельной жестокостью. Рубили женщин и стариков, не щадили детей — как же: уносили раненых... В ноябре девятнадцатого, когда Пятая армия вдребезги разбила колчаковцев и они беспорядочными толпами покатились на юг, к Китаю, все стало так, как и должно быть в селах при Советской власти, все определилось.

Если раньше их называли «справными хозяевами», то теперь называли кулаки, а соседскую помощь — батрачеством. У многих малоимущих разом отбило память на отчества «справных», шапок более перед ними не сдергивали, а от прошлого почтения и умилительного пожелания здравствовать не осталось и следа.

От новой власти ждали крутых перемен. Таких, чтоб беднякам земли побольше, а налогов поменьше, детей — в школу, в лавку дешевого товару, а за проданный хлеб — большую звонкую копейку. Ведь обещалось!

Прошло три года, крайний срок обещанному, но происходило обратное: требовали с сел. В двадцатом году по продразверстке из Н-ского уезда вывезли миллион двести тысяч пудов зерна, около двадцати тысяч голов крупного скота, почти сто тысяч коз и овец. Села пришли в смятение: господи, а дальше что? Дальше в округах вспыхнуло восстание в 50 тысяч повстанцев и начался страшный голод двадцать первого года.

Начался с того, что последний скудный запасец хлебушка ушел в жесткие руки уполномоченных и свои голодные детские рты. Первое время спасала птица. С утра ее гнали к озеру, где она, теребя носами в прозеленелой ряске, набивала утробу озерной нечистью, манила гоготом отощавших за зиму корсаков и вызывала особое рвение при обысках. Но без зерна перевелась и птица, кончилась картошка (ее тоже забирали), кончились колючие коржи из отрубей и жмыха, и гуляевцев уже не пугали страшные вести с Поволжья — жуткий оскал голодной смерти заглядывал во все гуляевские окна.

Первыми стали умирать старики и дети, за ними — молодые бабы, парни. Покойники неделями лежали в промерзших хатах, пока не набиралось множество, тогда мужики, кто еще в силах был ходить, рыли одну мелкую общую могилу и свозили под один крест...

Но вот о чем задумались позже: обнищали до рубища все, голодали и умирали во многих семьях и все же

впоследствии, когда полегчало, первыми поднялись на ноги именно бывшие «справные» хозяева. Выходит, запоздало припоминали мужики, не так уж и голодали, не так умирали?.. В том, что они быстрее других окрепли и набрали силу, сказались давние торговые связи, обширные знакомства в соседних селах и аулах, свой добротный инвентарь, который единственно не требовался уполномоченным по заготовке хлеба в трагично памятном 1921 году...

Партийную установку — в кратчайший срок ликвидировать последствия голода и обеспечить страну хлебом, используя при этом любую возможность: расширение посевов, найм батраков, разведение в неограниченном количестве скота — все, что разрешала и поощряла новая экономическая политика,— использовали все те же имущие люди, остальным такая возможность была не под силу.

К двадцать восьмому году разница в достатке между имущими и неимущими приблизилась к предреволюционной, но теперь беднота, наученная горьким опытом, стала осторожней. Вспомнились так необдуманно забытые имена-отчества, вернулась почтительность, оплата за батрачество оказалась «по совести».

Предшественник Гнездилова организовал в том же году ТОЗ, но лучше бы он его не организовывал, каялись позже активисты села, потому что остальные гуляевцы восприняли его образцом колхозов, о которых все чаще говорилось в печати и выступлениях приезжего начальства.

«Образец» не просуществовал и года. Поднять всю отведенную им землю тозовцы не смогли, на душу пришлось вполовину меньше, чем засевалось в единоличии. Под свист и улюлюканье они разнесли по дворам инвентарь и жалкий урожаишко.

Немногие остававшиеся в селах кулаки ликовали в открытую: сколько было сказано, сделано, перевернуто, слез и крови пролито, а вернулись к старому; голота никогда государство хлебом не обеспечит, крепкий мужик — опора любой власти, в том числе и Советской; а что картинки всякие малюют с пузатыми мужиками да непотребные представленья показывают на сценах, так то для отвода глаз, чтоб не так обидно было. Бывшие красные бойцы и партизаны ночами били кулаками в подушку, скрипели зубами, но молчали.

Выхода у них не было.

С приходом Гнездилова мало что изменилось. О возможностях и преимуществах колхозов слушали опустив головы, чтобы ненароком не расхохотаться, не пустить матом в лицо высокому начальству. После его речей шли домой и перепрятывали мешки с пшеницей в такие места, что потом сами с трудом находили.

Осенью двадцать девятого закончились события, в конечных целях которых теперь уже никто не сомневался. От нэпа остались лишь сладостные воспоминания. Недобрая чехарда в ценах на хлеб и промышленные товары, какую с попеременным «успехом» для рабочего и крестьянина навязывало правительство в последние годы, завершилась полным крахом крестьянина.

На рынке его труд окончательно обесценился. Не было смысла продавать за гроши хлеб, выращенный таким трудом, и хлебороб, в ожидании лучших времен, стал его придерживать. Но государство не стало на сей раз снижать цены на товары и повышать их на хлеб, как оно не раз делало, чтобы ликвидировать очередные «ножницы». Оно пошло другим путем — объявило настоящий бой крестьянству. Хлебозаготовки в осень двадцать девятого превзошли по своей жестокости продразверстки революции. Вначале объявили подворные разверстки. Сдали. Обложили еще раз. Еще раз сдали. Прошлись по дворам в третий раз. Кто мог, сдал и в третий раз. И опять показалось мало. При помощи созданных комбедов, комсодов, уличкомов, селькомов объявили кулаками середняков и еще раз обложили разверсткой. Те, кто не имел зерна, продавали скот и инвентарь, чтобы выплатить деньгами. У того, кто отказывался выплачивать, описывали и забирали под видом штрафа скот, птицу, домашнее имущество — по выбору комитетчиков. А когда надоело возиться с «подворками», штрафами, судами — вовсе упростили: все, что найдется при обыске,— в семфонд, семье оставить по пуду на едока. Авось дотянут!..

Дальновидные мужики еще с весны потихоньку свели на нет скот и посевы и теперь в письмах к далеким знакомым осторожно запрашивали: как там у вас? Найдется ль какая-нибудь работа при вашем заводишке? Почти одновременно с осенними хлебозаготовками началась коллективизация в здешних округах.

Чтобы не попасть в черные списки и уберечь своих

близких от раскулачивания и жуткой высылки бог весть в какие края, многие зажиточные и середняцкие семьи были вынуждены тайком выезжать из сел. Нередко поутру забегут к соседке за какой-нибудь надобностью, глядь — и двери открыты, и печь горит, и домашняя утварь на местах, но нет никого, пол пухом усеян, а там, где висели иконы,— лишь темные, в паутине, пятна...

Бежать воровски, крадучись, бросая нажитое и родное, теперь был вынужден тот, кто обжил эти, некогда дикие, места,— люди своеобычные, поражающие воловьей работоспособностью и выносливостью, медлительно-спокойные, добросердечные в быту и в то же время страшные в редкие минуты гнева, удивлявшие жизнестойкостью, с которой они выносили все тяготы и напасти,— люди крепкого славянского корня, восходящего к запорожским сечевикам и к древне-былинным русичам Киевщины...

Выезжали не просто жители, выезжал мастеровой люд — кузнецы, бондари, пимокаты, колесники, столяры, кожедубы, скотоводы, и все — хлеборобы.

Услышав о пустующих хатах, о якобы дешевых здешних хлебах, сюда съезжался совсем другой народ, помельче, кочующий с места на место с легкостью перекати-поля, не знающий землеробского труда.

Члены уличкомов, комбедов, комсодов, сбитые с толку райисполкомовскими указаниями, то круглосуточно вели никчемные подсчеты хозяйству, что неожиданно валилось им в руки в виде брошенных хат, инвентаря, построек, просторных огородов, то, опьяненные неслыханной властью, устраивали бесконечные собрания с обсуждением последних распоряжений и приказов; то, уже во время раскулачивания, гонимые тайным страхом самим не угодить в жернова массового избиения, кинулись на выявление будто бы затаившегося под видимостью середняка классового врага и на поиски укрытого им хлеба.

И мало кто из них за каждодневными собраниями, криками, драками, обысками, лозунгами, бойкотами, трагедиями при лишении прав, раскулачивании и высылке, за радостями и страхами, надеждой и разочарованиями,— мало кто замечал, как гаснут одна за другой кузницы, умолкают молотилки и веялки, останавливаются круподерни и ветряки, обваливаются пустые кошары,

приходят в негодность мосты и крытые гумна, затягиваются илом колодцы, разворовываются по ночам общественные и бывшие единоличные, ныне безхозные, строеньица... Если кто и видел, то помалкивал, а то, что создавалось десятками лет, разваливалось на глазах...

Указание организовать колхоз в Гуляевке привез в середине декабря в село назначенный председателем Строков. Взялся он за дело круто. Под страхом лишения прав и высылки, с помощью многочисленных районных работников во главе с предрайисполкома Скуратовым он в две недели загнал в колхоз всех гуляевцев. Не откладывая, тут же обобщил быков, коней и коров, собрал в семенной фонд достаточно семян, чем привел в неподдельное восхищение Гнездилова. В январские морозы заставил подремонтировать кое-что из амбаров и небольших скотных дворов, разбросанных по селу. Проделал он все это быстро и решительно, тонко дав понять активу, что с подобным руководством колхозами со стороны района он не совсем согласен, но, будучи лицом ответственным, обязан беспрекословно подчиняться и выполнять партийные установки. В районе действия Строкова получили горячее одобрение, его опыт был рекомендован остальным председателям сел. Но в селах отношения накалились до предела. И совсем немного оставалось до роковой черты, после которой неминуемо следовал взрыв, разносящий в прах и хорошее, и плохое, и молчание, и ожидание, и опасение за будущность своих семей...

Немало способствовал этому и сам Гнездилов. Когда в связи с угрожающим положением, сложившимся в обеспечении продуктами рабочих огромного края, райкому было приказано в срочном порядке поставить мясо, он заметался в поисках выхода и ничего не мог лучше сделать, как взять его из только что обобществленных хозяйств. В те дни из Гуляевки угнали половину колхозного стада. Его робкому заверению вернуть лошадьми никто в селе не поверил.

Не успели активисты и председатели селькомов и колхозов получить свое от разъяренных колхозников, снова поступает гнездиловский приказ: раздать жителям на очистку и сохранение семена. И отдал Строков (охотно брали) в первую очередь не тем, кто больше свез в амбары этих семян, а тем, у кого семьи большие: дескать, переберут от мусора быстрее, протравят. Что

останется к весне от этой «очистки», не знал, видимо, один Гнездилов...

Хорошо, что к этому времени подоспело постановление по борьбе с кулачеством, отвело от беды многие села. Появилась какая-то отдушина, вроде обещания бесплатно отдать сельской бедноте кулацкое добро.

Несколько гуляевских семей успели тайком выехать, некоторые замешкались, но кое-кто остался в надежде не увидеть против своей фамилии черного креста.

В раскулачивании и высылке Строков вновь проявил завидную решительность, предусмотрительность и, по словам предрика Скуратова, политическую бдительность.

Восемь зажиточных семей активисты сами определили к высылке. Под нажимом Строкова они скрепя сердце внесли в списки еще семь фамилий, которые вполне можно было отнести к середнякам. Но Строкову и этого показалось мало. Он съездил в райисполком, переговорил, его поддержали, и он тайно от правленцев и остальных активистов добавил в списки еще десяток крестиков. Узнал, когда будет эшелон, обсудил детали с Полухиным, заручился его поддержкой. Полухин свое слово сдержал: в назначенный день в Гуляевку прибыл едва ли не весь районный отряд вооруженных милиционеров с двумя уполномоченными по высылке.

Село ахнуло, когда огласили списки, но негодование гуляевцев уже изменить ничего не могло. К полудню все было кончено. Зареванные бабы помахали вслед саням, в которых увозили кричащих в голос высланных односельчан, и разошлись по хатам, где, схватившись за головы, отсиживались подавленные мужья, а через час в дымной поземке исчез и санный след...

С месяц после этого гуляевцы отворачивались друг от друга, не утешало и кулацкое барахло. А старания Строкова на том и закончились. После мартовской статьи, когда повсеместно прошел массовый выход из колхозов, он им выходить запретил, пригрозив недавней высылкой, поэтому выходцев в селе насчитывалось мало, но вот все остальное — скот, инвентарь, состояние скотных дворов, работу с людьми и работу в колхозе он пустил на самотек. Прошел слух по селу: якобы он, не имея права сказать открыто, тем самым дает понять людям, что колхозы — дело весьма ненадежное и неясное. Слухи порой действуют безотказней открытых разъяснений, тем более что в мартовской статье прямо говори-

лось о добровольности при вступлении в колхозы и, помимо всего прочего, о вине местных властей. В гневе уводя скот с общественных дворов, растаскивая инвентарь, сельчане теперь открыто попрекали районные власти: по вашей вине, оказывается, ныне такой разор и запустенье!

Местные партработники в растерянности бросили все силы на исправление ошибок и перегибов. Неделями мотались по огромному району, срывали голоса на общих собраниях, уговаривали вернуться выходцев и тем самым крепить колхозное движение. Не заезжали они только в Гуляевку — настолько были уверены в Строкове.

После окружного заседания бюро «по принятию и расселению высланных в эти районы кулаков» у Гнездилова вообще не осталось времени для поездок в дальние села.

А гуляевский колхоз «Крепость», по словам Игната Плахоты, безудержно катился вниз, словно сброшенная под гору бричка. Еще немного такого руководства, предупреждал он Похмельного,— продадут гуляевцы хаты под казахский аул да разъедутся куда глаза глядят. Похмельный, которому сейчас было не до обид и печальных рассказов о былой зажиточности села, назвал подобные разговоры и воспоминания капитулянтскими, чуть ли не контрреволюционными. Игнат злобно возразил, Похмельный, помня первую встречу, не сдержался, обозвал его замаскированным подкулачником, и они разругались, и ни тому ни другому не пришло в голову, что попреки одного и новая, неистраченная требовательность другого исходят от общего — заботе о дальнейшей судьбе села, колхоза, людей...

XII

Во дворе Игната Плахоты сидят четверо: Игнат, его дальний родственник — вдовый старик Мосий в неизменном картузе, в наглухо застегнутой старенькой косоворотке и в валенках, в которых он ходит круглый год, и сосед Игната Антон Кривельняк со своим приятелем Назаром Чепурным. Несмотря на молодость, Назар — личность известная. Раньше не было в селе шкоды, к которой он так или иначе не был бы причастен. Его отец издавна принимал на постой различных приез-

жающих, аульчан с обменом, кое-кого из местных хозяйственников, поэтому Назар всегда в курсе событий, слухов и цен в округе. Из родительского подчинения он давно вышел, дома покрикивает и ленится; отец с матерью ждут, как избавленья, его призыва в армию (ему второй год дают отсрочку по болезни) или женитьбы.

Но со стариками села он почтителен, при настроении умеет подолгу умилять их приятной рассудительностью в беседах о церковном и старческом, что, впрочем, не мешает ему на потеху огольцам, которые в нем души не чают и под страхом наказания не выдают его, в вывороченном тулупе захрюкать вечером под окнами или перебежать дорогу омертвевшей от страха старухе.

Мужики долго терпели его выходки — все какое-то развлечение при тоскливой жизни, но как-то Назар «переборщил» в шутке, и его сильно избили.

Дело случилось весной, под пасхальные праздники. К этому времени выводят телят из хат, скоблят столы и лавки, моют, белят, развешивают по иконам свежевыстиранные рушники и к чистому четвергу готовят бани. Моются вначале в крепком, с угарцем, жару мужики, затем идут бабы, за ними девки и последними — безгреховная детвора.

Приготовили баньку и соседи Назара. Со своего двора он случайно увидел, что мыться в последнюю очередь собиралась Василина, вдовая молодица, которую по известной причине недолюбливали замужние бабы. С ней у Назара были давние счеты. Кое-кто из мужиков мог тайком забежать к ней, отдохнуть от семейных забот, но лишь немногие и не надолго. Возможно, она вообще бы никого не пускала, да только трудно прожить вдове с двумя детишками в селе без родни и мужской помощи — за недолгий приют и скупую ласку. О том, чтобы ее проведал парнишка, не могло быть и речи — за мужика ей еще сходило с рук, если не считать битых бабами окон, но за подростка не простилось бы самими мужиками.

Назар к тому времени только входил в пору, и однажды, возбужденный самогонкой и лунной ночью, изнемогая в волнении и страхе, он попросился к ней. То, что ответила ему Василина, мгновенно отрезвило своей унизительностью, еще больше стыда он вытерпел на следующий день, когда она рассказала о его ночном появлении, подчеркивая свое благочестие, родителям Наза-

ра и односельчанам. Попыток зайти к ней он более не предпринимал, но обиду на Василину затаил смертельную.

В тот злополучный вечер, когда увидел ее с березовым веником, у него возник план мщения. Он зашел к соседям по пустяку, убедился, что, кроме Василины, все помылись и она уже готовится, вышел, пообещав зайти позже; сам шмыгнул в баню. Мазанул по лицу сажей и спрятался за огромной бочкой воды, где, хоронясь в жаркой духоте, ждал и лихорадочно скачущим воображением представлял испуг Василины, ее обезумевший крик, когда она, скликая встревоженных людей, себе на стыд и срам, голая побежит по двору, а он тем временем ускользнет и завтра будет до колик смешить приятелей смачным рассказом. Через несколько минут в предбаннике послышались мужские голоса. Назар растерялся: он узнал голос Митьки Чумака и его брата со взрослым сыном — соседей хозяина баньки. Назару бы ополоснуть лицо, брякнуть крышкой да сделать вид, будто зашел посмотреть, сколько здесь воды и жару, хватит ли ему, если он задержится с помывкой, но он в панике с грохотом, словно черт из табакерки, выскочил в предбанник. Дальше этого предбанника ему, перемазанному сажей, убежать не удалось: за попытку разыграть похабную злую шутку его били жестоко, как конокрада.

С тех пор Назар стал прихварывать и несколько поунялся. Он больше не участвует в разгульных ночных забавах, стал осторожней, хитрее, сдержанней в словах, но там, где наверняка можно остаться в стороне, часто угадывается его рука и злой язык молодого прохиндея...

Время готовить хозяйство к ночи, но у сидящих на завалинке теперь особых забот нет. Назар рассматривает знакомый до последней щепки Игнатов двор, смотрит сквозь жерди на ожившие к вечеру хаты, улицу, редких прохожих. Дед Мосий дремлет или, вскидываясь, глупо переспрашивает. Антон Кривельняк плетет из сыромятины нагайку. Всем скучно. Один Игнат сумрачно сосредоточен на своем.

Послышался дальний стук колес — в конце улицы, на въезде в село, показалась арба.

— Неужели так и сказал? — во второй раз, после долгого молчания, спрашивает Назар.

— Так и сказал, собака! — с неутихающей обидой отвечает Игнат. Он недавно во всех подробностях рассказал о своей стычке с Похмельным.

— Ну не обидно ли? Мало я этому колхозу отдал? Быков отдал, семена свез, на хлебозаготовках и высылке грехов набрался перед людьми, шо кобель репьяхов, а он меня — в контры... Ничего, я ему припомню. Надолго запомнит. Молодой, а ты скажи, какой кусучий!

— На хвост соли насыпешь? — пренебрежительно и лениво отвечает ему Назар.— В холодке вы все храбрые, а дойдет до горячего... Был я вчера на собрании, слухал его, приглядывался и скажу, что прижмет он вас похлеще Строкова, хочь и молодой. В своих хатах шепотом балакать станете.

— А вот тут ты брешешь, Назаре! — горячится Игнат. Мысль о том, что он не отплатит за обиду, особенно болезненна для него.— Не может быть, шоб не пришлось и ему слезы глотать. Припомню я тогда эту «контру»! Это все Гнездилов! И где он только берет таких? То, оказалось, белый офицер нам жилы резал, теперь этого припадочного пригрел. Да с любого нашего мужика куда больше толку в председателях. Взять того же Гордея: чем тебе не председатель колхоза? Или Петра Кожухаря. А этот? Гадость городская, и только, хочь и кричит, шо сельский. Семена оно пошло собирать, чтоб они ему в горле стали... Ох и смеялся бы я, если бы им где-нибудь накостыляли!

Но Назар его уже не слушает. Он идет к воротам и призывно машет рукой арбе. Она подъезжает, и все видят в ней старика-казаха.

— Здорово, Карабай-ага! — приветствует его Назар.— Куда это тебя носило по такой дороге?

— Из Басыря я,— отвечает старик и захлестывает вожжи на столбце.— К Бабатаю ездил.

— Ну и как он там?.. Чуешь, дед Мосий, к твоему знакомцу ага ездил... Не помер еще? Да ты проходи, садись,— радушно зазывает Назар.— Я тебе зараз такое расскажу, что ты всех своих друзей забудешь... Ты слышал, что у нас теперь новый председатель колхоза?

— Какое нам дело — старый, новый? Нам хорошего давай,— шутит старик, пожимая всем по очереди руки.

— А знаешь, что он собирается делать?

— Землю пахать?

— Ну, это само собой... Его, в основном, прислали

устраивать в колхозе хорошую жизнь. Всем по справедливости. У кого чего нет — тому то и дадут. У кого хата плохая — заставят отремонтировать, у кого огород маленький — добавить, кто сам не в силах дров заготовить — тому дров. Чтобы все честно. Для того и колхоз собрали. Вот у тебя, к примеру, раньше много было лошадей? Ну, не у тебя, у других киргизов, когда они в богачестве жили? О, много... А Советская власть их у вас р-раз! — и отправила русским на колбасу. Правильно я говорю?

— Правильно.

— Джалявы у вас отняли и отдали нам, так? С ваших земель и летовок вас турнули — и опять нам!

— Все отнял! — сердито ответил старик.

— О! Все отнял. Но Советская власть — добрый власть. Это не царский власть. Теперь все начальники в Москве плачут горькими слезами: зачем мы зря киргизов обижали! Исправлять кинулись. Вашим аулам уже два раза землю возвращали под пастбища. Тысячи десятин вернули. А вскорости еще дадут... Чего-нибудь...

— Лошадь будут давать?

— Э-э, нет, ага, лошадей вы своих хрен получите! — зло и довольно потер руки Назар, но тут же спохватился.— А может, и вернут! У них же семь пятниц на неделе. Но председатель, сам понимаешь, не вправе решать такие вопросы. Он, в основном, за справедливость в нашем селе перед законом отвечать будет. Вам, дедам престарелым, его в первую очередь обязали помочь. Он вам всем поможет, а тебе, дорогой ага, в особенности. Карабай, говорит, у нас самый старый киргиз в селе, стыдно не помочь, с него и начну, потому что у нас теперь всяческая дружба народов и никакого угнетения. Вот так! — Назар сцепил руки в крепком рукопожатии.— Это он всем говорил и просил, чтобы тебе передали. Сказал: пусть старик приходит, чего пожелает — то и получит. И чтобы не задерживался: ему ответ надо отписывать, что он с вами, стариками, разделался...

— Лошадь пусть дает, больше ничего не надо.

— Тьфу ты, привязался со своими лошадьми! Он сам от хорошего коня не откажется. Но не до коней ему зараз. Ему с району приказали срочно заняться семейной жизнью стариков. Тебе, например, он обязан бабу подобрать.

— Бабу? — не понял старик.— Какую бабу?

— Обыкновенную. Нашу гуляевскую бабу. В годах, конешно, ту, которая одна живет. Вдову. Приказ такой сверху пришел: немедля обеспечьте на местах спокойную старость престарелым! Уже распределяют... Не знаю, как кому, а мне лично такое распоряжение нравится. Вот скажи: что у него за жизнь? — указал Назар на Мосия.— На каждый пустяк по бабьему делу надо идти кланяться. Да и ты, Карабай-ага, живешь не лучше. Живешь ты с сестрой, оба старые, земли у вас нет и не было, зимой у вас в хате хочь собак гоняй, голодные, холодные... Грех говорить, но вдруг помрет сестра. Останешься один. Сыны твои хочь и заделались какими-то начальниками, однако же на стройках, тягать тебя по палаткам не хотят. А родня...— Назар безнадежно повел рукой.— Пока жив-здоров — родня, а совсем состаришься — и родне не нужен. Больно ты нужен зараз в своем ауле? Так-то... По мне — ты живи еще сто лет. Но когда-то и тебе черед придет, а кружку воды и то подать некому...

Чего-чего, а выжимать легкую старческую слезу Назар умел.

— А бабы одинокие лучше живут? Возьми Сидорчиху. Хорошо, если зять поможет, а если не захочет? Подыхай, старуха, с голоду. А тетка Орина? Помнишь, прошлой зимой ходила под окнами, христом-богом просила муки на хлеб? Во как оно живется одиноким! Разве это жизнь? — скорбно заглянул в глаза старику Назар.

— Плохой жизнь,— грустно согласился Карабай.

— А зараз пойдет хорошая! Распределят вам, кому с кем, или сами выберете — и живите на здоровье! Колхозу семейным-то легче помогать, чем одиноким,— затрат меньше. Чтоб попаровать вас, тоже помощь нужна... Ты встречал такую бабу, которая сама бы просилась мужику в жены? И я не видел. Они в этих делах страшно стеснительные. Особенно старухи. Может, Орина давно на тебя глаз положила, да напроситься не смеет, а ты ходишь — мотню зашить некому. Теперь колхоз поможет им побороть природную стыдливость,— продолжал Назар с грубоватым добросердечием в голосе.— Наверху так постановили: старикам — уход и ласку. Никаких вдов, вдовцов и нациев. Русский, казах — власти безразлично. Равноправие. Лишь бы вы доглядали друг за дружкой. И ты, например, можешь взять

себе русскую в нашем селе, а не искать где-то в аулах. Не молодую, но не такую уж и старую. Ты ведь у нас еще крепкий джигит, а? — Назар шутливо толкнул старика и незаметно подмигнул Антону — помогай!

— Брешешь ты! — рассердился Карабай. — Какое право он может так давать!

— Это я брешу? — всполошился Назар.— Да ты кого хочешь спроси!

— Правда, правда, Карабай,— серьезно подтвердил Антон.— Я свидетель. При мне разговор был. И не у нас одних. С этим приказом во всех селах такая морока. Да оно давно пора!

— Я брешу! — негодовал Назар.— Над старым человеком смеяться... Да накажи меня господь... аллах, если брешу! — и, набожно скособочив голову, он воздел руки кверху.

— Ты вот шо, бывшая угнетенная нация,— деловито советовал Антон,— ты не рассиживайся здесь, а немедля дуй к председателю, пока еще в нуждающихся числишься. Тут, боюсь, к утру и до замужних доберутся... Требуй Орину и не раздумывай. Свадьбы вам не надо, соберет она свое гайно в узел — и к тебе. Или ты к ней. Потом еще за спасибо напоите нас до обмороку.

— Да что ты его уговариваешь? — оскорбленный недоверием, рассердился Назар.— Не хочет — не надо, было бы предложено... Только ты смотри, бабай, как бы твой друг мурза не опередил тебя. Он до наших баб большой охотник...

И оба парня скучающе перевели разговор на другое. Игнат тяжело посмотрел на них, смолчал, но, видимо тяготясь услышанным, поднялся и пошел к клуне, где у закрытых дверей уже собирались к ночи летовавшие в ней куры. Ему тяжело было смотреть на обоих стариков. Они с каждой минутой все больше верили топорному вранью двух лоботрясов. Сообщение Назара потрясло Мосия. Когда Карабай, всячески стараясь показать свое безразличие, посидел еще немного и уехал, он с гневом зашипел Назару:

— Це правда? Чого ж ты мовчав, бисова душа! Киргизу — бабу, а нам? Я вже седьмый год один бедую.— И, высоко задрав крутой подбородок в серебристо-черной щетине, неожиданно молодо и громко крикнул: — А ну, Гнат, ходим до головы, нехай и нам когонибудь подбирае.

Игнат выругался и приказал ему привести телка с выгона, а на завалинке молодой смешливый Антон заходился в хохоте...

К вечеру, вопреки всем ожиданиям, Похмельный с напарником собрал около двухсот пудов семян. Это тем более радовало его, что собирали они не выборочно, а по порядку хат в улицах, следовательно, подсчитывал он, с оставшихся должников можно взять еще пудов триста и, значит, засеять более восьмидесяти гектаров.

Стычек, подобных той, что произошла в первом дворе, больше не было. Остальные сдавали семена более или менее мирно, с обычными в таких случаях плаксивыми просьбами баб (а вдруг оставят?) да крепкими словцами мужиков, что, если вдуматься, меньше всего относилось к новому предколхоза и его помощникам. Коменданты и Семен воспринимали ругань болезненно, хотя и скрывали, бодрились в шутках и начальственных окриках, ну а для Похмельного, который совсем недавно занимался высылкой, сбор семян проходил без всякой нервотрепки. Встречавшиеся на пути высланные своим изможденным видом мучили куда больше. Человек семь сами привезли семена, кое-кто пообещал привезти завтра.

То, что село некогда было зажиточным, он узнал и по рассказам напарников, и сам понял по множеству крытых тесом дворов, каменных сараев, завозням, клуням, различным пристройкам, по громадной мельнице и трем ветрякам за селом: не для красы же строили, зерно через них перепускали...

Он хорошо разглядел дороги, подворья, познакомился со многими гуляевцами. С ним здоровались, разговаривали, зазывали передохнуть, выходили из хат старые и молодые, встречались, кланяясь, старухи, приподымали, встретив подводу, картузы старики, подолгу расспрашивали, но многие избегали встреч и вопросов, отмалчивались или сетовали на жизнь, большинство людей в селе не верило в колхоз и ругало на чем свет стоит все существующее начальство.

Уже в сумерках они в последний раз свезли семена в амбары и пошли в правление. Там еще мудрили над списками бригадников и выездом на пахоту. Помимо трех мужских бригад, правленцы составили одну жен-

скую бригаду, куда так же набиралось немало желающих.

Правленцы несколько раз пересчитали инвентарь, распределили его по бригадам, определили нормы вспашки на тяговую силу и разнолемешные плуги, наметили места засева культур. Теперь требовалось выбрать учетчика, еще одного завхоза в помощь Васецкому, объездчика, толкового счетовода, найти двух-трех знающих поливное дело мужиков для работы в женской бригаде на чигире и баштанах, подобрать, как требовал район, понимающего человека на должность полевода и еще решить уйму мелких, но необходимых вопросов.

Тяжело давались гуляевскому активу эти выборы. Мало того, что дело было новое, каждый из заседавших пытался рассуждать не только справедливо и с пользой для дела, но и так, чтобы себя не обойти, а тем паче не позволить какому-нибудь здоровяку занять «должность» выгодней и легче.

Когда Похмельный вошел в правление, они обрушили на него все сомнения с просьбой подсказать, посоветовать, а он недоумевал: да кому же, как не вам, выросшим на этих землях, лучше знать и своих односельчан, и само дело?

Но все было более или менее ладно, несмотря на усталость и мелочные расчеты, если бы не главный вопрос: где взять тягло на пахоту? С тем его количеством, что имелось в наличии, колхоз вспашет чуть больше половины планируемого. К тому же в бригады уже набралось столько людей, что каждому едва ли по загону достанется. Только и всего, что подержатся за чапыги, а за день на пахоте два-три трудодня, будь добр, запиши. И сколько их еще запишется? А высланные, которых тоже надо определять в бригады, потому что, не работавши да еще с нормой на человека, они не получат пайка?

Чье-то предложение одолжить лошадей у казахов отмели сразу. В последние годы они все реже наезжали в село с обменом. По словам Гарькавого, это происходило потому, что аулы все меньше зависели от русских сел. Научились сами и рассадники разбивать, и картошку сажать, и поля под пшеницу распахивать. Но основной причиной, считал Гриценяк, был угон скота из аулов. В селах с животиной делов наворочали, а в аулах и того хлеще...

«Ехать надо к Гнездилову, у него просить!» — реши-

тельно советовали правленцы. Об этом подумал и Похмельный, да только не верилось ему, что Гнездилов поможет с лошадьми (о быках никто и не заикался). Однако другого выхода не было, ставить район в известность о положении дел в колхозе когда-то надо, и чем быстрее, тем лучше. Решили, что поедет Похмельный после того, как пригонят лошадей с зимовки, а он тем временем соберет с должников оставшееся зерно. Выходило, что ехать придется дня через два, в самом начале посевной.

Он поблагодарил всех за старание и посоветовал идти отдыхать — на сегодня хватит, не все сразу. Сам задержался в правлении. Проветрил комнаты, достал список высланных. Хотя он ему не требовался — всех знал пофамильно, поименно, по лицам, взглядам, знал, о чем думают, чем живут, над чем тоскуют и плачут в долгих сумерках позднего вечера...

Разбивать длинный столбец фамилий не было смысла: в бригадах и без них хватает людей и если Гнездилов не поможет с лошадьми, треть рабочего люда в селе до сенокоса может остаться без работы...

Неожиданно в оконце легонько постучали. Он оторвался от бумаг, отставил лампу в сторону, подслеповато вгляделся: в фиолетовой черноте стекла неясно скользнуло чье-то лицо и тотчас исчезло.

Он насторожился. Время позднее, мало ли... Быстро проверил наган и встал в простенке напротив входной двери, готовый ко всякому.

В сенцах послышалась возня, и в комнату вошел старик-казах. У Похмельного отлегло от сердца. Старик заглянул в другую комнату, за печь и только тогда поздоровался:

— Здравствуй, баскарма!

Похмельный сел за стол, знаком предложил сесть старику. Оба с интересом поглядывали друг на друга и молчали. Наконец Карабай осторожно спросил:

— Ты людей собирал, говорил в колхозе жизнь всем хорошая будет. Говорил?

Похмельный кивнул.

— Старикам тоже хорошо будет жить?

— Это уж как получится...

— Ты говорил: кто один живет, должен вдвоем жить?

Похмельный припомнил недавнюю встречу у леса и скупо улыбнулся:

— А ты, дедок, зачем припожаловал? Не за хорошей ли жизней?

Карабай продолжал уточнять:

— Ты говорил: все старики, кто один живет, должны вдвоем жить? Бабы и мужики, все вместе.

— Что-то я не припоминаю... А они так и должны жить, вместе. Вместе лучше. У нас треть села вдовствует. Чего же хорошего?

— Тогда скажи: какая баба должна идти со мной жить?

— Не пойму тебя... Да тебе что надо, дед?

Старик все понял и спросил потерянно:

— Ты не звал меня?

Похмельный недоуменно пожал плечами, и Карабаю пришлось рассказать о своем разговоре с Назаром.

Похмельный догадался: старика кто-то зло разыграл.

— Обманули тебя, дед! Наврали, мерзавцы. Нашли над кем шутить... Такого права не то что я — самый высокий начальник не имеет. Хотя бы не мешало постановить...

— Ай, Назарка, брехун! — восхищался старик обману и сокрушался собственной доверчивости.— Очень хорошо говорили. Антон сказал: все правда, иди. Я немножко поверил... Игнат почему молчал?

— Вот пойди и плюнь в морду тому Игнату...

Старик на минуту задумался и вдруг попросил:

— А ты, баскарма, все равно прикажи. Пусть ко мне Орина идет жить... Почему нельзя? Разве ей одной хорошо? Все равно каждый день в гости ходит.

Он вспомнил воздыханья Назара и рассказал Похмельному, каково живется человеку в одинокой старости.

— Помирать буду — кружку воды подаст,— веским доводом закончил он и смущенно улыбнулся.

— Да разве я против, дорогой ты мой! — Эта улыбка особенно растрогала Похмельного.— Но меня за такое распределение знаешь куда направят?! Такие дела лично решаются. Почему бы тебе самому ей не предложить? Что здесь такого? Везде так делается. Или вызови сестру из аула, пусть она словцо скажет...

— Говорила сестра ей,— замялся Карабай.— Не хочет... Понимаешь, разная вера... Мы то не кушаем, ей другого нельзя... Разговоры... Все брехать будут...

— Выходит, каждый день угощаться можно... Чем угощаешь?

— Чай пьем...

— Чай пить можно, а по закону за казаха выйти вера не позволяет? Ты ей, дуре, скажи, что...— Похмельный хотел было посоветовать кое-что из личного опыта, но, вспомнив, что перед ним человек в годах, сдержался.— Почему своей веры жену не ищешь?

— Нашей веры вдов мало,— вздохнул Карабай и напомнил о бывшем многоженстве казахов.— Может, где есть, но кто хочет в русское село ехать? Тоже приказать надо. Ты, баскарма, прикажи Орине...

Похмельному начала надоедать такая настойчивость.

— Ладно, дед, поговорили, и хватит. Не морочь мне голову. У меня и без тебя хватает под самую завязку. Если надо помочь по хозяйству — пожалуйста, пришлю людей. Ничего не надо? Тогда будь здоров и больше брехунов не слушай.

Карабай покосился на окна и налег на стол.

— Баскарма, хочешь, я тебе лошадь дам? Но ты никому не скажи. Хочешь? Пусть Орина ко мне приходит...

Похмельный помрачнел.

— Дед, иди отсюда по-хорошему. Второй раз я с тобой встречаюсь — и второй раз тебя выпроваживать приходится... Наврали тебе! Не могу я выдавать вдов замуж... Погоди, погоди, старик... Как ты сказал? Лошадь дашь?

Он встал, сам почему-то посмотрел на черные окна и подсел к старику.

— Слушай, дедусь, а ты не можешь достать у своих казахов лошадей на время?

— Сколько надо?

— Голов тридцать. Я верну.

— Ой-бой! — хлопнул себя по коленям Карабай.— Кто столько даст? Ты пахать хочешь? Нет, никто не даст. Я тебе одну лошадь дам. Тебе.

— Мне лично не надо,— ответил Похмельный и поднялся.

— Где столько лошадь возьму? — рассердился старик.

— Ну, это уж твоя забота,— насмешливо ответил Похмельный и с фальшивой заинтересованностью добавил: — Вообще-то с этой Ориной поговорить можно. Почему бы и не поговорить?

Карабай задумался. Похмельный терпеливо ждал.

— Поеду к Кожекену. Может, даст десять. Когда вернешь?

— Десять мало. Проси больше. Хорошо проси! Верну сразу после сева. Скажи, мы людьми поможем. Хочешь, я тебе бумагу напишу? Расписку. Или пошлю кого с тобой.

— Твой бумага Кожекен плевать будет. Я сам поеду.

— Вот и ладно,— засуетился Похмельный.— Завтра с утречка и езжай. Это далеко? О, да ты к вечеру обернешься! Я тебя, дорогой, как бога ждать буду, но только ты... Ты никому не сказывай про наш уговор! Мы ее втихаря... это... сосватаем. Слышишь, молчи! Не то испортим все дело... Как ее фамилия?

— Э-э, баскарма,— хитро сощурился старик.— Не такой Назарка брехун, а? Я тебя все понял: боишься, узнают везде — себе просить приедут. Правильно: ты молчи и я молчи.

— Вот-вот, молчи! — подхватил Похмельный.— Дознаются, понаедут с просьбами... Дед, проси больше. Хоть сколько! А? А я тут для тебя расстараюсь — сам схожу, просватаю!

Карабай пообещал сделать все возможное, и на том они расстались. Закрыв за стариком дверь, Похмельный в возбуждении заходил по комнате. Если Карабай приведет десяток лошадей — это два-три гектара пахоты в день, за две недели — почти сорок. Хорошо, но было бы еще лучше, если бы договорился лошадей на двадцать, а то и больше.

«Ах, старик, да будь моя воля — за три десятка лошадей отдал бы тебе всех вдов в селе: живи султаном, но помоги засеяться!»

Он убрал бумаги в стол, смел окурки в угол и закрыл контору.

Закончился еще один день его председательства.

Утром Похмельный с активистами, ободренные вчерашним успехом, снова отправились к должникам. Но не прошло и часа, как его позвали к конюшне — пригнали лошадей с зимовки. Пришлось идти. Лошадей загнали в загородь, где они сгрудились в дальнем углу, косились и тревожились, когда кто-либо подходил к ним близко. Сбывалось его опасение: трудно будет с ними, отвыкшими от упряжи и работы. Пока обратали и развели по денникам (завзятый лошадник, Похмельный

не мог сдержаться, чтобы самому не участвовать в этом), с Щучинской прибыли две подводы с мукой и двумя ободранными бело-лиловыми коровьими тушами — все это Гнездилов выделил в счет пайка высланным. Взвесить и оприходовать надо было самому и сдать завхозу Васецкому под учет и дальнейшее распределение.

Самому пришлось писать и докладную о подготовке к севу, которую требовал Гнездилов. В докладной записке он только указал срок начала посевной, предупредил, что будет просить лошадей. Об истинном положении дел он решил рассказать Гнездилову по приезде в район.

Попутно его знакомили с активистами, из числа которых предполагалось выбрать людей на различные должности в помощь колхозной власти; пришлось идти к амбарам, в кузню, на скотные дворы, ему показывали инвентарь, быков, упряжь, каждый из трех бригадиров хотел взять себе лучше, целее, больше, надо было соглашаться, поддерживать, лихо сквернословить, улыбаться и отшучиваться, хотя в душе поднималось желание послать всех подальше да запрячь в эту суету Гриценяка, который ходил вместе с ним, советовал и также шутил, но в сущности ловко уходил от ответственности и решений. Но пересилил себя, сдержался...

Не мог он, загоревшись одним делом, бросить его и с таким же чувством отдаться другому, хотелось ему сейчас докончить начатое: как можно быстрее и больше собрать с должников — уже настроился, притерпелся, готовил себя, идя от хаты к хате, к разговору то серьезному, то угрожающе-беспрекословному или добродушно-рассудительному — как осветят должника напарники,— а тут прими, взвесь, посоветуй, одобри, повеличай имя-отчеством, подскажи то, что лучше его должны знать и уметь, а зерна-то мало, время уходит, и теперь не на Строкова — на него, Похмельного, наседает с севом Гнездилов...

Во второй половине дня он попросил Семена и комендантов закончить со сбором семян. Обошли всех, кто был в списках, собрали еще сто с лишним пудов. Видимо, должники смирились с тем, что семена возвратить придется, чтоб не иметь вражды с колхозом, но, скорее всего, подействовали твердые заверения Похмельного, его искреннее, горячее желание помочь селу и кол-

хозникам, которое невольно ощущалось всеми, с кем он вступал в разговоры.

В таких же хлопотах скользнул обмылком следующий день. Вначале обозначилось твердо: завтра на пахоту. Начнет ее первая бригада. Ей по жеребьевке выпали лесные поля за Волчьим околком, где пахотные земли идут под небольшой уклон, поэтому просыхают раньше остальных. Продумали, казалось бы, все: число людей, быков, лошадей, количество семян (бригаде отдали лучшую, ак-бидаевскую пшеницу), нашли продукты, кухарку и даже две лампы пятилинейки для вечернего роздыху.

Но потом поползло нудно-суетное: обнаружилось, что на станах разрушены печи, разобраны нары, нет соломы для ночевок, кому-то захотелось перейти из одной бригады в другую, чтобы пахать на бывших своих быках, кто-то недовольствовался инвентарем — в бригадах плохо уравняли число одно-, двух- и трехлемешных плугов и быков для них. Опять пошли споры, доводы, обмены и прочая говорильня, от которой мутило душу и пропадало желание работать. Вдобавок не возвращался в село Карабай. Похмельный на него не очень-то рассчитывал, но ждал почему-то с нетерпением. А тут еще квартирная хозяйка была чем-то недовольна, неразговорчива, ужин оказался скупым и холодным. Он понимал, что своим напарникам тоже поднадоел за день, а, кроме них, идти в гости сумерничать было не к кому, поэтому пришлось весь длинный пустой вечер коротать дома. Улегся рано, спал плохо, несколько раз вставал и в ожидании рассвета склонялся к низкому оконцу, откуда томительно долго плыла темень и неизвестность...

XIII

Когда Гуляевка выехала в поля, выдался один из тех прекрасных редких дней, какие случаются иногда поздней весной.

Небо еще с ночи затянуло прозрачными, цвета плавленого серебра, мелкими чешуйками облачков, сквозь которые так мощно лился мягкий свет, что в ту сторону, откуда поднималось солнце, невозможно было смотреть; свет облекал в палевую дымку нежную зелень полей, дальнюю сиреневую лесную черту по окружью, в удивительной тишине и безветрии светло и невесомо стояли

дымки над трубами, приглушенно слышались звуки, и голубизной отдавали беленые стены хат и белые бабьи платки.

Под празднично-веселый перезвон колоколов у правленческого двора с утра собрался народ. Громадным извозом стоят подводы, загруженные инвентарем, терпеливо ждут взналыганные быки, волнуются кони, слышен смех и шум голосов. С Похмельным многие уже знакомы. Мужики постарше сегодня интересуются вопросами большей частью масштабными, дабы не портить торжественность момента трижды обговоренным. Советуют и покрикивают бабы, в основном жены бригадников, поскольку уверены, что в этот день они имеют право на особое внимание и уважение. Вот только парни несколько сторонятся — их, видимо, мучит молодость председателя и его кожаное убранство.

Похмельный радостно взволнован. Он подходит то к одним, то к другим, шутит: не докучали, часом, жены перед трудным днем, готовы ли они работать так, чтоб ахнули в изумлении и призадумались вражьи силы? Ему отвечают в тон, весело, и чувствуется по лицам, взглядам и чистым рубахам та незримая светло-крепкая связь меж людьми, какая бывает во дни великих праздников и весенней страды в селах и деревнях русского народа. Исчезает дымом все мелкое, наносное, остается волнение хлебороба перед пахотой, когда он, измученный зимними думами и жестокой экономией, наконец-то выходит в ждущую его степь вершить главное дело на земле. И пока на ней сохранится хотя бы горсть семян — быть ему, сеятелю, во власти этого тревожно-радостного чувства.

Полдень, время отъезжать. Руководит отправкой бригадир первой бригады Петро Кожухарь. Своими дельными спокойными распоряжениями он как-то незаметно отстранил от руководства отъездом всех правленцев, и теперь бригадники обращаются только к нему.

Семен отзывает Похмельного в сторону: надо бы сказать людям что-нибудь по такому случаю. Похмельный тоже так считает. Он давно думал над тем, что скажет в напутственном слове, а сейчас понял: все, что он готовил,— все выходит напыщенно и, в его понимании, ненужно. И разглагольствовать негоже, и отдать впустую такую дорогую минуту тоже не следует. Он решительно вскакивает на подводу.

— Товарищи, я попрошу... Внимание всем! — весело крикнул он, разом отметая все колебания.

Люди удивленно притихли, стали подходить к подводе.

— Я долго думал сегодня ночью: что бы вам сказать такое? Хотелось бы подушевнее... На вас, советских колхозников, в эту весну весь мир глядит. И классовые братья наши разных наций, и враги наши. Аж дух захватило — ждут: выедем мы нынче или сорвется у нас? Враги рассчитывали, что мы споткнемся на колхозах и опять назад попятимся. Даже нашим друзьям не верилось, что вы, неграмотные, затюканные крестьяне, по-доброму отдали бы свою единоличную собственность и колхозом стали жить. Не было еще такого ни в каком народе. Да что там друзья, враги — я, коммунист, и то опасался: а вдруг не пойдете? — жалко и счастливо улыбался он людям с повозки.— Вдруг не поднимем вас, надорвемся? Но вы пошли. Пошли первыми. По всей стране идет колхозная посевная. Не пришлось нашим врагам поликовать! Бьем мы их, гадов, с каждым годом все сильнее! И вы сегодня, дорогие колхозники, началом посевной не хуже главного калибра шарахнули по буржуйским умникам да по нашей затаившейся контре. Она от злости на дерьмо исходит, а поделать ничего не может. Нам теперь надо так пахать, чтоб ей и вовсе дышать нечем стало! — Он передохнул, хмельным от радости взглядом обвел толпу, запрудившую подъезды к правлению и ближний проулок.— А вам спасибо. За то, что поверили нам, коммунистам, пошли за нами. И дальше верьте. Через главное мы переступили. Теперь нам никто не помешает ударно трудиться на процветание и скорый приход социализма, на гробовую погибель мировой буржуазии! Я сейчас мотанусь в район, трясти Гнездилова, а после — к вам, в бригады, как обещал. С вами буду пахать, пока сил и семян хватит... Еще раз спасибо вам от всего трудового народа!.. Давай, Петро Степаныч!

Он соскочил с подводы. Кожухарь дал знак отправки, и через несколько минут огромный обоз, где в шуме и крике, в конском ржании и колесном скрипе нагруженных инвентарем подвод проступило что-то давне-чумацкое, в окружении скачущей в веселье детворы и собак, медленно тронулся от правленческого двора. И пока он не скрылся за вербной грядой последних огородов,

повернув на выезде в сторону, провожающие смотрели ему вслед.

Бабы пошли по домам первыми. Мать коменданта Кащука, уводя старух на свой край села, перекрестила опустевший выгон, ее товарки, разом оборотясь на церковный купол, перекрестили лица. Кто-то из молодых баб, проходивших мимо, в лад общему настроению, умиротворенно обронил:

— Решилось, слава тебе, господи...

— В час добрый!

Комендантша живо и зло откликнулась, уцепилась:

— Час добрый раньше надо было у бога просить. Казала вам: давай, жинки, на фоминой неделе сходим в поля, помолебствуем, и батюшка был не против, а вы шо? — некогда, грязюка, сельсовет не дозволяет... Теперь — часу доброго им господь дай. Батога бы вам горячего! Мужиков до такой поры держали! Их давно надо было в поле гнать!

Жена одного из бригадников робко возразила:

— Тетко Ганна, на фомину молебствовать выходят кто озимыми сеется, а у нас не заведено таких. Мы на яровые...

— Бог, он над всяким всходом хозяин,— оборвала ее властная старуха и приподняла клюку: — «Даруй, господь, живота всходу всякому: весеннему, осеннему, семени людскому...» Забула чи теперь не до молитвы? Собранья да выселенья в головах? Понабрались греха! Зараз зашкребайтесь в хатах да бежите мужикам помогать. Может, и вправди простит господь...

И опять, повернув головы к церкви, старухи вразнобой осенили себя крестным знамением.

Все сроки вышли, а Карабая не было. Похмельный переговорил с Гриценяком, отдал ключи и пошел на конюшню. К вечеру он рассчитывал быть у Гнездилова. Илько Пашистый сам оседлал ему строковского коня и посоветовал не давать слабины в поводьях: дончак имел каверзную привычку закусить удила и потом гонять по степи в попытках сбросить неопытного всадника. Успокаивала злого коня только камча с зашитой в хвосты дробью.

Он выехал из села и пошел по знакомой щучинской дороге крупной размашистой рысью. В открытом поле

заиграл ветерок. Недавно аккуратно-прозрачные облачка растрепались, пошли клочьями, и над зеленеющей чертой леса, в той стороне, куда он держал путь, уже широко очистилась от наволочи изумительная по чистоте и цвету полоса неба.

Возле самого леса он придержал коня, оглянулся и вдруг далеко в стороне увидел арбу и в ней крошечного человека, отчаянно махавшего руками. Это возвращался Карабай.

Похмельный развернул коня и поскакал к нему.

— Ну? — издали крикнул он.— Что с лошадьми?

— Нет лошадь, баскарма,— печально развел руками старик.— Не дает Кожекен лошадь.

— А что говорит? — спросил Похмельный, спешиваясь.

— Плохо говорит. Говорит, хохол всю жизнь наши шея сидел, наши земли пахал, теперь пусть себя запрягает и пашет.

Похмельный выругался, хотя на лучший исход он мало рассчитывал.

— Так он кто, этот Кожекен? Друг твой?

— Один род с ним...

— Родичи, значит? Мать бы вашу так, с таким родством... Ты хоть объяснил ему, что нам на время?

— Все объяснил. Не дает. Говорит, казах теперь совсем бедный, все артель забрал.

— А-а, черт! — завертелся от злости Похмельный.— Просить надо было хорошо! Ты просил? Говорил ему, что мы можем людьми помочь?

— Все говорил... Не дает!

— А сколько у него лошадей?

— Двадцать лошадей с ним живет, еще немного на зимовке есть.

— Значит, есть у подлеца лошади! Вот что, старик, ты езжай в село, засыпь своей кобыле корму поболе и жди меня. Понял? Ни шагу со двора, пока я к тебе не приеду.

И Похмельный погнал в село. Он остановил коня у хаты Гарькавого. На стук и собачий брех вышла хозяйка, рассмотрела его с тем беззастенчивым любопытством, с каким рассматривают в селах новых людей, и лишь потом, защелкнув цепок, на котором бесновался желто-белый кобель, указала в конец огорода. Дойдя

туда, Похмельный увидел, что весь огород охвачен свежевырытым глубоким, в пояс, рвом.

— Против кого ты оборону держать собрался? — спросил, веселея, Похмельный, садясь на сухую вязанку прошлогодней картофельной ботвы.

Гарькавый махом вогнал лопату в землю, вытер лицо подолом рубахи и нехотя ответил:

— Против коров. Они, заразы, по весне что твои призовые кони скачут! Им и такая траншея не преграда... Подай-ка руку.

Похмельный помог ему выбраться и кратко объяснил суть дела. Гарькавый кивал головой, вроде бы соглашаясь, но ответил решительно:

— Не даст. Я этого Кожекена знаю. Бывший бай... Да, верно,— продолжал он, припоминая,— был он с лошадьми. Но потом у него все подчистую забрали, не знаю, как самого не выслали. Этой весной, слышал я, он опять разжился. То ли кто долг вернул, то ли не все забрали. У них разве учтешь все? Не-е, не даст. Вот если бы мы к этому времени уже помогли чем... А они в нашей помощи сроду не нуждались.

— Погоди, Федор Андреевич,— искал какой-то выход Похмельный.— Мне хозяйка вчера говорила, что здесь недалеко аул есть... Может, там?

— А-а, не слухай ты ее! Она тебе наговорит... Это Басырь, верст десять отсюда. Артель там теперь, если еще не разъехались... И они были с лошадьми. Раньше, знаешь, они все неплохо со скотом жили. Да только год назад разъезжали по тутошним аулам агитчики ихние, призывали артелью жить, навроде наших колхозов, «красными караванщиками», кажись, себя прозывали. Во главе с нашим каким-то... я уж не помню. Старались они не хуже наших уполномоченных...— здесь Гарькавый сколупнул щепочкой грязь с подошвы сапога и с веселым прищуром, будто вспомнил для себя что-то весьма приятное, поглядел на озеро.— Обещали новую жизнь всем киргизам устроить. Ну и устроили... артель. У зажиточных весь скот забрали, согнали их всех в кучу вместе с бедняками, похлопали по плечам: зараз, мол, вы все уравнялись, живите отныне дружно, не обижайте друг дружку и кончайте цыганской жизнью заниматься. А сами дале двинули. Другим устраивать. После отъезда в том Басыре такое творилось, что аж сюда ругань доносилась... В бедности они зараз. Есть, конеш-

но, у них лошади, но, даю голову на отруб,— не дадут.

— Почему же не дадут? — возмутился Похмельный.— На время просим и не задаром.

Гарькавый с явной неохотой пояснил:

— Насолили мы им предостаточно. В землях потеснили, да и так... Они и досе обиду на нас держат... Ты, Максим, не морочь себе голову и время на них не теряй, а гони прямо к Гнездилову. Только он нам в силах помочь. Даст — хорошо, не даст — что делать, придется меньше засеять. Выше грешного места не подпрыгнешь.

Однако Похмельный не мог смириться:

— Да неужто не дадут? Какие могут быть теперь у них обиды? Им же вернули землю... Прямо издевательство: из-за давнишних обид по-соседски не выручить. Пособачьи получается: и сам не гам и другому не дам... Слушай, Федор Андреевич,— осенило Похмельного,— а поехали со мной! Уговорим вдвоем сукиных сынов! Наобещаем, набрешем три короба, лишь бы засеяться... А что Гнездилов?.. Да потом пусть хоть самому господу богу жалятся, а Гнездилову я еще выдам за тот бардак, что он развел в селе. Поедем!

Но Гарькавый отнекивался, Похмельный наседал, и тот признался: оказалось, Гарькавый дважды участвовал выборным в переделе сенокосно-пахотных земель, имел небезобидные стычки с аульчанами. Его и сейчас помнят в Басыре одним из «насоливших», поэтому ехать ему действительно не было смысла.

— Бери Гордея,— советовал он, видя, что Похмельного не отговорить.— Гордей мастер речи держать, поихнему трошки разбалакивает... Ты когда думаешь ехать?

— Прямо сейчас, а с Басыря уже поеду к Гнездилову... Да, жаль, конечно. Ты не знаешь, как его звать, председателя артели?

— Не знаю, но слышал, твоих годов... Сейчас не советую: дело к вечеру. Завтра с утра бы и ехал... С Карабаем хочешь?

Разговаривая, они подошли к хате. Гарькавый вынес ружье с патронташем. Вскользь, но со значением показал порядок расположения патронов: слева от середины — мелкая дробь, справа — крупный заряд. Похмельный уловил намек, мысленно обозлился: да неужели Гарькавый всерьез считает, что у него ума хватит до стрельбы дойти?

— Зачем пугать,— смутился Гарькавый, когда Похмельный напрямик спросил об этом,— их теперь не испугаешь. В дороге, знаешь, всякое может случиться... А может утку снимешь, хозяйка супцом побалует... Будешь говорить с ними — говори попроще, без выкрутасов и с уважением. Упаси тебя бог грозить! Отошли те времена. Аксакалами чаще называй — они это любят... — Он с интересом взглянул на Похмельного.— А что? Тебе, пожалуй, могут и дать. Уж больно ты парень...

Эта недоговоренность и жест, которым Гарькавый сопроводил ее, понравились Похмельному больше всех советов.

Кого из людей взять с собой, он обдумал еще во дворе Гарькавого, и они поедут, в их положении не отказываются. Единственное, что беспокоило, это время, шел четвертый час пополудни, а им надо собраться, зайти к Карабаю, оттуда — на стан первой бригады, чтобы взять лошадей: если казахи все-таки дадут своих, то гнать их надо тремя верховыми, а в селе ни одного свободного коня.

На этот раз он сам безошибочно выехал улицей и проулками к нужной ему землянухе и, не слезая с коня, постучал рукоятью плетки в оконце. На стук вышел старый Гонтарь.

— Где Иван? — не здороваясь, строго спросил Похмельный.

— О-о, какой гость пожаловал,— удивленно и злобно обрадовался Гонтарь.— Да ты сойди с коня-то,— с издевкой предложил он,— проведуй нас...

— Где Иван, я спрашиваю?

— Зачем он тебе?

— Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Так где же он?

— Внаймы за кусок хлеба пошел...

— Кликни его. Скажи, что ему и Павлу Любарцу со мной ехать, пусть поторопятся. Через полчаса жду их у правления.

— Куда такая спешка? Ты все же зайди, глянь, как мы живем. Помнится, любил у меня гостевать...

Похмельный хотел так ответить, чтоб у того пропало всякое желание юродствовать, но взглянул в лицо его и будто споткнулся — так поразился той перемене, что происходила с Гонтарем. Помнил его прежним крепким мужиком, которого не мог свалить ни кулак, ни первач,

а теперь вблизи, при ярком солнце Похмельный ясно увидел, как быстро волокла его за собой старость: голодно обтянулись скулы, проступили бугры и западины за ушами, стремительно седели и становились длинноредкими волосы, обвисла неряшливо бритая кожа на горле, весь он стал ниже, суше, у́же в плечах; широкими казались только штаны, заправленные в тяжелые сбитые сапоги.

«И это — за какой-то месяц»,— подумалось растерянному Похмельному...

— Ну, и как же вы живете?

— Спаси тебя Христос — голодаем. Я же говорю, зайди, полюбуйся!

— Вы паек получили... А Леся?

— И Леся так же,— охотно ответил Гонтарь.— Спит целыми днями да худеет на глазах. Ты не знаешь, отчего так много спят в молодой поре?

Во взгляде, каким он смотрел на Похмельного, старый Гонтарь остался прежним. В это мгновение вспомнились рассказы о его тяжелом, обидчиво-злобном характере, и это наигранное смирение в голосе теперь только подтверждало давние жалобы на него всех, кого он нанимал в батраки.

Оно и погасило недолгую жалость. Похмельный с презрительной насмешливостью глянул на него сверху:

— Я на все твои вопросы отвечу. Даже на этот. Но любопытно мне, что отвечаешь ты на вопросы своих детей? А, дядько Лукьян? Поэтому давай без вопросов и не тяни время. Ждать их не буду.— Он тронул коня и, уже отъехав, крикнул: — Пусть оденутся потеплее, возможно, в степи заночуем!..

Конем правил Карабай. В задке арбы на седлах жались плечами друг к другу Иван и Павло. Ехали на стан первой бригады, чтобы взять для них двух лошадей.

Похмельный с любопытством осматривался с седла. В стороне, где стояли ветряки и мельница, он еще не был, но заезжать за неимением времени не стали. Минули балку, в которой недавно гремела вешняя вода, а теперь холодно и свежо тянуло болотным душком близкого озера, с трудом выбрались из грязи наверх к сухому теплу и покатили, огибая озеро, к лесу. Слева

потянулись камыши. Оказалось, что это еще одно озеро, но настолько заросшее с берега травой и камышами, что к маленькому плесу, где ставились сети, рыбаки пробирались с большим трудом. Оно так и называлось — Гнилое.

Стан находился в первых березняках, верстах четырех от села. За светлыми, сквозными колками неожиданно открывалась огромная лощина, уходя под укос к сплошной и темной хвойной гряде. Эти места назывались Волчьим околком. Отсюда на зимних вечерних зорях по одиночке выходят волки, сбиваются в пары, стаи, подолгу сидят изваяниями в лютом, морозно-каленом багровом закате, сзывают жутким подвывом остальных собратьев. Вой слышен в селе. В конюшнях тревожатся кони, тяжело поднимается на ноги скотина, толпятся гуртом овцы. Хозяин еще раз осматривает оконца, едва различимые промерзшим хрупким стеклом в занесенных снегом вровень с крышами хлевах, запирает на все запоры вместе с живностью взволнованную собаку. Стаи выждут, когда стихнет последний свет над лесом, и словно по условленному знаку рассыпаются по степи, со всех сторон окружая село. Сторожко крадутся к гумнам, токам, где жируют зайцы, нанизывают цепочки следов вокруг сладко пахнущих хлевов, царапают лед на оконцах, отчего мычит и шарахается скотина, и горе в ту пору бездомной собаке или запоздалому ездовому...

Вскоре они подъехали к стану.

Подростком Похмельному приходилось помогать односельчанам в пахоте. Свой надел тетка сдавала в аренду, а его часто просили помочь: вначале погонычем, позже, когда окрепли руки, плугатарем, и если теперь бригадники вздумают поразвлечься, предложив ему пройти загон-другой (обещал же на собрании сам лямку вздеть), то, думалось ему, он не осрамится; если же и выйдет поначалу коряво — не беда: прошлый навык быстро вспомнится, главное, поймут, какого он корня и знает, какими трудами добывается хлеб. Впрочем, до развлечений дело не должно дойти. С сегодняшнего дня бригадники казались ему людьми близкими. На их поддержку он рассчитывал в будущем. Уж коли вышли на пахоту, то впоследствии не дадут пропасть впустую трудам своим, довершат начатое...

Около стана он встревожился: в тени берез стояли кони, во дворе никого не было. Бычьи и конные упряж-

ки находились далеко в загонах. Он соскочил с коня, вбежал в хату. Несколько бригадников колдовало у разрушенной печи, часть мужиков разбрелась по лесу готовить сухостой на дрова. Когда Похмельный спросил, почему они не пашут, Кожухарь повел его к лошадям. Они уже не горячились, как несколько часов назад у правленческого двора, понуро стояли, вздрагивая кожей, а по бокам мелким каракулем обильно курчавилась шерсть от недавно просохшего пота. Кожухарь объяснил: чтобы в день выходила десятина вспашки, в плуг надо заводить четверку лошадей. Так и сделали. Но исхудалые за время зимовки, они отвыкли от работы, дергали плуг, тянули вразнобой и дико шарахались от окрика, мотая повисших на недоуздках погонычей, а на седьмом загоне вообще выдохлись. Их били в кровь, но они стояли, только вздрагивали и приседали от ударов — верный признак полной усталости. Поэтому, чтобы не запалить совсем, приходится давать передышку. Пахали, в основном, на быках да на тех лошадях, кто еще мог тянуть спокойно плуг.

Похмельный расстроился: если казахи дадут лошадей, то наверняка таких же, и в радужные расчеты о сроках посевной ему придется внести невеселые поправки.

Бригадников удивило его решение ехать в аул, к тому же на ночь. В успех поездки никто не верил. Похмельный прикрывался улыбкой, разводил руками: дорога каждая минута — ночь ли, утро... Не дадут — поедет к Гнездилову, не сидеть же сиднем, надо что-то предпринимать, иначе уйдет время.

А в душе злился: насолить казахам — это вы умеете, а вот на доброе соседство ума не хватает. И больше: рассуждать, хихикать над чужой незадачливостью — мастера, ну а как же сами-то умудрились пустить на ветер свое хозяйство? Окажись вы потверже, организованней, дальновидней — не пришлось бы сейчас к кому-то с просьбами ехать.

Вслух говорить не стал, знал, какие вздохи и попреки последуют за этим. Пашут — и ладно, и на том спасибо.

На вопрос, от которого все притихли в ожидании ответа (вот дети!): рад ли он сегодняшнему дню, Похмельный прикрыл глаза, раздул ноздри и с фальшивым во-

одушевлением качнул головой. Мужики довольно переглянулись.

Разговор сбивался на неприятное, давно обмусоленное, и он заторопился. Брать коней с пахоты ему рассоветовали: дадут казахи на сев,— значит, дадут и под седла.

К тому времени кончили свои загоны несколько упряжек, и его вновь окружали люди. Надо было уезжать.

Провожать вышли к дороге, где стояла арба Карабая. Кожухарь многозначительно указал глазами на Ивана и Павла: мол, этих зачем взял, можно было и местных, стоит ли рисковать? Похмельный, успокоил: парни — его давние знакомые, пусть проветрятся...

За Похмельным наблюдали, как сядет, какова посадка, не возьмет ли поводья в обе руки и, оттопырив локти в стороны, не чмокнет ли коню городским извозчиком?

Он усмехнулся: нашли за кем подглядывать! Он взялся за луку седла, напрягся и приемом, некогда отработанным в конной разведке, легко, не касаясь стремени, вскочил на качнувшегося коня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Дорогу в аул, кроме казаха, никто не знал, поэтому, чтобы не трястись в седле позади арбы, подстраиваясь к неспешной трусце кобыленки старика, к ней пристегнули председательского коня, а Похмельный сел рядом с Карабаем.

Они долго срезали крюк по бездорожью, с тяжелым скрипом переваливаясь из стороны в сторону на бугорках у кротовых нор, грохотали на корневых припухлостях ковыля, объезжали колки и тальниковые куртины, наконец выбрались на басыревский летник и, оставляя по левую руку невдалеке от дороги быстро темнеющую гряду леса, а по правую — ровную, чистую степь, поехали на запад, где впереди по горизонту томительно-мягким светом истекал день.

Наступали сумерки. Исчезли темно-быстрые росчерки кобчиков, смолкли веснянки, все громче и дальше разносился в пустых полях стук колес. Из глубины закатного неба всплыл и завис над землей прозрачно-зеленый месяц, а с востока — надвигалась синева и холод ночи, с редко проступившими звездами, и таял, слабел с каждой минутой тихий малиновый свет над чернеющим лесом.

Дорога, тележный скрип, молчанье спутников и строгое таинство отходящей на покой земли исподволь расслабили; отпустило на сердце, мельче выглядели тревоги, беззлобней ругань, не стоящими того опасения; стало свободно и пусто и оттого — легче. Похмельный поворотился, чтобы сесть удобней, легко задел Ивана и улыбнулся тому, как быстро, будто ожегся, тот отдернул руку.

Не прощают... Да и простят ли когда? Он закурил... Вот ведь складывается! Кто бы сказал месяц назад — рассмеялся бы столь сумасбродному предсказанию. Он самому себе до сих пор не может объяснить, что же толкнуло его в то утро, что было решающим... Ночные размышления измотали. Обессиленный, он рухнул на топчан и тотчас уснул, а утром вскочил со свежей голо-

вой, хоть и спал немного, и с ясным, определенным решением ехать в Гуляевку. Это решение сразу так захватило его, что он и сейчас ощущает ту хмельную решимость, с которой он шел, чуть ли не бежал в райком к Гнездилову с твердым желанием немедленно гнать в село и работать, работать, работать... Работой, словом, делом, руками, зубами — не важно чем! — но вбивать в их головы и сердца свои мысли, свою правоту. Все прочь! Нет ни баб, ни друзей, ни односельчан — есть только правда его партии — и ничего более! Какие парни в землю легли! Какое сердце рвет Карнович и еще тысячи большевиков! Для чего столько крови, мук, смертей? Чтобы в итоге отдать все завоеванное дремучему злобному кулачеству? Чтобы вот так уехать и навсегда остаться в памяти сосланных подлецом?

«Посылай в Гуляевку! — крикнул он Гнездилову, с грохотом пройдя приемную, открывая двери и нависая над его столом.— Никаких других сел! Только в Гуляевку, к моим... И быстрее, ради бога, не то передумаю!..»

Гнездилов выскочил на крыльцо и приказал риковскому кучеру срочно доставить в Гуляевку нового председателя. Он сразу понял Похмельного, а вот он сам до сих пор прислушивается к себе: чего было больше в том решении — злости, обиды, жалости, гнева и своего оправдания перед сосланными или действительно желания помочь им в дальнейшей судьбе? Этому сложному чувству, которое ноющей застарелой болью жило в нем, он не позволял подниматься к вдумчивому, трезвому раскладу — предощущал, к какому разладу могли бы привести размышления над истинным смыслом и последствиями своих решений и поступков. Думал только о работе. Она лучше всякого самокопания ставила все на свои места, потому что начало и конец всему — в ней. Он ясно предвидел свои отношения с сосланными: сколько придется жить с ними, столько и будут вот так вот брезгливо отстраняться от него. На понимание, а тем более на сочувствие сейчас — не ему, нет! — его делу — рассчитывать нечего. Что ж, их право. Но не отстраниться им, не уйти, неизбежен, неотвратим тот час, когда они поймут всю непреложность истины: без ликвидации кулачества — не бывать миру в селах и деревнях! Не бывать союзу крестьян и рабочих, и то дорогое, ради чего шли на муки,— построение социализма — отодвинется на неопределенно долгое время.

Не примут сердцем, но поймут разумом... Да, он виноват, он признал свою вину, больше того — принял на себя вину и тех, кто торопил с высылкой, кто составлял и утверждал списки, кто непосредственно выселял и в итоге выслал семьи его знакомых в округе и односельчан,— середняков села Лебяжьего,— людей, высылки не заслуживающих.

Принял колхоз и остался здесь, чтобы сполна ответить самому суровому судье — своей совести, и чем строже, беспощаднее будут ее вопросы, тем лучше. Пусть безжалостно высветит не столько причастность к ошибкам при высылке, сколько самое гадкое: двурушничество, подлость, трусость,— то, что обычно скрывают больше, чем сами дела. Подобной грязи он за собой не замечал, обнаружить ее в себе боялся больше всего, но теперь, в нелегкую для его жизни пору, когда дело впрямую коснулось его партийной честности, он тем более нуждался в этом мучительном разборе, хотя и старался оттянуть его как можно дальше.

На ближайшее время он ставил себе только одну задачу — помочь ошибочно сосланным. Всем: и незнакомым, тем, кто попал в его эшелон после челябинского формирования, и высланным с его родины. Таких семей, по его мнению, было где-то около пятнадцати. Кого из них сослали по ошибке, он уже знал: о чужих рассказали конвоиры, своих — сам бог велел знать.

С законно высланными было проще всего: что заслужили, то и получите. Хуже обстояло с теми, кого выслали ошибочно: он даже перед ними, людьми, доселе ему неизвестными, чувствовал себя виновным, ибо не мог он, отвечая за свою вину и партийцев своего округа, огородить себя (хоть и пытался вначале) от причастности к тем же ошибкам работников другого края.

И все же лебяжьевцы — особая боль, от которой нет спасенья даже во сне, где по-прежнему умоляют и кричат люди, лязгают на путях эшелоны, вскрикивают паровозы и мелькают телеграфные столбы... Что ни фамилия — тотчас вспышка в памяти, чудно и ярко освещающая далекое во времени Лебяжье, молодую мать с виноватой полуулыбкой на тонко-бледном, будто бумажном лице, они в хате Сичкаря, ныне высланного сюда, мать что-то долго и безумолчно рассказывает, держит его у колен, хозяйские дети тянут его на улицу, но она не отпускает, ему и самому не хочется уходить

на мороз из просторной кухни, где тепло, пахнет вкусно и сытно, в печи и грубке потрескивают и смешно пищат сырые поленья, на столах лежат натертые отрубями разделанные желто-белые плотные тушки уток, под чистой холстиной «отдыхает» сбрызнутый водой свежеиспеченный хлеб.

Мать сидит неприлично долго, так не засиживаются в доме, где готовятся к празднику, и вот хозяйка достает из-под холстинки подставку со стопкой коричневых коржей, подает матери, хозяин, тоже еще молодой, одобрительно кивает, мать благодарит, улыбается еще виноватей и прячет корж сыну за пазуху, и он молчит, хотя корж еще горячий и пачкает рубашку...

Или вспомнятся бесконечные по своей длине огороды, на которых лебяжьевцы копают картошку, а он с матерью «на помощи». Мужики спешат, на копку отпущено слишком мало погожих дней, бабы не успевают за ними, и он, десятилетний, тоже торопится, таскает к мешкам полные ведра. Хорошо, если пойдет дождь, но чаще случалось, что осеннюю теплынь сменят тучи, бабы, хватаясь за поясницу, выпрямляются, тревожно смотрят в небо, но дождя, которого он тайно и страстно ждет, нет, и он до самого вечера то собирает усохшую ботву, то носит ведра, пока окончательно не выбьется из сил.

Вечером, когда сядут ужинать, и вместе со всеми, улыбаясь совершенно по-другому, сядет мать, за столом непременно похвалят и его, преувеличенно позавидуют ей с помощником, и мать, у которой глаза на миг наполняются печалью и влагой, встряхнется, от стопки повеселеет, станет такой, какую он особенно любил в те счастливые минуты, а сам, уже будучи не в силах ни есть, ни сидеть, ни ощущать ничего, кроме тянущей боли в руках, найдет уголок, где его мгновенно сморит в облегчающий сон...

Помнил, что Любарец, отец сидящего сейчас в арбе Павла, часто зазывал к себе, угощал, чем мог, и однажды дал ему новенький двугривенный; он долго носился с ним, радовался, пока не потерял, уже позже мать призналась, что монетку взяла она...

Помнились те несколько дней, когда мужики перекрывали камышом хату, а потом два вечера пили и веселились у них, вспоминали отца, глупо кончившего жизнь, жалели сироту, а мать — нарядная, радостно-

заискивающая — суетилась вокруг стола и, расставляя убогую закуску из картошки и квашеной капусты, тянулась к середине стола через мужицкие плечи, то и дело касаясь их маленькой грудью...

И уж совсем тяжело было с теми лебяжьевцами, каких выслали напрасно. Их выселение оказалось самым мучительным для него, оно составило суть его безуспешных метаний в поисках правды и справедливости, которых искал он и не находил, и теперь ошибку при выселении именно этих людей вынужден признать и своей ошибкой и виной.

Все, что бы он ни думал в оправдание: о необходимости выселения, о неизбежных ошибках, о чьей-то (и своей тоже) чрезмерной бдительности, возможно, глупости, зависти, злой воле или попросту вражеского умысла,— все мгновенно сметалось вопросами жестокой обиды: «За что?»

И еще дети... При одной мысли о них, кого бы то ни было: справедливо или ошибочно сосланных, о том, что они, так ничего и не успев понять в жизни, лишены родной хаты, мест игр и забав, знакомых полей и лесов, свезены сюда и теперь голодными мерзнут в полуразрушенных сумрачных землянухах с угрюмо-обессиленными родителями, злобная тоска надолго захватывала его, в такие минуты хотелось зверски избить кого-нибудь или плакать.

Сознание вины перед ними, его надломленный дух властно требовали немедленных действий, помощи этим людям.

Казалось бы, ему, председателю колхоза, расположенного вблизи озер, леса, имеющего в распоряжении коней, быков и — власть, легко помочь высланному крестьянину. Оказалось, что и это не так-то просто. Разрешение рубить лес не давали, с самовольной нарубкой было строго, брали только сухостой осенью. Не мог он во время посевной отдавать быков, раздавать семенное зерно на хлеб, и не потому, что боялся штрафов лесничества и возмущения колхозников,— просто сосланные лебяжьевцы не обращались к нему. Ходили за советами к Гриценяку, Гарькавому, к завхозу, просили по мелочи, выясняли, копошились в своих дворах, резали дерн, поправляли разрушенное, обживались с помощью соседей, но у него помощи не просили. Даже страдания детей не могли сломить брезгливой ненависти к нему. Глядя на

них, не ходили просить его и те сосланные, которых он не знал ранее. Всеми ими занимался Гриценяк, от него узнавал обо всем...

Он недоумевал: чего они хотят? Чтобы он первым пришел к ним с повинной головой?

Но этого не будет.

Да, он виноват, не скрывает вины, не таится, не перекладывает на чужие плечи, но унижать себя заискивающими разговорами и поблажками не станет, на дешевых приемах всего дела не поправить, они только осложнят его и усугубят вину.

Но поможет он им (независимо от того, как они и дальше будут относиться к нему) совершенно по-другому, а именно: созданием зажиточного колхоза. Эта цель отныне становилась основой всех помыслов, планов, делом его жизни на ближайшие годы. В нем он видел выход из всех тупиков, в которых всякий раз оказывался, размышляя о коллективизации.

Там, в будущем колхозе, должна же наконец утихнуть сегодняшняя боль, прийти какое-то спасение от пугающих расколов в миропонимании, исчезнуть, рассеяться его вина... Он должен создать крепкий колхоз, чего бы это ему ни стоило.

Жаль, конечно, что осенью, когда пайки сосланным отменят, они получат только на прожиточный минимум (ах как хочется, чтобы они получили с колхозниками на равных!). Но, по словам Гнездилова,— оплачивать наравне труд сосланного кулака и колхозника — неразумно. Жаль...

Зато каким веским доказательством правильности курса партии на коллективизацию послужит для сосланных труд гуляевцев, оплаченный весомым доходом! По словам того же Гнездилова, государство на первом году — в поощрение — оплатит именно так, если, конечно, позволит урожай... Какую мощную поддержку получат тогда коммунисты в селах, особенно в тех, где размещены высланные!

Да с таким доказательством ему никакие вопросы не страшны. Пусть спрашивают, он наглядно объяснит, чему так яростно сопротивлялось кулачество, на чем твердо настояла партия. А заодно объяснит и делом докажет, что не трусовато-угодливым исполнителем чужой воли жил он в последние годы, не библейским гонителем страха ради иудейска перед Карновичем вез их

в эти степи, но — коммунистом, честно выполнившим приказ партии, человеком, умеющим работать головой.

А за ошибки он ответит, уже отвечает.

Для чего он остался? Чтобы колхоз укрепить, им помочь. Поможет он, помогут где-то. Не может быть того, что он один, видишь ли, с совестью, а остальные тысячи коммунистов без нее обходятся. Тоже где-нибудь ищут возможность помочь, накормить, обустроить...

Уж коли сам секретарь райкома просил остаться, подчеркивая трудности в селах, связанные именно с расселением, то, следовательно, партия требует, чтобы помощь сосланным была действительно оказана, а не просто: выслали — и делу конец. Потому, видимо, и дано указание расселять в селах, чтобы легче и быстрее эту помощь оказать...

Начнет он с детей. Закончат посевную — сразу возьмется за ясли, при них какую-то столовую можно открыть, хоть самую дешевую; ведь стыдно — с такого села да не выкроить на бесплатную баланду трем десяткам ни в чем не повинных ребятишек!

Кому года — направить в школу: грамотному легче разобраться, кто в итоге оказался прав...

После сева можно помочь с дровами, строевого леса выбить, тягло дать на ремонт жилья... Все можно. Поймет и одобрит Гнездилов, поймут гуляевцы, понимает он... А вот поймут ли сами высланные, разглядят ли сквозь пелену ненависти и обиды не только суровость, но и милосердие власти?

Поймут ли его, или оставаться ему в их глазах до конца дней своих христопродавцем?

Но нет, здесь его не взять... Теперь он не тот подросток Максим, что когда-то уходил на задворки плакать от обиды и голода. После встречи с Гнездиловым в нем вновь укрепилось то, с чем он прожил всю гражданскую, с чем жил последние годы — вера в свою партию. Пока он нужен ей, пока она ему поддержка в поисках — с колен его поднимать никому не придется!

Интересно, а как они расценили его решение остаться здесь? Неужто считают, что из-за Леси. Напрасно, если так.

Многое на баб менял, да только не это... Сейчас бы лошадей выпросить, засеять все, а потом сообща с Гнездиловым...

Он не успел додумать, что же сделает сообща с секретарем райкома,— арбу кинуло в сторону, внизу послышался треск, и он, хватаясь за грядку, больно ударился локтем... Арба накренилась и встала. Похмельный чертыхнулся: недобрая примета. Надо было выяснить, что случилось. Они подожгли охапку соломы. Старик запричитал из-под колес — обломалась поперечина. Иван ушел к лесу за хворостом. Павло из оброти решил сделать удавку, которой можно было бы стянуть деревянную связь.

От сухих веток костер разгорелся, багрово высветил коней, косивших глазами, полных бликами огня, размыто очертил дрожащий полукруг света, отчего темнота за ним сгустилась и стала тревожной.

Старик больше мешал, чем помогал, ему приказали разжигать головни и светить под арбу.

Вскоре можно было ехать. Прежде чем затоптать костерок, Похмельный достал кисет и газету, впервые предложил спутникам. Отказался один Карабай: он не курил.

— Не боишься? — спросил Павло у Похмельного и нагнулся за угольком.

— Кого?

— Да всего,— Павло неопределенно указал куда-то за освещенный полукруг.

— Вот ты о чем... Нет, не боюсь. Не в ваших интересах. Вы дорог не знаете. За побег с ваших стариков спросится... Мы, наверное, пеши пойдем, здесь уже недалеко.

— Ну, а нас зачем взял? — спросил Иван.

Похмельный помедлил с ответом:

— Слышал я от хозяйки, будто бы эти казахи гостей хорошо принимают. Обычай ихний того требует. Мы, правда, такие гости, что хуже некуда, но все ж таки... Хоть наедитесь досыта. Может, и на дорогу чего сунут, а я по трудодню запишу.— И, словно озлясь на собственную откровенность, которую могли принять за трусость, грубо перечеркнул сказанное: — Мозги ваши проветрить взял! Понятно, или по-другому объяснить?

Осторожно, опасаясь новой поломки, тронулись шагом и сразу вошли в лес. Он грозно обступал дорогу, сжимал ее или совсем перегораживал, и она то круто брала в сторону, то шла через чащу, и тогда глубже

становились рытвины, наполненные водой, и храпели, пятясь, перед ними кони.

Желтый месяц беспомощно подпрыгивал в вершинах деревьев, из глубины леса дико и остро несло гнилью и холодом.

Иногда в неверном слабом свете страшными виденьями вставали впереди у дороги одинокие корявые сосны и сухим выстрелом раздавался по опушкам треснувший под колесом сук. Попетляв по лесу версты две, добрались до аула. Собаки встретили лаем. В стоялом ночном холодном воздухе запахло кизячным дымом, жилым местом. Мазанки без огней в окнах, без всякого порядка смутными буграми раскинулись на большой поляне.

Аул давно спал. Старик остановил арбу у какой-то землянухи в рост лошаденки и долго стучал в окна, пока ему не открыли.

При свете огарка прибывшие с удивлением рассматривали непривычное чужое жилье. Судя по запаху, что стоял в комнатушке, угощенья никакого не предвиделось. Их рассадили по углам, старик приказал хозяйке растопить печурку. Неведенье хуже невезенья, подумалось Похмельному; он решил не откладывать, и кто-то из хозяев ушел за председателем.

Похмельный устало облокотился на свернутый рулоном войлок. Уже и ему не верилось, что лошадей дадут, что среди ночи придет председатель, что и впрямь получается неловко с таким гостеваньем. Но председатель пришел, да не один — с товарищем, нисколько не удивляясь позднему наезду; пригласил куда-то, где, оказалось, еще не спали и шел свой разговор.

Старик остался во дворе определять коней на ночевку. Собаки остывали от недавнего бреха, рычали и повизгивали в темноте. Багровый месяц оборвался с сучьев и канул в чашу леса.

Наступила полуночная тишина.

II

Привели их в юрту. Это было уж совсем диковинное жилье. Павло цокал языком, желая показать свое восхищение тем, как мудро оно устроено: и просторно, и костер горит, а дыма нет, и, видать, быстро разбирается-собирается, и вообще они, казахи, говорят, народ хороший, и он давно хотел бы посмотреть, познакомить-

ся... Иван тайком дернул его за руку: имей совесть, не передергивай, они же все понимают...

Юрту еще вчера раскинул гость аула казах Касымов. Теперь он рассказывал аульчанам о виденном в кочевье.

Знакомились сдержанно, и странно было сначала слушать непривычный слуху говор; впрочем, казахи говорили на своем языке мало и к прибывшим обращались только по-русски. Угощали лепешками, чаем, на гнутом подносе оставалось немного баранины.

Похмельный бережно отщипывал кусочки от лепешки, налегал на чай и деликатно отодвинул от себя поднос, но так, чтобы своим спутникам было ближе...

Председатель Байжанов оказался старше годами Похмельного, говорил легко, почти без акцента, много шутил; по всему чувствовался в нем человек бывалый. О назначении Похмельного он уже знал и хотел, по его словам, сам наведаться в Гуляевку познакомиться: как-никак соседи.

Похмельный мигом ухватился за сказанное, припомнил все, что знал, о добрососедстве и только тогда объявил о цели своего приезда. В юрте сразу замолчали. Он на другой отклик и не рассчитывал — готовил себя к разговору долгому, терпеливому. Главные доводы он приведет позже, а пока пусть поразмышляют над его просьбой. Пил чай, поглядывал на казахов и про себя посмеивался: гляди-ка, чужой народ, а насупились по-гуляевски...

— Нет, голова, лошадей мы тебе не дадим,— мягко, но решительно отказал Байжанов и долил ему кипятку в чашку.

Похмельный со всей приветливостью, на которую был способен, улыбнулся:

— Ну и какие мы, в таком случае, соседи? Дашь, аксакал, никуда не денешься!

Невольный смешок молодого казаха он расценил как одобрение и продолжал:

— У хороших соседей взаимовыручка — первое дело. Дашь, еще и в Гуляевку отогнать поможешь.

Байжанов отставил пиалу:

— У тебя двадцать лошадей и сто десять быков. У нас в ауле всего пятнадцать лошадей...

— А сколько у тебя на зимовке? — весело сощурился Похмельный.

— Все знает! — восхитился Байжанов.

— Ты же знаешь, сколько у нас скота. Ну, договорились? Выручим друг друга, как и полагается хорошим соседям?

— Вы можете,— вздохнул казах,— у вас есть чем, а мы бедные. Жалко такому человеку отказывать, но лошадьми тебя не выручим. Езжай в аул к Хасенову. У него есть лошади. Хороший аул. С ним поговори.

— Далеко отсюда?.. О, тогда что ж ты предлагаешь? Это пока я туда, да обратно, да и он откажет... Ты все-таки объясни: почему не хотите дать лошадей на сев? Я же не просто так прошу: дай — и все, я с обменом. Вы мне — лошадей, я вам — людей в помощь. Построим вам чего-нибудь... У нас знаешь какие мастера? Ого! Что хочешь склепают.— Похмельный потянулся, доверительно приобнял Байжанова: — Дорогой ты мой! Да если мы с тобой столкуемся, мы такие дела развернем, что в районе только ахнут. Ведь есть у вас лошади, чего же ты...

— Понимаю тебя хорошо,— Байжанов мягко отстранился.— Спасибо, что людьми помочь хочешь...

— Э-э, у них свои люди туда-сюда бродят без дела,— пренебрежительно прервал его Касымов и развернулся к Похмельному: — Что строить? Кому? Скоро все аул бросят. Пусто будет.

Сказанное выглядело поддержкой, Байжанов уважительно дал понять, чтоб продолжали. И гость продолжил:

— Очень много стали к казахам ездить. Нужны стали... Один приедет, кричит: «Разве мы хуже русских? Давай колхоз строить». Другой приедет, кричит: «Не колхоз — артель пока надо». Третий: «Колхозы и артель рано, давай малкерсиги — тоз, значит». Еще один приедет, кричит: «Казахи, бросай тоз, пошли на завод казахский рабочий класс делать». Еще кто приедет, кричит: «Молодые, айда учиться, нас везде принимают!» Все едут, все кричат, и все разное. У казаха голова вот так идет! — он остервенело очертил несколько кругов над головой.

Остальные сочувственно согласились.

— Я сейчас по аулам много ездил,— продолжал гость.— Пусто кругом. Нет скота, нет людей. Кто в свой род уезжает, кто опять кочевать. Говорят казаху: сей пшеницу, картошку... Зачем? Пусть русские пашут. Казах привык за скотом ходить. Это трудней, чем пшеницу

сеять. Вы только весной пашете, осенью убираете, а потом всю зиму на теплой печке зад греете. А скот надо круглый год ухаживать. Сколько сена косим! Складывай, вози, укрывай, волков гоняй, сторожи. Буран, мороз, воды скоту нету, голод, падеж, налоги большие, все баем зовут, выслать грозят... Теперь все хорошо: скот угнали, лошадей нет, сиди, казах, чай пей!

Теперь казахи согласились не столько с сочувствием, сколько с негодованием, раздраженно заговорили на своем языке, видимо дополняя сказанное.

Похмельный так потерянно качал головой, с таким сожалением внимал непонятной для него речи, будто его самого неразумное начальство лишило скота. А что ему, не знающему ни края, ни положения дел в аулах, оставалось делать, как не разыгрывать печаль над бедами аульчан, и тем самым отделить себя от тех, кто создал это положение. Аульчане должны зачислить его в особую графу.

— Вот оно что... Да это прямое издевательство! Гнали бы их в шею! Я-то думаю, почему бы и не одолжить лошадей на время, а здесь такое горе... Форменное безобразие! Надо же по-хорошему. Берете скот — дайте что-нибудь взамен. Вот я, например. Я к вам с большой выгодой, товарищи! Я вам не кто-нибудь... А что Гнездилов?

Касымов брезгливо поморщился:

— Кроме Гнездилова еще сто начальников.

Вошел Карабай. По тому, как ему ответили на приветствие, как он несмело присел к раскинутой кошме, Похмельный, даже не зная местного уклада, понял, что старик особым уважением в ауле не пользуется, потому что живет в русском селе, о чем и предупреждала квартирная хозяйка, поэтому на поддержку с его стороны рассчитывать не следует.

Похмельный осторожно продолжал свое:

— Непонятна мне позиция Гнездилова. Говорит одно, на деле — другое. Ему-то какая выгода? Но бог с ним... Вы, товарищи казахи, понимаете, что я не Гнездилов. Я человек деловой. Засеемся — сразу верну ваших лошадей. Вы потом с меня — чего ваша душа пожелает. Дед, подтверди!

Но Карабай промолчал. Ответил Байжанов с явным недовольством в голосе:

— Слышишь, что люди говорят? — он указал на гостя и двух пожилых казахов, которые особенно горячо поддерживали кочевника.— Трудно им сейчас. Люди ходят на работу, потому что еще лошади есть. Отдам тебе — скажут, последних забрали. Тогда все пропало — разъедутся.

Похмельный удивился:

— Неужели они тебе, председателю, и не поверят?

Байжанов замялся:

— Кто знает... Ты в своем селе правильно объяснить можешь, там грамотных много. Я что скажу? Вот он,— Байжанов кивнул на молодого казаха, сидящего в сторонке,— разобраться может. Он понимает, где Советская власть, а где заготовитель. А им что скажу? — он повел рукой в сторону стариков.— Для них Советская власть ты и я, а не Казкрайком. Что ему думать? Зачем лошадей отдал? Куда отдал? Когда вернут? Может, вообще не вернут?

Похмельный хмыкнул, да так язвительно, что Байжанов загорячился, акцент в его речи усилился.

— Не поверят нам люди. Очень много их обманывали.— Он снова указал на стариков.— Вот у них царские люди забрали джайляу и вам отдали — стройте Гуляевку. Тебе, казах, найдем другое место. Лошадей у него чиновники брали, налоги брали, много обещали, но ничего не дали... Должен он обижаться? Почему не знаешь? Ты бы обиделся? Он тоже обиделся. Но обижался он на царскую власть, а не на гуляевцев. Пшеницу твою огнем не палил, посевы не топтал. Он знал, кто виноват. Как сейчас ему думать, когда власть народная, его власть? Кто виноват, что из аула сотни лошадей угнали? Кого ему винить?

— Да не верю я этому! — веселым высоким голосом прервал его Похмельный.— Не верю. Неужто твои люди... Все собрал! При чем здесь Советская власть, Казкрайком, налоги? Давай как-нибудь без Казкрайкома, по-соседски.

Байжанов посмотрел на гостя:

— Не знаю... Лошади нам самим нужны. Наш аул тоже в этом году пахать хочет. Меньше, чем вы, но засеем... Боюсь за людей...

— А ты не бойся. Твои люди поймут всю выгоду обмена, что я предложу. У вас лошадей хватит и самим засеять, и нам помочь. Я даже знаю, какой они масти...

Ты можешь завтра собрать своих людей? Активистов. Сможешь? Я с ними сам переговорю. Сам-то ты не против?

Он не успел получить ответа: справа от него послышался вскрик, возня и смех.

Это Павло, осоловев от еды и чая, уснул и потерял равновесие, опрокинул заварничок и теперь отчаянно дул себе на руку.

Байжанов нагнулся к Похмельному.

— Кто это? — тихо спросил он.— Высланные?

— Высланные,— вздохнул Похмельный. У него с непривычки затекли ноги, он устал за день и его самого тянуло в сон, да и разговор этот, хоть и готовился к нему, тяжело давался. Он понял, что без согласия аульчан Байжанов лошадей не даст. Дальнейшая беседа не ладилась. Казахи не хотели при гостях говорить на своем языке — неуважительно; кратко поинтересовались выездом на пахоту в Гуляевке и стали определяться с ночевкой. Ивана и Павла Карабай повел к себе, Похмельного пригласил Байжанов.

Словно извиняясь за отказ, по пути он продолжал рассказывать о бедах аула.

— Он кто, этот приезжий, гость ваш? — спросил Похмельный, когда они подошли к дому.— Ты, извиняй, может, я в обиду тебе скажу, но мне показалось, будто ты его опасаешься или зависишь в чем-то?

— Молодец, хорошо увидел,— одобрил Байжанов.— Он бывший бай. Когда-то в нашем ауле жил. Потом кочевать ушел. Весь скот с собой увел. Долго о нем не слышали. Говорят, белым помогал, на юг, к Китаю, уходил, нищим был. Пять лет назад сюда вернулся, опять разбогател. Много родичей у него. Когда жил в наших местах, много скота в долг давал. Ему и у нас должны. Сейчас по аулам ездит, лисой вынюхивает. Для нас он нехороший человек. Плохо говорит о Советской власти. Думает о ней еще хуже. Кто хочет жить по-новому, тех пугает: долг потребую. Говорит, скоро казахов отсюда всех выгонят. Еще много врет...

— Чего же вы до сих пор не наладили его в прохладные края?.. Я говорю: чего вы его не выслали,— пояснил Похмельный, чувствуя, что Байжанов не понял.

— Нет, его нельзя... Не дадут. У него должники и в городе есть. Все хотят хорошее мясо кушать...

— А что это он все талдычил: ездят к вам, кричат,

и все по-разному. О чем он? Объясни мне. Я в ваших делах ни хрена не смыслю.

Байжанов засмеялся в темноте:

— Я бы тебе еще в юрте объяснил, но не хотел, чтобы он слушал... Стой здесь, я постучу...

Постель хозяин готовил в комнате, заваленной мешками с сортовой пшеницей и наваленной в угол сбруей. Он стопой укладывал кошмы вдоль стены и между делом разъяснял Похмельному:

— В этом прав Касымов. Кричат все по-разному. В прошлом году приезжал Байсулатов. Давно его знаю. Когда-то у алашевцев был. Как теперь коммунистом стал — не понимаю. Стариков собирал, долго говорил, что казахи не должны в ауле артель создавать. Я говорю: артель — постановление правительства, надо создавать. Отвечает: пусть правительство у себя в России артели и колхозы делает, у них все равно выхода нету. А нам ни колхозы, ни артели не нужны, они нас разорят. Пусть аулы за землю налог платят скотом. Русским выгодно, и мы сможем много держать скота по закону.

— Так у тебя тоз?

— Артель. Потому и плохо... А говорил Байсулатов хорошо. Все поняли: артели и колхозы не нужны. Землю пахать всем вместе не надо. Все будут заниматься тем, чем отцы занимались — скот разводить, и его будет много. Кто хочет кочевать, пусть уходит, кто не хочет — пусть остается. Старикам Байсулатов очень понравился.

— А молодым?

— Молодым не понравилось. Молодые не хотят по-старому жить. Они хотят, чтобы весело было, чтоб на курсах учиться, близко к городу, к железной дороге или к заводу.— И засмеялся.— Чтоб к русским девкам ближе бегать... Они потом собирались, ездили в Н-ск. Их там пожалели и назад отправили.

— А тебе понравилось?

— Мне тоже не понравилось. Сначала послушаешь — Байсулатов о нас беспокоится, хорошо подумаешь — уводит аулы в стороны, словно в пустую степь табуны гонит. Даже если все сильно захотят по-старому жить — ничего не выйдет. Все изменится. Так умные люди говорят.

— Ты бы собрал одних молодых да постановил по-новому жить.

— Что сделаешь с молодыми! — воскликнул в досаде

Байжанов.— Они только шуметь могут. Я сказал, что им надо... А землю пахать и скот разводить они сами, без старших, не станут.

— Не понимаю... Ты говорил, что сеяться собираешься... Единолично или артельно?

— Кто хочет, пусть пашет, силой заставлять никого не хочу.

— А урожай как поделишь? Хлеба-то у тебя все попросят.

— Не знаю! — бесшабашно ответил Байжанов.— К черту всех! Видишь, где пшеницу храню? Семена под расписку выдавать буду. Кто посеет, тот останется, кто не хочет — пусть уходит. Уже три аула разъехалось. Теперь наша очередь. Надоело уговаривать.

Похмельный стянул сапоги, бросил их к мешкам.

— Дела у вас. Я-то думал, только у нас трудно. У вас, гляжу, не легче. Конечно, если таким манером руководить...

— Ну-у, здесь хуже,— заволновался в своем углу Байжанов.— Народ не сильно грамотный. Много ислам верует, много родов, много старых обычаев, законов. Здесь трудней... Еще слушай. Через месяц приезжает Абдыкалымов. Опять всех собирает, долго говорит. Сказал, что Байсулатов ничего не понимает. Нам надо колхозом жить. Не для того, говорит, казахи помогали белых бить, чтобы теперь по степи туда-сюда бродить. Все русские хорошо в колхозах живут. Мы — по-старому: зимой в буран клок сена ищем, сами мерзнем, болеем, скот от джута гибнет, летом — жара, докторов нет, ветеринаров нет, молодых за собой таскаем, им учиться невозможно. Если так и дальше будет, то казахи никогда не станут большой нацией. Не создадут свою республику. У нас, сказал, потому много скота уводят, что мы не живем колхозом. Когда колхоз будет — никто не имеет права забирать. Станем окончательно оседлым аулом. Нам школу откроют, больницу, молодые учиться поедут, старикам на одном месте легче жить... Будем сеять немного, немного скота держать, свой хлеб будет, мясо, овощи... Очень хорошо говорил. Проводили лучше, чем Байсулатова. Почти весь аул хотел сразу в колхоз идти. Только три бая уехали — были против. Через неделю приезжает Гнездилов. Никаких колхозов и артелей, кричит. У вас еще много старых отношений. Есть богатые и бедные. Колхоз даст барыш не раньше, чем

через год. Вы не выдержите. Переругаетесь и разъедетесь. Нам, сказал, сначала тоз нужен.

— Вот и надо было выслать своих богатеев. Выслали бы, и делу конец. Колхоз для вас — милое дело.

— Нам нельзя выслать! Я тебе говорю: много родов, законов. Если хоть одного вышлем, со всех сторон съедутся, драка будет. Мне трудно тебе объяснить, потом скажу... Говорит: давай сначала одних бедняков соберем, обобщим их хозяйства. Если хорошо выйдет, к вам со всей степи бедные казахи приедут. У баев потихоньку будем отбирать лошадей и вам давать. Аул сохраните, людей... Гнездилов умный, хорошо нашу жизнь знает... Помогать обещал. Я стал говорить с людьми. Видим: самое мудрое решение. Никого не обижаем. Каждый, кто вступил в тоз, дал сколько мог скота. Совсем немного времени прошло — приезжают начальники из Н-ска. Сказали, Гнездилов ошибся. Тоз — прошлое дело. Артели нужны. Везде создаем, у нас тоже. Меня стали ругать: почему мало людей в тоз собрал? Почему одних бедных, почему много людей еще раздумывают? Сами взялись за дело. Целую неделю у нас жили, даже милиция приезжала...— Здесь Байжанов замолчал, но Похмельному было ясно, что стало с аулом, когда за него взялось приезжее начальство...

— Да-а,— протянул он, думая, снимать кожанку или спать в ней,— дела у вас...

— То, что весь аул загнали в артель — еще туда-сюда,— грустно продолжал Байжанов.— Самое плохое, что много людей из аула выехало и еще больше лошадей забрали. Когда все обобщили, видят — лошадей много. Тогда сказали, что нам столько лошадей в артели не потребуется. Семьдесят голов увели. Сказали: нужно на стройки, железные дороги строить. Дали взамен пшеницы, деньги зачислили на наши кредиты... не знаю, как назвать правильно по-русски...

Похмельный подсказал. Ему стало ясно, что в ауле, пожалуй, хуже, чем в Гуляевке.

— Зачем нам деньги? — тускло спросил Байжанов.— Нам лошади нужны. Теперь все недовольны: и старые и молодые. Обманул нас Гнездилов. Сейчас кто ни приедет — никого слушать не хотят. Плюются. Не знаю, кто выйдет пахать...

— Гнездилов знал об этом?

— Что он сделает? Он сам ездил к Айдарбекову, просил, чтоб в аулах артели не делали, не угоняли скот. Не слушали его. Говорят, заводы — главное дело, аул терпеть может...

— Да зачем же вы показывали лошадей? Загнали бы в леса, там сам черт не сыскал бы! Ты-то понимаешь, что твой аул к развалу идет? Что же вы творите на пару с Гнездиловым! Эх, ребята, бить вас некому!..

Чужая бесхозяйственность согнала сонливость. Он со злостью швырнул кожанку в изголовье.

— Мне одолжить не хочешь, а кому-то даром отдал! Ты коммунист?

— Да. Почему так спрашиваешь?

— Потому, что толковый коммунист должен заботиться о своем деле. Лично ты — о своем ауле. А ты что творишь с ним?

Байжанов повысил голос:

— Хороший коммунист обязан думать обо всех. О тех рабочих, кто уголь добывает,— тоже. Меня в отряде Джангильдина учили...

— Думать ты должен обо всех, а дело делать на том месте, куда тебя партия послала. Дело делать и не распылять его на пустые речи... Делай здесь хорошо — где-то отзовется... Что? И опять не верю! Что ты врешь на своих людей? Лошадиное село довести до такого состояния... Брось ты мне про веру! Затуркали их вместе с Гнездиловым, теперь: ве-ера не та! Советская власть потому и стоит, что в нее поверили самые забитые народы, в том числе и твои казахи. Стыдно тебе... Ты мне своих людей дураками не выставляй!

Похмельный откинул стеганое одеяло и уже не думал о том, что шумит среди ночи в доме того, у кого приехал просить, что через стенку спят родители Байжанова с внуками. В злости бил наотмашь:

— Кто ты есть? Кто ты теперь? Министр без портфеля — вот ты кто на данный момент! «Приезжают, кричат, все по-разному!» — ядовито напомнил он разговор в юрте.— А сам-то ты чего бездействуешь? Почему людей не сколачиваешь. На кой хрен тебя избрали? Ты должен вести народ! Ты, а не твой гость, бай или как его там...

Байжанов даже опешил от неожиданного наскока:

— Я тебе говорю: у нас все по-другому... Осторожно надо... Требуют осторожно с людьми... Сам черт не пой-

мет... Гнездилов говорит одно, остальные — другое, кого слушать?

— Коммунистов! — рявкнул Похмельный.

— К нам не коммунисты не приезжают,— тоже вспыхнул Байжанов.

— Слушай только умных коммунистов!

— Глупых в окружкомы не назначают,— вновь нашелся казах.

— Тогда совесть свою слушай, к людям прислушайся, они всегда лучший выход подскажут... Я в толк не возьму: тебе, председателю, и не верят! У тебя есть в ауле активисты или сочувствующие партии?

— Два-три человека... Тебе все твои гуляевцы верят? — насмешливо спросил Байжанов.

— Да что я! Я неделю в селе, а ты здешний,— с досадой на собственную неуместную горячность ответил Похмельный. Спор сейчас затевать не стоило, и он уже мягче добавил: — Тебе веры должно быть больше, чем какому-нибудь приезжему. Люди всегда поймут, кто им добра желает. Не такие они наивные, как ты рассказываешь.

Но Байжанов уступку не принял:

— Я вижу, ты тоже можешь хорошо говорить. Только почему все время хочешь сказать, какие мои аульчане умные? А? Думаешь, поможет?

Намек был унижающ и обиден: Похмельный искренне сочувствовал неизвестным ему аульчанам, без всякого расчета на предстоящий разговор с ними.

— Поможет не поможет — не знаю, но людей мне жаль. Мы и так их в этот год...

— Вот ты завтра пожалей их, похвали за ум. Посмотрим, что у тебя выйдет, дадут они тебе лошадей или нет.

— Посмотрим,— пошел на попятную Похмельный, укрываясь толстым одеялом.— Ты-то свое слово скажешь? Поддержишь меня?

— Попробую,— буркнул казах и погасил лампу.

Постель была холодной. Похмельный зябко потер плечи, плотно завернулся в одеяло.

— Ты не обижайся, Байжанов. Я не со зла... За наши ошибки они расплачиваются. Уж кто-кто, а я-то хорошо знаю... Мне ведь без разницы — казахи, русские, украинцы, хоть китайцы с неграми,— лишь бы нам верили, наше дело строили... Кто мне гуляевцы? Да никто. Та-

кой же черт, что и у тебя в ауле. А сегодня, когда они бригадами в поля выехали,— от души благодарил. Завтра наверняка опять грызню затеем, но нынче утром — расцеловал бы каждого,— тихо говорил Похмельный, привыкая к темноте, в которой медленно проступал едва различимый переплет оконца.— А кроме колхоза, у меня еще двести человек сосланных, вместе с детишками. С гуляевцами трудно, а с ними и того хуже. Вот где крест мой, и нести его мне никто не поможет... Ты спишь?

Байжанов невнятно отозвался, и Похмельный замолчал. Уже засыпая и не в силах отогнать картин пережитого за день, бессвязно низавшихся в памяти одна к другой, он вдруг вспомнил и приподнялся на локте:

— Слушай, аксакал, у тебя можно козу купить?

Байжанов спросонья не понял:

— Какую козу?

— Обыкновенную, но чтоб доилась. В селе семья сосланных есть, голодают они, сам не понимаешь... На корову у меня денег не хватит, но козу я бы с удовольствием... Ты мне по сходной цене, по-соседски...

— В нашем ауле нету. Скажу своим людям, они найдут. Тебе самому надо много молока пить. Худой... Почему называешь меня аксакалом? Так только старых людей зовут. Завтра так не скажи — весь аул смеяться будет.

Похмельный мысленно выругал Гарькавого за его совет чаще обращаться к казахам именно так и тотчас уснул...

III

Когда он проснулся, в доме никого не было. Сквозь измызганное оконце на кошмы мягко ложился солнечный свет, во дворе слышались голоса, где-то неподалеку деловито и звонко простучали молотком. Он оделся и вышел на улицу.

С вершин близкого леса по аулу било восходящее солнце. Ярко высветились глинобитные мазанки, горели окна, искрилась мокрая от росы трава, прозрачно голубел дым костра — все блистало в утренней свежести. Только по опушкам лежали сизые тени да небо к западу хранило глубокую синеву и холод ночи.

Аул, раскинувшийся на большой поляне, был нищ,

Три-четыре жилых постройки еще можно было назвать домами, остальные — копухи, с проросшей травой на дерновых крышах. В неогороженных дворах царило запустенье, не видно было хлевов, амбаров, различных пристроек, какими богаты села, не слышалось гусиного гогота, петушиного крика, только и того, что в каждом дворе рыжели копны прошлогоднего сена, да удивило число собак.

У костра, среди других, были и знакомые по вчерашнему ужину. На его бодрое приветствие ответили кто кивком, кто по-русски, и настороженно.

— Зачем рано встал? — спросил Байжанов.

— Спасибо, выспался... Тому, кто поздно встает, бог взаймы не дает.

— Твои друзья уже кушают. Пошли и мы. На голодный живот плохо просить.— Байжанов подмигнул остальным, но ни перевранную с намеком поговорку, ни шутку председателя аула не поддержали, Похмельному стало неловко за него, и, уже умываясь, он вскользь поинтересовался:

— Не говорил еще с народом?

— Зачем тебе мешать? Сам хорошо скажешь.

Похмельный так и не понял, чего больше было в ответе, спокойствия или безразличия. Он вспомнил молчание казахов, каким только что отозвались у костра в ответ на его веселость, и сверкающее утро потеряло свою прелесть. Исход разговора с аульчанами стал ясен... Но виду не подал и с серьезным тоном согласился:

— И правильно, что не говорил. Не то они решат заранее, потом попробуй переубеди! Их долго собирать?

— Пока покушаем, все там будут.

И верно, пока перекусили, попили чаю с сушеной ягодой, на поляне, у погасшего костра, у разбитых повозок, возле которых чинили арбу Қарабая, у ближней мазанки, кучно и поврозь стояли аульчане. Отдельно собрались женщины.

С тех пор как здесь возник аул, многое слышала и видела эта поляна. В недавние, более спокойные времена на ней вечерами слушал аул проезжего акына. Пел акын о подвигах батыров, защищавших свой народ, о несметных богатствах ханов, о трагических судьбах влюбленных, которые, не вынеся разлук, обращались в лебедей, скалы и озера, делая красивые места еще

прекрасней. Но никакие красоты и любвеобильные сказы так не полнили сердца тихой гордостью и тягучей печалью, как песенные истории, полные былой славы и могущества великой Орды. Прошлое народа уже исчерпало себя и, кроме легенд, ничего дать не могло. Жить по-старому означало жить еще хуже, да и в новом хорошего было мало — все та же проклятая издольщина, грошовая оплата на рудниках русских и многочисленных иностранных предпринимателей, хищнически вывозивших за границу природные богатства, власть царских чиновников и своего байства, державшего народ в духовной кабале «родовым культом», что неизбежно приводило к массовому обнищанию одних и непомерному обогащению немногих других. Оставались лишь предания. Одни сердца они печалили, другие — сжимали гневом. У кого какое сердце, поясняли акыны...

На поляне веселилась молодежь, здесь состязались в остроумии, силе, песнях, находили избранников.

Здесь выяснялись родовые обиды, между имущими делился скот и пастбища, а бедняки скрепя сердце «восхищались» мудрой дележкой, от которой ничего не имели, кроме лишней работы да разорительных переездов. С таким же лживым уважением соглашались после дележа с родовой «помощью» и «братством» казахов...

С начала века относительно спокойные времена кончились. Все чаще влетал на поляну, круто вздымая на дыбы хрипящего коня, всадник с тревожной вестью, и тогда срывались конные аульчане с нагайками мстить обидчикам или на барымту, а с шестнадцатого года — в тургайские степи к Иманову. В годы революции и гражданской войны на ней витийствовали алашевцы и муллы. Первые напоминали, о чем пели акыны, вторые — призывали к Корану, а вместе — к сплочению и борьбе против русских, когда-то отобравших земли, а ныне посягнувших на большее — память и заветы отцов, их святые могилы.

Бедняки угрюмо молчали, по привычке кивали головами и... уходили в красные отряды: русские научили их различать не только ростки на огородных грядках — научили различать классы угнетателей и угнетенных.

Многие аульчане ушли с поляны навсегда... А вскоре оставшиеся в аулах старики скоренько вывели из лесов припрятанных лошадей, которых потребовали отступавшие колчаковцы. Этим было не до легенд и увещеваний,

они спешили, поэтому делали все быстро: быстро приказывали, еще быстрее за неповиновение ставили стариков к стенке.

С приходом Советской власти сразу повернуло к лучшему. Миновал страшный голод начала двадцатых годов. По аулам он, правда, прошелся не с таким жутким опустошением — от мучительных смертей спас скот, но горя принес немало, и ужасающие последствия аулы залечивали несколько лет. С первым же переделом сенокосно-пахотных угодий аулу вернули почти все его исконные земли. Люди стали возвращаться, строить жилье, распахивать под пшеницу небольшие участки лесных земель, в обиходе появилось то, чему раньше, наезжая в села, только завидовать приходилось. Вновь начались обмены с селами, ширились и богатели ярмарки, поплыл сытный запашок над поляной в дни приезда уважаемых гостей, но потом стало хуже.

Несколько лет подряд из-за засухи выпали нероды. Травы сохли, не успев подняться. Не хватало сена, кормов, что немедленно сказалось на приплоде — стало меньше скота. Джут для казаха по своим последствиям куда губительней, чем для оседлого переселенца. К тому же с каждым годом все больше и больше требовалось скота на новые рудники и шахты, стройки и в рабочие поселки: край строился, работал там свой люд, в том числе и казахи. Приезжало руководство районов, губкомов, округов, различных организаций, все просили, убеждали, требовали, разъясняли, трясли счетами, которые они обещали открыть в банке аулу, предлагали всевозможные кредиты, инвентарь, стройматериалы, даже зерно везли на обмен, наконец, грозили — и угоняли скот.

Аульчане понимали: надо, не байские табуны пополнять угоняли — своему брату, но от этого легче не было. Больше всего возмущала неопределенность требований, неясность дальнейшего развития и судьбы аула.

Что деньги? В трудные годы разве стоит хороший конь тех денег, которые предлагали иные заготовители.

Аул недоумевал — кто бы ни приезжал: свои ли, чужие, высокое начальство или местное, русские ли, казахи — безразлично — чувствовалось, говорят люди с сердцем, с болью за них, переживая и сочувствуя, а жизни по-прежнему, какой хотелось, не получалось. Теперь аульчане собрались послушать Похмельного.

Его нисколько не смущало вольное расположение

слушателей — напротив, в свободной обстановке он чувствовал себя гораздо увереннней, чем в окружкомовском зальце, где в строгой тишине серьезного, выдержанного собрания партработников Карнович заставлял его отчитываться о поездках. С людьми в селах было проще: говорил он с ними то приподнято, с горячностью, созвучно времени, то выбирал слова более близкие сердцу крестьянина. В своем селе или среди знакомых людей в соседних селеньях мог говорить запросто и порой — если позволяла обстановка — бесшабашным матом лучше всяких обещаний успокаивал встревоженных мужиков.

Здесь было иное. Тревожило то, что собрался народ незнакомый, со своим языком, укладом и обычаями, которые, он слышал, здесь особо ценятся. Как бы не перегнуть, не обидеть, а пуще всего — не оскорбить невзначай, поэтому он поначалу замялся: с чего начать? То ли сразу по-простецки объявить, зачем приехал, то ли для затравки разбить всех врагов социализма и уж потом мягко подвести к сути дела, что было основным приемом его нехитрого ораторского искусства.

От ближней мазанки насмешливо спросили:

— Что ж вы ему трибуну не приготовили? Он у нас без нее говорить не может.

Похмельный гневно обернулся. Это Павло, сытно поев и теперь нежась по-кошачьи под солнышком на завалинке вместе с Иваном и молодыми казахами, не удержался съязвить. Вокруг заулыбались. А вот эту веселость аульчане поняли и приняли, хоть слово «трибуна» им навряд ли было известно.

Похмельный мгновенно перестроился. Он дал понять, какой веселый у него друг-приятель, потому и с собой взял, и хлопнул ладонью по разбитой повозке:

— Чем не трибуна!

Вскочил на нее и со всей добросердечностью заговорил:

— Дорогие граждане казахи! Вы уже знаете, кто я и зачем приехал, поэтому прошу вас: не откажите. От всего трудового крестьянства поклонюсь вам! Вы знаете, сколько у нас тягла, сколько с нас требуют засеять. Без вашей помощи не успеем, не уложимся... Вы погодите отказывать, выслушайте поначалу. Я ведь не задаром! Давайте сообща подумаем, чем за вашу доброту наш колхоз отблагодарить сможет. В чем вы особо нуждаетесь, тем и поможем...— Он продолжал говорить; ауль-

чане окружали повозку. На завалинке остались только Иван и Павло. Слова Похмельного мало-помалу находили отклик. Он уже заметил нескольких, готовых ему ответить; они ждали, когда он закончит.

Один из них, старый казах в латанном до смеху чапане, из тех, кто вчера особенно горячо поддерживал Касымова, едва Похмельный умолк, тут же обратился к своим, но по-русски, так, чтобы и Похмельный понял:

— Русский баскарма лошадь просит? Ой-бой! Тысячу лет не просил, сто лет не просил, десять лет не просил, сегодня первый раз просит.— И крикнул Похмельному: — Кто тебе даст лошадь? Казах всю жизнь у вас просил. Пришел хохол, у казаха все земли забрал, стал Гуляевку строить. Мы все просили: отдай наши пастбища и зимовку. Что русский начальник сказал? Пошел вон, казах! Налоги брал, скот брал, казаха на войну брал, мы опять все просили: не надо на войну брать. Что русский сказал? Пошел вон, казах! Казах Колчака бил, Советской власти помогал; власть пришла, у казаха весь скот забирает — пошел вон, казах! Аул сейчас бедный, скота мало, пшеницы мало, лавки нету, кочевать нельзя, обычай наши делать нельзя — опять пошел вон, казах! А ты лошадь приехал просить? — Он с важным видом надулся, что-то грозно спросил у себя, сам себе робко ответил, отчего все засмеялись.

Похмельный сделал вид, что и ему смешно.

— Вот уж точно сказано! Я ведь знаю, как с вас раньше по три шкуры драли. Но я поправлю тебя, веселый ты человек, чуточку поправлю... Я вчера говорил вашему председателю, теперь вам скажу. Вам, казахам, надо понять, что нынче и начальники другие стали, и гуляевцы. Ну, гуляевцы — те же, но вот здесь,— он многозначительно постучал себя по виску,— у них мно-о-гое изменилось! Обижали они вас раньше? Землицу у вас оттяпали? Ссоры и драки промеж вас случались?.. О, как вы дружно поддакиваете... А почему? Да от жадности! Каждому гуляевцу хотелось земли поболе, покосов, чтоб богатеть и наживаться. «Всэ до сэбе»,— язвительно прошелся он по гуляевским замашкам и даже жадно подгреб руками к себе что-то невидимое.— А царские сатрапы одобряли. Теперь кончилось. Исчез повод аулу с селом ругаться. Советская власть покончила с ним, объявив всю землю государственной. Не имеют гуляевцы прав на еще какие-то земли, кроме колхозных, Земли

нашего колхоза и вашего аула четко разграничены и узаконены. И если я перейду межи, вспашу, засею или на ваши выпасы свой скот выгоню, то вы на меня — в суд, и с колхоза высчитают за потраву...

Слева от повозки, где были старики, поинтересовались:

— Почему сейчас забирают скот?

Похмельный заметил спросившего — то был Касымов.

— Врать не буду — не знаю. Может, кто-то недодумал, может, передумал, но слышал я, будто бы забирают на стройки. У вас, говорят, большое строительство идет. Конечно, это не оправдание. Я вчера сильно возмущался. Такая же петрушка и в селах. Вы помните, какая была Гуляевка и какой стала. Гуляевцам еще обидней. Но скажу одно: все это временно. Советской власти невыгодно, чтобы вы жили бедно, от этого беднеет и государство. Наше спасение, товарищи, в создании колхозов или артелей. Вы не думайте, ради бога, что обижают вас потому, что вы казахи. Теперь законы для всех равны... Вы Гнездилова знаете? Гнездилов об ваших аулах гораздо больше печется, чем о Гуляевках. И не потому, что добрый, а потому что за вас с него Советская власть не три, а все семь шкур спустит...

Вплотную к повозке подошел еще один казах. Похмельный заметил, что спорят с ним преимущественно люди в годах, молодежь помалкивает. В другом случае такая дисциплинированность ему бы понравилась, но сейчас хотелось, чтобы и молодежь откликнулась — он почему-то числил ее в сочувствующих.

Казах добродушно спросил:

— Теперь землю у нас отбирать не будут?

— Не будут.

— Зимовки, где хорошая вода, тоже отбирать не будут? — с тем же наивным любопытством уточнял казах.

Похмельный впервые искренне улыбнулся:

— Конечно, нет, дедок! Сколько с вас тянуть-то можно? За каждым аулом земли закреплены навечно. Неужто не знаете? Теперь никто не имеет права...

— Что брешешь? — грубо оборвал его казах. Добродушие оказалось обманчивым. Казах указал на завалинку.— Это кулаки. Их сослали сюда совсем жить. Еще много тысяч будет. Где ты их всех жить заставишь?

В села их не пустят. Ты будешь их на наши зимовки гнать. Уже пять зимовок вы отдали! Отдашь им наш скот. Наши пастбища прикажешь распахивать. Куда казахи свой скот зимовать приведут? Новое место надо искать.— Он повернулся к аульчанам и с тем же гневным возбуждением (он даже приседал, когда хлопал себя по бокам) на своем языке дополнил то, что на русском говорил Похмельному.

Его шумно поддержали, и он вновь повернулся к повозке.

— Кто ни приедет — все брешут. Никто слова правды не говорит. Ты тоже такой. Уходи вон, ничего не получишь!

Он что-то сказал старикам, среди которых находился и Касымов, и пошел прочь. За ним потянулись несколько человек.

Похмельный растерянно взглянул на Байжанова: где же обещанная помощь? Председатель аула безучастно смотрел на уходящих. На завалинке посмеивались... И Похмельный не мог придумать ничего лучшего, как выхватить наган и выстрелить в воздух. Все вздрогнули. Вскочили на завалинке. Уходящие остановились.

— Некрасиво,— натужно улыбался им на повозке Похмельный,— не по вашим обычаям. Я приехал не отбирать — просить, с поклоном, с уважением к вам, а вы ко мне задом... Вернись, дедок, договорим!.. Ну, чего ты набросился на меня? — спросил он, когда казах вернулся к повозке.— Чем, скажи, дорогой, я перед тобой виноват? — Он спрятал наган и присел на корточки, чтобы быть лицом к лицу со стариком.

— Кто кулаков привел?

— А тебе какая разница? Неужто тебе здесь земли мало? Была бы в пользу, а то пустует... Поймите вы, сердечные люди: не могут большевики в один год всех накормить и обстроить. Нам всего двенадцать лет, а вы власти такой счет предъявляете, будто ей все сто... Чего же ты царскому чиновнику не кричал, что он брешет? Ему нельзя, а мне, коммунисту, можно? Нехорошо, гражданин аксакал... Ну, объясни, почему бы вам не дать лошадей? Да мы вам в три раза большим отплатим! Можем сена накосить, тесу заготовим, построим чего-нибудь... Людьми поможем... Да, господи, чем угодно!

На его предложения вопросом, от которого в радостном ожидании забилось сердце, ответил Касымов:

— Сколько тебе надо лошадей, чтобы вовремя засеяться?

— Сколько сможешь! Четверо коней в плуг... Нет, вру: шестеро коней в плуг — в день гектар... десятина. Только добрых коней! Не знаю, как и величать тебя, дорогой товарищ... Засеемся — я с великой благодарностью и прочее... Крепко меня обяжешь! Хотя б голов двадцать...

— Двадцать лошадей просишь? — Гость на минуту задумался, покачал головой и сказал: — Разве можно тебе дать? Ты запалишь их на пахоте. Вы все жадные работать. Будете пахать днем и ночью — лошади чужие. Что потом с ними делать? Их волки жрать не станут.

Похмельный сдержался и ответил спокойно:

— Не без того. Тяжко придется вашим лошадкам. Но беречь будем. Мало ли, может, еще попросить придется... А ты, дядя, об чем хлопочешь? Боишься, что этими лошадьми тебе в ауле долг вернут?

И обрадовался тому, что ответу дружно рассмеялись аульчане.

Однако гость не смутился:

— Долг подождет хороших лошадей... Почему ты все время говоришь, какие твои гуляевцы теперь добрые стали, нас любят? Когда аулу два раза возвращали наши земли, почему хорошо не отдали? Бить нас хотели, ездили жаловаться. Почему за вашу мельницу больше всех аул платит? В лавке от казаха товар прячут, в керосин воду добавляют, дети камни кидают, а пьяные мужики вот так показывают? — гость зажал в кулаке полу камзола, отчего она стала похожа на свиное ухо, оскорбление для мусульманина довольно-таки тяжелое.— Думаешь, ты хитрый, мы ничего не понимаем. Все любят! — гость, актерствуя, приподнял руки и важно откинулся назад. Аульчане вновь развеселились.— Кто тебе поверит? Ты почему с собой чужих людей взял? Потому что мы всех гуляевцев вот так знаем! — он с силой выбросил к Похмельному растопыренную пятерню.— Они еще хуже стали! Боятся к нам ездить — мы всю правду скажем...

Аульчане с любопытством следили за Похмельным. Он уже начал уставать от их дружного упрямства, выкриков, глупых, не по адресу упреков гостя и тяжелого молчания Байжанова. Но делать было нечего, приходи-

лось соглашаться, опровергать, доказывать теперь уже не одному гостю (в спор втянулись почти все присутствующие), сокрушаться над судьбой аула и внимательно выслушивать откровенно злобную ересь. И он готов был пойти на любое унижение, выслушать самое оскорбительное, лишь бы оно побыстрее кончилось и они дали лошадей...

— Зачем так делают? — добивался от него ответа старый казах, тот самый, который гнал прочь Похмельного из аула: он только что рассказал о нескольких годах своего батрачества в Гуляевке у отца Антона Кривельняка. На его требование прибавить к оплате за найм Кривельняк выкинул с чердака ему под ноги пару изношенных сапог. Когда казах попросил еще чего-нибудь, Кривельняк слез и выбил ему два зуба: «Нехай, собака, меру знае. Теперь не буде гавкать, бо я ще й лишнего дав...»

— Мы совсем худо жить стали,— кричал казах у повозки.— В Гуляевке тоже одни обманщики. Не отдадут наших лошадей.

— Уйдем к кочевым родам.

— Не надо артель!

— Верните скот!

Слышны стали даже женские голоса.

Похмельный, зажав кепку в руке, старался пробиться сквозь шум.

— Уважаемые граждане казахи! Тихо!.. Дорогие аксакалы!.. Что ж вы орете-то... Да поймите вы, наконец, простую мысль: пришел конец этому бардаку. Наводим порядок в селах. Наведем и в аулах. Еще раз вам говорю: нет смысла Советской власти держать вас в нищете...

— Пусть не трогает нас твоя власть! — выкрикнул казах в латаном чапане.

Это было последним, что переполнило терпение.

— А это ты видел? — неожиданно для себя самого с ледяным спокойствием спросил Похмельный и, не думая о последствиях, показал старику кукиш. Аул замер.— Видел? Много вас таких умников объявится без власти жить... Черт с вами! Обойдемся! — Он нахлобучил кепку и одернул кожанку.— Что, дед, обиделся? Говори спасибо, что ты не в Гуляевке,— я бы тебе не так ответил... Попривыкли здесь, в лесу, с волками жить, думаете, и дальше так пойдет? Не выгорит! Ишь какую моду взяли:

чуть что — власть виновата. Вам кто два раза ваши земли возвращал? Вам не угодишь: колхоз — рано, тозы — плохо, артелью жить не желаете. Какого вам лешего надо? Видимо, кнута хорошего... Работать надо, граждане казахи! Работать, а не митинговать, да слушать таких вот,— он указал на аульного гостя.— Я уж не говорю про вашего председателя. Доведут они вдвоем вас до сладкой жизни. Вы гляньте на свои хаты! На что они похожи! На ваш аул глядеть противно. Лес рядом, вода близко... Руки лень приложить? Зад тяжелый? А попрекать мастера! — Он гневно крутнулся в сторону аульного гостя.— Это ты, зануда, советовал нам друг на дружке пахать?

Карабай, который находился здесь же, отчаянно замахал руками: не он!

— Да ты не маши — все они одинаковы... Запрягайся! Едем.— Он спрыгнул с повозки и очутился перед Байжановым.

— Ты все сказал? — спросил казах.

— Тебе мало? В райкоме я тебе добавлю!

— Тогда иди туда, на мое место, и сиди...

Первое, что понял Похмельный, было то, что Байжанов о чем-то спросил. Ему ответили с согласием, и даже гость снисходительно кивнул головой. Затем Байжанов указал на завалинку и на Похмельного и вновь спросил. На этот раз ему возразили, с раздражением закричали и в свою очередь стали спрашивать. Он нехотя соглашался, но — было видно — внутренне не уступил и, как только вопросы иссякли, опять со своим каким-то прибереженным доводом налег на аул, потому что достаточного ответа не нашлось, лишь недоумевающий говорок прошелестел.

Байжанов заговорил громче, отрывистей, и Похмельный, даже не понимая языка, ощутил напор и взволнованность его речи. В низком гортанном языке слышалась твердость, аульчане стали переглядываться, пожимать плечами, кое-кто улыбнулся; уже наметились, судя по этим улыбкам, сторонники и в окружении аульного гостя. Возражали Байжанову те же, что и Похмельному. Вопрос — ответ, ответ — вопрос... От последнего ответа Байжанова мужчины расхохотались, а молодые женщины, хихикая в рукава, отошли к мазанке.

Байжанову пытался помогать Карабай — что-то выкрикивал; его не слушали. А Байжанов в чем-то упорно

добивался согласия, и каждое такое выдавленное согласие он утверждал хлопком по колесному ободу.

Похмельный с волнением следил за ним. Ему было ясно, чего добивается председатель артели. С последним вопросом Байжанова согласилось большинство, и он поманил к себе Похмельного.

— Даем тебе тридцать лошадей... Подожди, потом... Даем больше, чтобы ты берег их. Я тебе верю, но бумагу ты все-таки напиши. Обманывать не советую — могут тебе посевы пожечь... Теперь скажи людям...

Похмельный сдернул кепку... Благодарность вышла комканой — мешало волнение. Он все твердил о помощи, которую-де гуляевцы окажут аулу.

— Сено помогай косить!

— Соль и товар продавай!

— За помол деньги не бери!

Много еще чего требовали аульчане. Он всем кивал головой, соглашаясь, и кому ни попадя жал руки. И он и аульчане прекрасно понимали, что требуют больше для порядка, как это и делается испокон веков при подобных сделках, и если требовать все, что необходимо, то не с него — он, что в его силах, тем и поможет, требовать надо с людей повыше должностями, а с него так, душу отвести, не больше...

Радостно суетился Карабай, молчали на завалинке...

Похмельный и Байжанов остались вдвоем.

— Ну что, объяснил? — насмешливо спросил казах.— Хорошо они тебя учили! Я нарочно молчал, хотел, чтобы они тебе все сказали. Теперь будешь знать!

— Да тут сам черт не поймет! Ты молчишь, а они навалились всем аулом, дыхнуть нечем... Спасибо. Спасибо тебе, председатель!.. Слушай, что ты им говорил? На меня показывал?

— Какое твое дело! — засмеялся Байжанов.— На тебя показывал — хвалил: ты первый, кто перед ними шапку снял, никто до тебя не снимал...— И серьезно добавил: — Говорил то же самое, что и ты. Хватит нам ругаться, давние обиды... и ближние тоже — вспоминать! Наши земли рядом, теперь надо, чтобы и дела наши... Что с тобой?

Похмельный морщился, искал взглядом по сторонам:

— Ах, неладно! Где тот старик, которому я... которого обидел? Черт меня дернул! Надо бы прощения попросить... Где он?

— Да, нехорошо. У нас стариков уважают. Другому не простили бы... Ничего, у тебя будет еще время прощенья просить... Но прощенья нам с тобой не за это просить надо. Понимаешь, о чем я говорю? Молодец, все ты понимаешь, все знаешь. Только не знаешь, что гуляевцы всю жизнь в плуг пару коней заводят,— засмеялся Байжанов, уличая Похмельного в наивной хитрости.— Бери своих джигитов, пора собираться. Лошадей мы в ауле не держим — на зимовке. Сделаем так...

Байжанов стал рассказывать, как лучше перегнать лошадей в село, а Похмельный слушал и с любопытством его рассматривал: он только теперь увидел, что Байжанов хорош собой — той особой, мужественной красотой азиата, которую веками оттачивала суровая природа на немногих лицах казахов-кочевников...

IV

Лошадей с зимовки, которая находилась в лесу, недалеко от аула, отправляли сами аульчане. Руководил отправкой молодой казах Қанаш с тремя приятелями, им помогал Похмельный. Ивана и Павла за ненадобностью посоветовали отправить с Қарабаем в село — пусть предупредят да загон готовят.

Лошади держались кучно, гнали их табуном. Қанаш, смешливый, быстрый, ловко управлял ими на низенькой и злой монгольской трехлетке. Она без повода заворачивала к табуну отбившихся лошадей, при посылке легко срывалась в намет; Похмельный откровенно любовался ею.

Путь от зимовки к селу пролегал межлесовьем, мимо небольшого лесного озерка, где казахи решили напоить табун.

У озера они догнали арбу Қарабая. Его лошадь поили попутчики; сам он ушел к старому мазару на вершине сопки, в котором второй век отдыхал от земных хлопот кто-то известный из его рода.

Табун загнали в озеро. Похмельный спешился неподалеку от арбы и долго ждал, посвистывая дончаку, когда отстоится взбаламученная вода.

Вскоре вернулся старик и удивился: как же так, ружье есть, патроны есть, уток много — и без добычи. Похмельный сожалеюще развел руками: нельзя стрелять — лошади всполошатся, да и времени нет.

По другую сторону озера, за камышами, выгоняя лошадей на берег, закричали табунщики. Арба медленно тронулась дальше. Похмельный выждал, когда крики смолкли, и поехал вслед за ней, огибая озеро, навстречу табуну, с расчетом не дать ему пойти вокруг и направить в ту сторону, где становилось просторнее, березы мельчали, сбиваясь в сквозные колки, за которыми угадывалась степь, а по горизонту, среди темной бахромы верб и осокорей, белыми крупинками хат должна открыться взгляду Гуляевка.

Над головами низко пронеслась стая уток, шумно забила крыльями, опускаясь на воду, и Похмельному подумалось: а хорошо бы взять несколько штук да отдать парням — пусть порадуют стариков. С этой мыслью поскакал к табунщикам. Канаш рассмеялся: да этот табун он один в село доставит, столько помощников. Похмельный обрадовался, свистом остановил арбу, взял ружье и сказал Карабаю, чтобы в селе не беспокоились: он с озера завернет в первую бригаду и уж потом — в село.

Табун погнали дальше, арба, кособочась по подошве сопки, двинулась в сторону басыревской дороги, а Похмельный, привязав дончака в тени берез, уже объятый охотничьим азартом, пригибаясь, пошел назад, к озеру.

На басыревский летник выезжали долго. Старик лошаденку не торопил, берег арбу на кочковатом бездорожье. Павло по-прежнему валялся, Иван шел рядом с арбой. Довольный исходом дела, Карабай указывал на лески, именуемые по-здешнему «гаями», рассказывал о крае, о том, сколько доброго дерева вырубили местные переселенцы, в том числе и гуляевцы, не посадив ни одного ростка взамен, да нахваливал различные варенья и соленья, которыми впрок запасаются на зиму с этих гаев и полян расторопные гуляевские бабы.

Иван слушал его с интересом. Он и сам думал о том, что хозяйственному мужику здесь раздолье. Соленья-варенья — это по бабьей части, а вот лес... Он вспомнил, сколько приходится платить за каждую доску на его родине, в его безлесной стороне, и стал прикидывать, во что обернется хороший, под тесом, с деревянными полами дом,— здесь и там, хотя бы в Лебяжьем. Разница выходила огромная. Да, здесь, чего ни коснись,— все доброе, думалось Ивану. Земля плодородная, пастбища огромные, простор, ветряки, мельница, озера кругом, дичи много, козлы, косули водятся... Жаль, что в его, Ива-

новом, положении эти возможности нельзя использовать. Будь он полноправным колхозником, он бы сумел извлечь кое-что. Это отец глупость пороли — нанимал батраков, хвалился достатком, десятинами, дочерью. А чем кончилось? Нет, он делал бы по-другому...

Подобные размышления приносили боль, он вовремя вернул себя к дню сегодняшнему, к этому простору, к рассказам бесхитростного старика. Павло правильно делает, что или орет во все горло или дремлет...

Неожиданно арба остановилась. У ближнего гая стояло пятеро верховых.

Карабай вгляделся и объявил:

— Плохо. Ганько!

Всадники неспешно двинулись навстречу.

О Ганько Иван уже слышал, но не придавал значения: мало ли недовольных Советской властью людей, тем более, по рассказам, в его действиях ничего особенно не было. Почту вскрывают — подумаешь какой бандит! И уж меньше всего боялся встречи с ним — сам записан в злейшие враги. Кулак, за что и сослан.

Всадники окружили арбу. Один из них спешился, подошел к старику:

— Аман-ба, Карабай-ага! Как здоровьишко, дорогой? Ну и слава богу... А мы едем — глядь, табун гонят, теперь вас встретили... Куда лошадей гоните? Перепрятываете или опять поставки недовыполнили?.. Что-о? Пахать? В Гуляевку? Да что это случилось с вами, казахами? С чего так расщедрились? За какие посулы? Слыхали? — он многозначительно посмотрел на спутников. Те удивились не меньше его.

— Выходит, уговорили Байжанова,— уточнял Ганько для себя.— Любопытно знать, каким образом.— Он взглянул на Ивана.— Карабай-ага, что за люди с тобой?.. Да-а?! Откуда? С Украины? И много их?

Карабай хоть и ответил на приветствие и руку подал, но так открыто показывал свою неприязнь короткими односложными ответами и всем своим видом, что Ганько оставил его и стал расспрашивать Ивана и Павла: кто они, с каких мест, почему они в этой поездке, а не гуляевцы. Поинтересовался, за что арестовали Строкова.

Отвечал ему Павло. Отвечал заискивающе, торопился, опережал Ивана и, замечая интерес окружающих, для пущего веса безбожно врал. Слушать его Ивану было неприятно.

— Хорошо,— прервал Ганько.— Это хорошо, что они зверствуют, как ты говоришь, ну а сами-то вы о чем думаете? Стерпите над собой подобное надругательство?

В это время донесся дальний звук выстрела.

— Что это? — переглянулись всадники.

Иван оживился:

— Это новый председатель охотится.— И злорадно посоветовал: — Вы бы его расспросили. Он-то все доподлинно знает. Особым уполномоченным на высылках состоял.— Посоветовал и тотчас понял, что совершил оплошность: Карабай презрительно посмотрел на него. Ганько кивнул, и трое всадников погнали коней на выстрел.

Ганько обратился к Ивану:

— Я понимаю, в вашем положении трудно что-либо делать. С газеткой до ветру сходить — все на этом, но мне хочется послушать... Карабай-ага, ты езжай потихоньку. Если хочешь — подожди их за тем гайком. Мы сейчас там все соберемся, а я пока поговорю с парнями.

Карабай хлестнул лошадь. Ганько выждал, пока он отъехал, и продолжил:

— Если вдруг вспыхнет драка. Допустим, восстание, или мятеж, вы и тогда, словно скот на бойню, пойдете туда, куда вас партийцы погонят?

Павло помолчал и глубокомысленно изрек:

— Восстание — оно конечно. Тогда бы им...

— А сейчас не хотите? Если бы нам, то мы бы вам, так что ли?.. Слышишь, Григорьевич,— обратился он к угрюмому спутнику, которому беседа явно не нравилась,—им еще не подоспело... Вам мало того, что с вами сделали? Чего ждать? Пока они наших жен да матерей обобщать начнут? Все, что могли, они уже обобщили: землю, скот, зерно, птицу, амбары, осталось только это. Может, не стоит ждать кого-то, а самим взяться за оружие? Кони есть, винтовки дадим, седлайтесь — и с нами...

Что-то недоброе сквозило в его открытом веселом лице, добродушном тоне голоса, по которому невозможно было понять, шутит он или предлагает всерьез.

Иван промолчал, а Павло вдруг взмолился:

— Отпусти ты нас, добрый чоловиче! В селе батьки наши. Дознаются, где мы, их в лагеря зашлют. Дело твое справедливое, дай бог тому восстанию... Бить их, коммунистов, надо, кто ж против, но не можем мы зараз.

Ты поднимай, а мы опосля за тобой як один встанем!

— Испугался? — дурашливо округлил глаза Ганько и рассмеялся: — Пошутил я! Не нужен ты мне, если даже и попросишься. Да и куда брать? Никуда мы не собираемся. Да-а... Любопытно, твой отец тоже так считает? Не знаешь? Ты поинтересуйся. Боюсь, он по-другому...

Он не договорил. Все разом обернулись в ту сторону, куда недавно ускакали верховые. Оттуда торопливо-слабенькими хлопками донеслись три револьверных выстрела и следом погромче — два винтовочных.

Ганько крикнул, чтобы все оставались на местах, с руганью бросился к коню и понесся на выстрелы.

Всадник встревоженно посмотрел ему в след:

— Это те дурни забавляются. Видно, спугнули, а он с перепугу отстреливается... Зараз Михайлович им нашуткует... Вы, хлопцы, нас не бойтесь. Мы никому зла не чиним.

Его угрюмое лицо оживилось, появился интерес и даже сочувствие пробилось в голосе:

— Да, незавидная ваша доля! Крепко киданули вас через себя партийцы. Шо ни село, то слез озеро. Но вы духом не падайте. Нехай ссылают. На свою голову они ссылают! Нам бы только осени дождаться, когда они колхозников голодными в зиму оставят. От тогда отольются им наши слезы. Вспамятуются, да поздно будет!

— Неужели восставать будете,— спросил Павло с испуганной радостью.

— А то как же! — изумился всадник.— Куда ж деваться людям? Непременно восставать! Люди уже сейчас готовы, стоит только кликнуть. Да мы в неделю здесь свои порядки наведем! Только перья полетят с этих колхозов и районов. А там полыхнет! Всю страну охватит! У нас знаешь какие орлы проживають! Да не у нас одних,— добавил он многозначительно.

Радость Павла и глупая воинственность всадника развеселили Ивана. Он, стараясь быть серьезным, спросил:

— Кто ж поведет ваших орлов?

Всадник уловил усмешку и обиделся:

— Найдутся люди.— Он помолчал, все больше мрачнея, потом поинтересовался: — Но все-таки: чего именно вас председатель с собою взял? Вам же запрещено из села выходить. В доверие входите? Может, вы уже рас-

каялись в прошлой жизни и теперь в передовые колхозники метите?

— А куда ж нам еще? Именно в передовые.— На сей раз Иван улыбнулся его подозрительности.

— Оно и видно... Ты скажи, как они за свои семьи переживают! А за мою, выходит, не надо? Я за ихнюю долю что той волчара по лесу скитаюсь, а им хаханьки! Цыть! — крикнул он Павлу, попытавшемуся возразить.— Вы шо ж, гады, хочете, шоб мы вам билеты на обратную дорогу принесли? С ними по-хорошему, а они смешки строять...— Он воровато кинул взгляд в сторону ускакавшего вожака и непонятно откуда выхватил обрез.— Зараз и я пошуткую... Считаю до десяти. Не успеете добежать до гая — стрельну. Мне за вас ничего не будет.

Гнев и угроза его были столь неожиданны, что Иван опешил. Павло вообще оцепенел.

— ...Три, четыре,— считал всадник и приподнял ствол над лукой седла.

Павло вдруг сорвался и в отчаянии кинулся к гаю. Иван отступал, с каждым шагом все больше наливаясь унижением и страхом.

«А ведь убьет!» — с ужасом поверил он искаженному злобой взгляду всадника, и сразу ослабли ноги, исчезло все вокруг, кроме металлического обрубка над седлом.

— ...Шесть, семь... Ты чего раком сунешься? Бегом за ним — и до вечера ни шагу. Прибью. Бегом, я тебе говорю! — заорал он и направил коня в его сторону.

Иван бросился в лес. Выстрела не последовало. Он забежал за первые деревья и оглянулся: всадник наметом уходил в сторону озера...

Павла он увидел случайно. Шел Павло по редкому гаю осторожно, стараясь не треснуть сучком, подолгу разглядывая из-за дерева близкую опушку; убедившись, что там пусто, с той же опаской двигался дальше.

— Кончай! — окликнул его сзади Иван, не вынеся дурацкого шага приятеля.— Нет никого...

Павло от неожиданности обмер, зверски выпучил глаза и погрозил Ивану — молчи! Потом обессиленно упал на колени... и заплакал.

В сквозных, узловато-коричневых ветвях, мохнато облепленных мелко-жесткими, клейкими листочками, влажно голубело небо, дробился солнечный свет, осыпался яркими пятнами на землю, голову и сгорбленную спину Павла.

— Как собаку... кому не лень... Да будь вы прокляты со своими колхозами и восстаниями! Мать с голоду гаснет, батько заговаривается... За что же пытки такие...

Плакать легко, по-детски, облегчаясь слезами, он давно отвык. Задавленные всхлипы взрослого парня, в которых трудно пробивались комканые слова, тяжело отдавались на сердце. Иван присел рядом.

— Уйди! — сбросил его руку с плеча Павло и повернулся к нему искаженным лицом.— Ты виноват! Ты с батьком своим! Мне Леську отказали, мечтали зятька при должности иметь. Имейте теперь... Была бы она со мной, я б отделился, ее бы спас, своих стариков...

Чувство жалости захлестнуло Ивана, залило недавнее, он неловко погладил его по голове, все ему прощая.

— Ну, что ты, Павло, брось, не стоит того... Все кончилось. Могло быть хуже... Ты знаешь,— с оживлением приоткрылся он, пытаясь отвлечь Павла,— у меня с утра сердце ныло. Правда. Все ничего, но посмотрю на тебя — нехорошо становится на душе... А оно-то оказывается — тьфу! — к слезам... Брось!

— Не со страху плачу, Ваня,— от обиды.

— Ну и дурак! Нашел над чем. Нам теперь эти обиды каждый день терпеть. Привыкай... Слышал, стреляли? Может, кранты навели Максиму? Может, допрыгалась эта сволочь? Вставай, пойдем старика догонять!

— Не пойду,— вяло отозвался Павло и старательно вытер глаза.— Буду здесь, пока не разъедутся. Ну и что? Пешком так пешком, тут недалеко. Ты хочешь — иди, а я больше под винтовкой не собираюсь бегать.— Он стал снимать сапоги.

Оставить его одного в лесу Иван не мог и принялся ломать ветки — сидеть на сырой холодной земле не следовало.

Подстрелить утку оказалось не так-то просто. И над зимовкой, где они гуртовали лошадей, и по пути к озеру низко над табуном пролетали чирки, да и на самом озере, на удивление близко подпуская к себе, по блестящему мелководью плавали россыпи темных птиц. Теперь же, когда он вернулся с ружьем, они исчезли с берегов. Кряканье и время от времени шумный плеск крыльев слышались далеко в камышах.

Похмельный постоял и двинулся вдоль берега. Прошел совсем немного, когда, к его радости, со стороны леска, в котором он оставил привязанного дончака, пря-

мо на него вылетело несколько уток. Он вскинул ружье. От выстрела они рассыпались, одна, обвиснув крыльями, косо пошла к середине озера. Он расстроился: без лодки подранка не достать.

Но выстрел всполошил остальных. Из камышей утки поднялись веером. Он едва успел перезарядить ружье, выстрелил, не попал и с досады, зная, что впустую, послал вслед еще один заряд.

Вонючий дымок понесло к камышам. Утки разлетелись, на озере стало тихо.

Похмельный побрел дальше. Охотник из него не получился. Огибать все озеро не было смысла, и тут кстати вспомнилось: ведь рядом с селом есть два озера, несравнимо больше размерами, на которых такое же обилие уток. Он обрадовался тому, что его желание добыть несколько уток голодным людям вполне исполнимо. Повеселев, дурачась, он выстрелил по чирку, летевшему далеко в стороне, явно недосягаемому. Чирок даже лета не изменил, и Похмельный побежал к лесу.

Он успокоил напуганного близким выстрелом дончака, подтянул подпругу и уже хотел вскочить в седло, когда совершенно случайно, брошенным мельком взглядом сквозь деревья увидел трех верховых, выезжающих с той стороны изножия сопки, куда недавно укатила арба Карабая. Он решил, что это бригадники, и тронул было коня им навстречу, но тут увидел, что один из верховых достал из-под плаща какой-то небольшой предмет и, потянувшись на стременах, передал другому. Тот сразу же отделился и рысью пошел вокруг леска, обходя его с другой стороны. Похмельному, бывшему конному разведчику, сразу стало ясно, что это за люди и что за предмет передал всадник всаднику.

Он развернул дончака и поскакал так, чтобы лесок как можно дольше закрывал его от этих двоих, но и стараясь не столкнуться лицом к лицу с третьим. Пройдя по кругу несколько десятков сажен, Похмельный поскакал через огромную поляну к следующему леску. Дончак шел легким сильным наметом.

Он проскакал большую часть расстояния, не слушая приказов третьего всадника остановиться, и направил дончака к оконечности леска с расчетом уйти дальше, где за несколькими колками лежала открытая до самого села степь.

До леска оставалось совсем немного, когда он уви-

дел, что из него, уклоняясь от веток, выезжают еще двое верховых.

Ганько хорошо расставил людей, если это не вышло случайно. Похмельный растерялся: путь к селу был отрезан. Ему оставалось два выхода: или круто брать вправо и тем самым опасно сблизиться с третьим всадником, или остановиться.

«Может, действительно остановиться?» — мелькнула мысль, но тут же другая: «А зачем? Неспроста ведь такая хитрая расстановка...» Он хлестнул коня и пошел вправо, к басыревскому летнику. На скаку он оглянулся: а вдруг все это глупая шутка и вслед свистят, улюлюкают, качаясь в седлах от хохота? Оглянулся — и впервые страх сжал сердце: его догоняли.

Два всадника заходили слева так, чтобы не дать ему уйти к селу между мелкими колками, третий отрезал путь к басыревскому летнику, и уже ясно различалось сквозь развевающиеся космы конской гривы его лицо в жутко-веселом оскале. Похмельный выхватил наган, далеко назад выбросил руку и, ловя слезившимися от ветра глазами это лицо, три раза выстрелил.

Дончак шарахнулся в сторону, он едва удержался в седле; опять оглянулся и увидел, что не попал: всадник погрозил ему кулаком, что-то крикнул двум другим, но коня придержал. Придержали коней и те двое, а через несколько мгновений у него за спиной раздались два винтовочных выстрела. Стреляли, скорее всего, для острастки, потому что свиста пуль он не слышал, и когда еще раз оглянулся, то увидел, что всадники шагом съезжались к середине межлесовья...

Он гнал коня до тех пор, пока не спустился в низину, где среди сухой путаной прошлогодней травы стали попадаться рытвины.

Лес кончался. Увидеть село, выгоны и, главное, табун, который должен быть по времени у села, мешал последний широкий растрепанный колок. Он долго не мог успокоиться. Часто оглядывался и, привставая на стременах, озирался по сторонам; ему все казалось, что его поджидают, на дальних опушках скрываются всадники, ждут момента, когда он потеряет осторожность. Он проверил наган, вогнал в ружье патрон с крупной дробью. Хотелось курить, но пальцы дрожали, табак просыпался... Все произошло так быстро, что пока воспринималось с трудом. Ведь всего несколько минут назад

он, веселый, довольный, радовался простору, солнцу, удачной поездке, предвкушая похвалу и уважение за предприимчивость, и вдруг безмятежную радость сменило тяжелое чувство страха и растерянности. Он закрыл глаза, встряхнул головой, словно избавляясь от наваждения. Вспомнил, что совсем недавно на вырубке, презрительно цедя сквозь зубы, заметил Гнездилову, что он, Похмельный, дай ему власть, давно бы этого Ганька на цепь посадил, и ему стало еще хуже. Он попытался рассуждать спокойно: может, не надо было уходить? Возможно, с ним хотели поговорить, не больше, а он — в бега да еще отстреливаться... Да! Ведь он первый открыл стрельбу! И где теперь табун, люди, что он скажет в селе, Байжанову? Где старик с Иваном и Павлом? Бросил всех — и наутек, свою шкуру спасать! Высланные распишут!.. Но опять-таки, зачем расставлять верховых, гнать, не давая возможности уйти к селу, и тоже стрелять, пусть даже для смеху? Слишком серьезно для шуток, чего уж стыдиться, успокаивал он себя, но облегчения не было. Беспокойство его росло. С тревогой он объехал последний колок, и ему открылась Гуляевка.

Павло с Иваном заблудились, и виноват в этом был Павло. Когда, провалявшись в лесу больше часа, они поднялись, он уговорил Ивана пойти к бригадникам — там-то их за все новости наверняка покормят. По словам старика, которого они, к удивлению своему, так и не обнаружили, стан первой бригады должен находиться где-то неподалеку. Иван скрепя сердце согласился.

Они пересекли летник, прошли более получаса, но стана не было. Иван выругался и напрямик решительно зашагал в сторону села. Павло побрел следом. Они прошли большой поляной, обогнули лесок, полный талой воды, минули еще поляну и еще лесок, но степь не открывалась. Парни осмотрелись и решили взять левее, так, чтобы держать солнце вехой на правом плече, и через час, уверял Павло, они выйдут из леса. Через час лес не кончился, наоборот — лески становились гуще, выше, все чаще встречались на их окраинах мощные оранжевые стволы сосен.

Досада сменилась недоумением. Ведь они были так уверены, что сторону, в которой находилась Гуляевка, не теряли, чувствовали ее, как бы не петляли по лесу.

Легкость, с которой, им казалось, можно выйти из леса, была обманчивой, простор полян этот обман усиливал, а им не были известны те простые и надежные правила, по которым безошибочно выбирает верное направление человек лесной стороны.

Иван полез на сосну. С каждой осиленной веткой все шире открывались дали, исполосованные хвойными грядами леса. Темно-зеленый вблизи, он чем дальше, тем больше светлел, наливался синью весеннего воздуха, и далеко в стороне, совсем не в той где ожидалось, крохотной галочкой мельничных крыльев обозначилась Гуляевка.

Намечая в зрительной памяти путь от села к подножью сосны, Иван впервые взглянул вниз, и от высоты мгновенно ослабли руки; он прижался щекой к разогретому за день, в липких струпьях коры стволу и, пока не унялась дрожь в руках, не двигался.

Внизу коротко пообещал Павлу дать по шее, если тот еще хоть раз сунется с советом, на что обрадованный Павло с готовностью согласился, и оба быстро (день кончался) зашагали намеченным путем.

Прошли они немного, и вдруг разом остановились: впереди, далеко, но явственно слышались выстрелы. Потрясенный Павло решил, что это добивают бригадников, и, сколько ни убеждал Иван в нелепости подобной догадки, сколько ни объяснял, где действительно находится стан, идти открытыми полями, которые были довольно-таки просторными, Павло наотрез отказался. Ни уговоры, ни доводы на него не действовали. Взбешенный Иван едва не ударил его, однако и это не помогло: Павло упрямо пошел опушками, готовый в любой момент нырнуть в чащу.

Так, огибая лески и стараясь как можно меньше идти полянами, они прошли еще около часа и, как и следовало ожидать, вновь потеряли верное направление. К тому времени день кончался, солнце уходило за лесные гряды, поляны темнели, и когда в межлесовья врывался низкий солнечный луч, пролегая по отсыревшей траве, то красил их в диковинный цвет; тем же тревожно-багровым цветом догорели верхушки сосен; наступили сумерки. Иван несколько раз влезал на деревья, но они росли в низине, и села не было видно.

Обессиленные, усталые и голодные, парни вконец растерялись.

— Водит нас кто-то,— со страхом объявил Павло и перекрестился на месяц.— Морока водит. Не к добру... Ваня, может шалашик? Утром все сгинет. Мне батько говорил, его тоже водило.

— Страх тебя, дурака, водит! — вышел из себя Иван.— И зачем я только слухал тебя... Ну за каким чертом ты поперся на стан? Кулешику захотелось? Ты глянь туда! — он указал на запад: оттуда, из-за черной каймы деревьев, грязно заливая чисто зеленеющее к ночи небо, темно-лиловой неряшливой громадой тяжело вспухали тучи.— Зараз будет тебе кулешик,— злорадно пообещал Иван.— Давай, пока светит, добежим до того гая.

Они побежали. С небольшого пригорка увидели следующий лесок, но даже в сумерках было видно, что он был ниже и мельче. Лес кончался.

Иван торопил, и Павло окончательно выдохся. Месяц напоследок ярко высветил мертвенно-белый березняк и ушел за тучи. Первый порыв ветра прошелся в вершинах, сразу стало темно и холодно...

Иван, шедший с суком впереди, поднял с лежки какого-то зверька, который черным пятном метнулся назад и перепугал Павла.

— Господи, да оно кончится сегодня или нет! — плачуще закричал он.— Иван, не беги ты, ради христа! Всю нечисть на ноги поднимем. Дай мне свою палку, а то, не приведи господь, какой лешак на голову прыгнет...

Он словно накликал: не успели спуститься с пригорка, как снова кто-то, неразличимый в темноте, блеснув глазами, шарахнулся у него из-под ног. Павло в отчаянии заорал и кинулся за ним.

Иван остановился. Удерживать его, а тем более увещевать он уже не мог и теперь не только дал бы по шее — с наслаждением избил бы, если бы это как-нибудь вразумило спутника, и уже клял Похмельного только за то, что тот взял с собой и Павла.

Вдруг до него донесся слабый вскрик. Еще не зная, что случилось, он мгновенно понял, что случилось недоброе. С нарастающим чувством непоправимой беды, которое с каждым шагом все больше охватывало его, Иван пошел на этот вскрик и шагов через двадцать, словно конь трясину, почуял провал впереди себя. Он опустился на четвереньки и подполз к краю. Глубоко внизу, на смутно белеющем дне, огромной черной пияв-

кой ворочался и глухо стонал Павло. Он упал в одну из ям, из которых гуляевцы издавна брали белую глину для мазки и побелок.

Иван обполз вокруг ямы, наткнулся на вырубленные уступы и спустился вниз. Яма была не особенно глубокой, но упал Павло страшно, свернув шею и, видимо, отбив что-то внутри, потому что, когда Иван перевернул его навзничь, изо рта, обильно заливая шею и грудь, густой липкой чернотой хлынула кровь.

Поднять Павла не удавалось, голова его тряпично валилась из стороны в сторону, сквозь булькающий хрип косноязычно пробилась просьба не трогать его.

Иван зачем-то разорвал ему рубаху и пригоршнями кидал воду на грудь и лицо, черпая ее из широкой выемки на дне вдоль стен, предусмотрительно вырытой для стока.

Вынести Павла на руках было не под силу. Брючным ремнем Иван крепко связал ему руки в запястьях, взвалил на спину так, чтобы Павло сзади как бы обнимал его, и стал подниматься по тяжелым осклизлым уступам.

На предпоследнем Павло забился в судороге, Иван с ужасом почувствовал, что теряет равновесие, он мгновенно вывернулся из страшных объятий, перехватил Павла в поясе, но удержаться вместе с ним не сумел — Павло скользнул вниз и с глухим ударом распластался на дне. Следом, обрывая ногти на уступах, на него свалился Иван и, когда наклонился над ним и услышал зевок, понял: наступает смерть. Павло сладко потянулся, мелко задрожал телом и затих.

Все было кончено.

Иван встал с колен, попятился. Он не мог оторвать взгляда от черно-застывшего тела на слепящем белом дне. Он так и поднимался на ощупь, уступ за уступом, оскальзываясь и неотрывно глядя на то, что только что было Павлом.

Страх пришел позже, когда на том же уступе он едва не сорвался, уцепился за кромку с густым корневищем травы, отчаянным усилием бросая себя за край ямы. Земля с могильным шорохом осыпалась вниз, и тогда сквозь тупое оцепенение прорвался такой страх и отчаяние, что он, вскочив на ноги, в беспамятстве побежал прочь от ямы в темноту, навстречу холодному ветру...

V

Случившееся в лесу взбудоражило село. Знали: крепко недовольных колхозами мужиков в округе набиралось немало, и Ганько, пользуясь этим, еще больше разжигает их тем, что, безбоязненно разъезжая по селам, собирает их на некие «совещания», где на свой лад разъясняет то или иное решение власти. Чего он добивается своим вызывающим поведением, для чего четвертый месяц сбивает с толку мужиков и какие цели преследует — никому точно известно не было. Суть «совещаний» сводилась к одному: колхозы — кампания кратковременная, до первого урожая, поэтому тем, кто еще не вступил в колхоз,— не вступать, если же кто из середняков по глупости оказался там — плевать на все циркуляры, какими бы они грозными ни были, не верить уговорам и посулам, придерживать зерно в тайниках и пуще ока беречь лошадей.

Уже за одно это он подлежал аресту и суду. Полухин, наезжая в села, неоднократно просил передать Ганьку требование явиться с повинной или вообще убраться из района по-доброму. В ответ Ганько пренебрежительно отозвался о самом Полухине. Оскорбленный начальник милиции попытался сделать на него облаву, но с тем штатом милиционеров, которым он располагал, поймать Ганько в лесах, среди многочисленных кордонов, казахских аулов и зимовок, было делом безнадежным. Просить помощь в Н-ске Полухину не позволяло самолюбие, к тому же — на каком основании? Подручных у Ганько было не больше десяти человек, в селах, куда он наведывается, есть коммунисты, актив, сочувствующие, бывшие красные бойцы, поэтому ответ был бы дан Полухину, а вместе с ним и Гнездилову недвусмысленный: что же говорить о посевной, когда вы на пустяковое дело не в состоянии организовать людей? Не занимаете ли вы оба, в таком случае, чужие должности? И вопрос был бы справедлив, тем более что официально мотивировать просьбу было нечем — Ганько серьезных выпадов избегал, шкодил по-малому: встречая нарочных, почтальонов, вскрывал почту, районные пакеты с донесениями и различными распоряжениями. Правда, в марте произошел случай, серьезно встревоживший Гнездилова.

Две санные подводы с двенадцатью мешками семян, которые он направил бедствующему с семфондом селу

Озеречье, остановили в лесу несколько молчаливых, по самые глаза укутанных башлыками верховых, избили возниц, угнали подводы и передали в район издевательскую записку. Но кто именно встретил подводы, кто бил ездовых — доподлинно известно не было, возможно, кто-то из самого Озеречья под видом людей Ганька решил по-своему распорядиться отборным зерном. Об убитом, найденном возле Нового Яра, вообще говорить не стоило; о нем ходили слухи самые разные. Многие были уверены, что прибили парня по бабьему делу.

Правленцы Гуляевки ожидали пакости и от Ганька, но чтобы так, в открытую, да со стрельбой... Сам Ганько, по тем же слухам,— человек нездешний, но те, кто в компании с ним,— люди, судя по всему, местные, с родными и близкими, им-то есть о ком подумать, прежде чем седлать коня на подобную забаву.

И теперь село было в недоумении: чего же он хотел? Для чего ему нужна была погоня, стрельба? Нет ли опасности бригадникам? И где теперь Карабай с выселенцами?

Ни табунщики, ни правленцы, ни весь остальной встревоженный народ не могли дать ответа ни Похмельному, ни старому Гонтарю, ни матери Павла, слезно просившей Гордея послать верховых на поиски. Хмурый Гриценяк советовал не паниковать, обождать немного; возможно, арба с парнями вот-вот выедет из леса, но время шло, людей не было, и человек восемь гуляевцев, у кого были ружья, оседлали коней.

Не успели выехать из села, как на басыревском летнике показалась арба с двумя верховыми, Похмельный обрадовался, но оказалось, что радоваться нечему: Карабая сопровождали в село бригадники, которых Петро Кожухарь послал выяснить, что же случилось. Дело в том, что старик ничего толком не мог объяснить: зачем Ганько оставил с собой парней, а его самого отослал? Что за стрельбу слышал старик, спеша на стан за помощью: то ли это охотился Похмельный, то ли?.. Другого предполагать не хотелось.

Теперь все выяснилось: парни пропали. Хорошо, если заблудились — время к лету, спички есть...

Гуляевцы объехали все ближние лески, съездили в аул, на зимовку, прошлись тем путем, которым гнали табун, осмотрели место, где арбу остановил Ганько,— парней не было. К вечеру, расстреляв все патроны, они

пришли к выводу, что их увел Ганько. Искать дальше не было смысла, и как ни уверяли правленцы Похмельного, что в случившемся нет его вины и любой из них, окажись он на его месте, поступил бы так же, как ни убеждал он и сам себя в этом, представляя самые худшие последствия, остановись он,— при одном воспоминании о погоне, когда он, не думая о людях, нахлестывая дончака, пытался прорваться к селу, липкий тяжелый стыд мгновенным жаром заливал лицо.

С этим тягостным чувством он пришел на квартиру. Хозяйки не было, засиделась, по обыкновению, где-то в гостях. Он вяло съел холодную вечерю и, не раздеваясь, завалился на койку. Из рукомойника подтекало. Под размеренную капель, под неясный свет месяца в оконце с черным переплетом наплывали сумбурные мысли. Забирать парней с собой Ганьку не имело смысла. Зачем они ему, чужие люди, у которых нет ни друзей среди местных, ни знакомых? Заблудились? Вроде бы не те леса... Побег? Но куда, зачем, какой смысл? Пусть побег... Полухин, конечно, спросит, зачем с собой взял. А какая разница: захотят убежать — убегут из села, никакие коменданты не устерегут. Но побег — это дурость: в селе остались родители, им отвечать придется.

В полудреме клацанье щеколды послышалось выстрелом. Он вскочил. Это вернулась хозяйка. Она разожгла лампу и принялась за самовар. Он обрадовался ее приходу — исчезло гнетущее чувство пустоты. Старуха рассказала, какое впечатление возымело исчезновение Ивана и Павла. Многие усматривали в его решении взять с собой высланных тайное желание помочь им бежать — ради сестры одного из них.

Похмельный хмыкал: оказывается, еще так можно думать.

А за лошадей хвалят. По дороге домой встретила нескольких мужиков — шли к Гордею проситься в бригады, и лошадей казахских по дворам развели. Кормить и готовить к пахоте за свой счет обещали. И еще, с одобрением добавила старуха, ходят по селу такие разговоры: если колхозных семян на посевную не хватит, то надо развернуть среди имущих дополнительную сдачу семфонда. Пусть тряхнут в загашниках ради колхоза. А в урожай вернуть займом. Не сдадут по-доброму — заставить штрафом либо пройтись обысками — стерпят.

По нынешним крутым временам колхозной власти перечить опасно.

О том, где бы раздобыть на посевную еще семян, Похмельный думал по дороге в аул. Среди прочих возникала мысль и о дополнительной сдаче семфонда...

Да, все шло хорошо, права ты, старуха. Начали пахоту, добыли лошадей, люди работы просят, и, главное, прояснились слабые места, стало ясно, чем живут колхозники, о чем думают, на что в первую очередь подналечь надо. Все шло ладно до этой недоброй встречи в лесу...

В это время в окно постучали, и у него радостно забилось сердце: нашлись пропавшие! Он кинулся в сени.

— Из района, открывай! — весело приказали из-за двери.

В хату вошло трое. Тепло одетые, в брезентовых плащах, с загаром на лицах, они были похожи на гуртовщиков.

— Здравствуй, Максим Иванович! — приветливо поздоровался один из них.— Здравствуй, хозяйка. Мы с поручением от Ивана Денисовича.— По вольности, с которой он держался, в нем угадывался старший.— Вот такой тебе привет шлет! Я — Суровцев, слышал? У тебя проездом... Ты гляди: мы ко времени, а, товарищи,— он шутливо указал спутникам на самовар.— Не бойся, хозяюшка, мы со своим гостинцем...

Старуха засуетилась, приняла плащи, они прошли к столу.

— Притомились. С утра где только черт не носил. Со Щучинской — в Кошаровку, оттуда — в Озеречье, в обед уже в Басыре были, а утром должны предстать пред ясными секретарскими очами с отчетом. Кони выдохлись, да и мы сами, признаться, устали,— говорил все тот же приезжий, остальные помалкивали.— Хлопотливый мужик наш секретарь. Мы к тебе, председатель, с делом. Не знаю, можно ли...

— Можно,— разрешил Похмельный, но хозяйка поднялась.

— Не хочу слухать ваши секреты, потом разговоров не оберешься. Балакайте, я выйду, хозяйство гляну...

Когда она вышла, приезжий заговорил:

— Не хотелось при ней... Что у тебя случилось? Расскажи-ка все по порядку. Таить от Гнездилова нет смысла, поэтому пусть узнает от меня, чем от кого-то.

— Сам-то он когда приедет? — с оживлением, в тон вопросу, спросил Похмельный, поднимаясь к самовару.— У меня нет времени к нему ехать. Сам знаешь, какое время,— посевная. Вопросов к нему много, а он только передает: жди, скоро приеду. Это «скоро» вторую неделю тянется... А рассказывать... Что рассказывать? Глупо все получилось. Решил я вчера, нет вру, позавчера съездить в Басырь, попросить у казахов лошадей... Вы, товарищи, не стесняйтесь, вот сальцо, яйца вареные... Думаю: чего я теряю? Спрос — не ударит в нос. Не дадут — поеду к Гнездилову просить... Поговорил с правленцами, те не против: почему бы не съездить,— неспешно, затягивая время, говорил Похмельный.

Но мысль работала четко. В Басыре они не были, зачем обманывать? Кто они? Эти люди не из района. Что им надо? Догадка пришла внезапно, просто и без всякого страха: это Ганько. Однако ничем себя не выдал, полез в шкапчик за кружками, стараясь не смотреть на висевшую у двери кожанку, где было оружие... Их трое, если только во дворе еще нет, а в нагане ни одного патрона... Да, но они-то не знают!

— Утром Байжанов собирает весь аул. Я им и это, я им и то — ни в какую! Уж чего только не обещаю: и людей в помощь, и материал построить чего-нибудь. За помол, говорю, плату брать не будем — ни с места! К ним какой-то куркуль приехал, у него пол-аула в должниках, вот он и заправляет...

Хорошо, пусть не знают, пусть он опередит их, хотя вряд ли: вот как стережет каждое движение угрюмый мужик с чахоточным лицом... Ну, опередит, подержит их под пустым наганом, пока старуха людей кликнет. А дальше? Этих свяжут, отправят к Полухину, а завтра дружки, которые наверняка и в селе есть, шарахнут из обреза через окно — и поминай раба божия Максима в день родительский!..

— ...А взамен ты мне, говорит, людей на сенокос пришли. Я: господи, да о чем разговор! У меня теперь полсела дармоедов. Одних высланных сто девяносто четыре человека. Ты как считаешь: за тридцать лошадей да при нашей нужде надо отблагодарить? Вот и я считаю, что надо... Поехали мы на зимовку... Они, черти хитрые, в лесах лошадей прячут,— тянул время Похмельный, проясняя для себя окончательное решение.

Когда-то эта комедия должна кончиться. Пойти в

открытую? Могут шлепнуть. Какой смысл? Они могли еще в лесу это сделать...

— ...Вижу: рукой машет, подожди мол. Э-э, нет, думаю, приятель, не та обстановочка — и ходу. Они за мной. А я, дурак, не подумавши, да за наган... Ну ты сам посуди: окружили, догоняют, кто знает, что у них на уме!

Он наконец закончил хлопоты, сел напротив и, побледневший, с обезоруживающей доверчивостью улыбнулся:

— А теперь гляжу на вас и думаю: а стоило убегать? Не убивать же вы меня хотели.

Приезжий переглянулся со спутниками и расхохотался:

— Молодец, председатель! Слыхали? Гнездилов знал, кого уговаривать. Действительно: стоило убегать. Где твой наган? Григорьевич, забери, не то он со страху опять стрельбу откроет... Ну, и зачем ты стрелял? А если бы убил кого? Не ожидал от тебя такого перепугу... Карабай в селе?

— Да, недавно вернулся.

— Обижается старик? — спросил Ганько и достал папиросы.

Похмельный прикурил от лампы, окончательно взял себя в руки, спросил, где парни, и тут выяснилось, что Ганько тоже не знает, где они, но знал о поисках и теперь успокаивал Похмельного:

— Найдутся. Куда им деваться? Небось уж в ауле сидят, чаи распивают...

Похмельный задернул занавеску и спросил так, чтобы вышло помягче:

— Ко мне-то зачем?

Ганько бережно отставил кружку.

— Поговорить... Ты — председатель колхоза, коммунист, поэтому друзьями мы с тобой навряд ли станем, но и врага в твоем лице я не хочу иметь. Ловить меня не твое дело, на это другие есть, да, собственно, и не за что. Ты председательствуй. Я мешать тебе не стану. Не тронем мы ни твоих людей, ни зерно, ни лошадей. Ты, в свою очередь, не суйся куда не следует. Это в отношении меня... А видеть хотел, чтобы кое-что выяснить. Например: за что арестован Строков?

— Не знаю...

— Максим Иванович,— укоризненно сказал Гань-

ко,— давай без глупостей. Все знают, ты один не знаешь... На него запрос пришел?

— Да, запрос... Он — бывший врангелевский офицер, это все, что я знаю.

— Верю... Ты, я слышал, был особоуполномоченным по раскулачиванию и высылке. Скажи, какой процент высланных в твоих краях?

— Кто его знает... Нам не сообщали.

— Неправда, председатель. Ты должен знать. Может, вопроса не понял? Спрошу попроще: допустим в селе триста дворов...

— Понял я твой вопрос. Только зачем тебе?

— Надо. Так какой?

— Три-четыре процента.

— Ой ли? Не больше?

— Может, где и больше. Это от комбедов зависит.

— Это на Украине. А в России?

— В России не был, не знаю.

— Но ты же проезжал по ней. Встречал эшелоны, говорил с конвоем, с такими же уполномоченными, с начальниками станций. Любой железнодорожник...

— Я на станциях хлеба для своих бегать просил... Так же высылают. Тот же процент.

— Значит, три-четыре процента? — Ганько грустно посмотрел на него, потянулся за папиросами.— Ладно, и этому поверю. А сколько человек будет сослано в наш район?

— Откуда же я могу знать? — удивился Похмельный.— Ты за кого меня принимаешь? Меня переформировали в Челябинске, дали сто девяносто четыре человека и конвой и приказали сюда доставить. Не такая уж важная птица — уполномоченный... Старший конвоир — вот кто я. Что я могу знать, тем более о вашем крае?

Ганько, смеясь, уличающе наставил на него палец:

— Знаешь! Раньше, может, и не знал, а после знакомства с Гнездиловым — знаешь. Когда он тебя уговаривал остаться председательствовать — а он тебя уговаривал, ты же не сам напросился,— то наверняка жаловался: ссыльных шлют, расселять негде, кормить нечем, людей для работы с ними не хватает... Видишь, даже самому смешно стало,— добавил он, видя, что Похмельный улыбается такой догадливости.— Сколько высылают?

Какие категории? Сколько точек у него запланировано, не говорил тебе?

— Да как ты не поймешь! Мои — это последние высланные комбедами из сел. А те, каких еще думают здесь расселять,— высланные ранее... Читал постановление об исправлении перегибов? Вот по этому постановлению их из лагерей Сибири и Севера теперь перевозят на поселение сюда. Здесь климат полегче, пайки им установлены, спецодежда... Они совхозы, говорят, будут строить. Жить им дают! Так откуда же я могу знать о тех высланных? Тебе с таким вопросом...— Он вовремя сдержался, но Ганько закончил:

— Ехать к Полухину.— И ободряюще подмигнул: не робей, говори, как есть.— Все это так, председатель. Но вот что любопытно: по всем наметкам, сюда сошлют все категории. Даже террористов. А фактически ничего не сделано. Не подготовилось местное руководство. Нет жилья, материалов. На местах запланированных поселений — пустота. Многого нет. С продуктами легче. У казахов отберут лошадей на мясо, у вас — зерно на хлеб. И здесь поневоле напрашивается единственный выход: расселять все категории в селах и на казахских зимовьях. Там хоть лес и вода. Что по этому поводу думает Гнездилов?

Похмельный пожал плечами:

— Не знаю. У нас с ним на этот счет разговору не было. Вечером он мне предложил, утром я сюда уехал. Может, и будут в села направлять, но только не в Гуляевку. Сюда уже сослали. По самую завязку...

Здесь Ганько еще больше оживился, прижал руки к груди:

— Максим Иванович, не сочти за труд! Будешь у Гнездилова или он к тебе приедет — разузнай. Тебе ведь это тоже интересно, твоему селу расхлебывать. Сколько всего будет сослано, какие категории. О террористах поинтересуйся: куда их будут определять на расселение?..

Вопросов у него набиралось много. Похмельный сразу понял, зачем Ганько эти сведения, и теперь недоумевал: неужели он и ему подобные, уверены, что смогут поднять ссыльных на открытый мятеж?

— Я в долгу не останусь. Слышал я, у тебя тягла не хватает. Могу помочь. Есть у меня аул. Много не обе-

щаю, но лошадей десять на время выпрошу. Кормить их у тебя найдется чем?

Похмельный молчал. Его неприятно поразило и то, что Ганько походя, как само собой разумеющееся, выбирает его, коммуниста, в поверенные своих дел и запросто обращается с просьбами, словно к давнему приятелю.

— Знаешь, что я тебе скажу,— с некоторым усилием произнес он.— Можно начистоту? Не обидишься? Тогда слушай. Я понял, к чему ты клонишь...

И Похмельный выложил все, что думал. Ганько слушал — вдумчиво, что-то сопоставлял, в чем-то соглашаясь, что-то отбрасывая, и в общем-то спокойно, но вот на его спутников доводы Похмельного производили угнетающее впечатление, особенно на угрюмого, с серо-зеленым болезненным лицом человека, который и раньше-то не скрывал враждебности, а теперь и вовсе глядел волком. Но Похмельный не отказывал себе в удовольствии, сполна расплачивался за свой страх в лесу и стыд перед правленцами.

— У высланных ни связи, ни средств, ни оружия. На казахов рассчитываете? Чепуха! Как вы будете согласовывать свои действия? Телеграфом? То-то же!.. Голодные, с детьми да на таких просторах. Да вас один конный полк разметет в пух и прах в первый же день. Не надо забывать и о добровольцах. В одной Гуляевке их полсела наберется... Вы только людей погубите и высланных подведете. Не будет им поселений. Выгонят в степь из сел и зимовок, а точки в лагеря превратят. И ты еще просишь...

— Я еще просил тебя не соваться куда не следует! — крикнул Ганько и вскочил. Лицо его стало таким, что Похмельный отвел взгляд и уже не рад был сказанному. Ганько прошелся по комнате:

— Извини... С этими разъездами издергался. Оказывается, и ты мало знаешь, если, конечно, не умалчиваешь. Недооцениваешь обстановку. Неужели ты и впрямь решил, что я с девятью мужиками смогу затеять какую-нибудь заваруху? Какое я имею право его,— Ганько указал на одного из спутников,— отца троих детей, вести на заведомо гибельное дело? Ты не веришь? А я верю! Верю в будущее. К перевороту в России готовится весь мир. В Польше почти двадцать пять тысяч русских солдат готовы хоть сегодня перейти границу. Десятки ты-

сяч казаков собраны в Румынии, Болгарии, Маньжурии; сидят в седлах и ждут трубы. Готовится Англия, Франция. Не будет стоять в стороне и Америка, ибо в этих странах нынче тяжелейший кризис и выход из него только в войне, и в войне против России. В Харбине прямо считают, что начинать надо с востока России. Алтай, Туркестан, Казахстан и позже Сибирь взорвут окраины России... А взрывать есть с кем. Людей сюда ссылают подготовленных... Ты говоришь, высылают три-четыре процента? Врешь! Не хочешь говорить — не надо, но врать мне не советую. Я знаю доподлинно: до двадцати — двадцати пяти процентов! Из ста крестьян — двадцать пять гоните в лагеря! Вот оно, истинное лицо вашей партии! Извели все оппозиции, и оно наконец-то открылось во всей своей красе. Кому нужна такая рубка? Крестьянину? Рабочему, которым вы прикрываетесь, творя свои черные дела? Выкосили Украину, Дон, Кубань... Вы даже нищих чеченов и тех объявили кулаками. Уже везут! Тысячи людей вы уложили вместе с бетоном на беломорском канале! Если бы не вмешалась международная коллегия адвокатов... За подобные изуверства от вас отвернулся международный рабочий класс. Он не станет — не рассчитывайте! — помогать вам, как это было в гражданскую. Сами крестьяне не станут защищать такую партию. Пожили при ней. По горло сыты! Что гуляевцу думать? Вчера соседа в лагерь, завтра — меня? Знай: сколько будет существовать социализм, столько и будут народы проклинать коллективизацию. Не было в их истории ничего более трагичного. Подумать только: лиц первой категории определили к ликвидации. Три процента к расстрелу. И опубликовать не постеснялись! А перед ужасами массового раскулачивания с последующей высылкой в северные края, где они так же массово погибают от холода, голода и непосильной работы вместе с малолетними детьми,— даже бироновщина выглядит невинной забавой... Добровольцы... О каких добровольцах ты речь ведешь, Похмельный! Мятежи в Сибири, на Дону, готовится Кубань, Кавказ, Алтай. Здесь, в Казахстане, казахи аулами, родами откочевывают в Китай. Вся Россия готовится! Дай клич — и пойдут и голодные и с детьми. Вы и месяца не продержитесь. Ты не веришь? А я верю!

Он сел, говорил тише, и то привычное и — теперь Похмельный убеждался — напускное добродушие воз-

вращалось к лицу, голосу, но взбухла и часто билась на виске, обращенном к лампе, жилка, и все невольно ощутили, какой гневно-скрытой убежденностью живет этот человек.

— Ненавижу интервенцию,— признался он Похмельному.— Не хуже волчьей стаи рвут по кускам раненого, отставшего... Но что делать? Помогут, а потом пинка под зад, опыт уже есть.

Похмельный принял его признание за разрешение спрашивать:

— Кто же будет руководить страной, когда нас отстраните?

— Мы, партия трудового народа. Трудовики.

— Эсеры, значит... Знакомое дело... А партия большевиков, по-твоему, народ не устраивает?

— Не устраивает, Похмельный. Сам видишь... Вы по сути своей не можете отвечать жизнеустройству российского крестьянства и рабочего класса. Вы жестоки, нетерпимы и безжалостны. Разве ты, бывший особоуполномоченный по раскулачиванию и высылке, не убедился в этом?

— Это ошибка, мы ее осудили!

— В двадцать первом году тоже ошибка?

— Мы в голоде не виновны. Засуха, разруха... Что же ты всех собак на нас вешаешь! Страна еле выкарабкалась...

— Э, нет, Похмельный! — Ганько словно обрадовался ответу.— В голодной смерти миллионов виноваты вы, и только вы! Можно было в обмен на пшеницу открыть концессии иностранному...— Он взглянул на спутников, заговорил попроще: — В обмен на зерно отдать на временный откуп капиталистам часть бакинских промыслов, дальневосточной тайги, донбасских шахт. Ваш Маркс сказал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист, имея тысячепроцентную выгоду. Предоставили бы капиталистам льготные условия. Они с удовольствием пошли бы на подобные сделки. Тем самым вы бы спасли страну от голода. Но вы не захотели. Ваши большевистские убеждения не позволили поклониться зарубежному капиталу. Сами с усами... Что-то много ошибок у вас. В семнадцатом году Советскую власть приняли все, кроме убежденных монархистов. Но вы своей жестокостью спровоцировали братоубийственную войну. Нетерпимостью к иным убеждениям вынуди-

ли эмигрировать за границу интеллигенцию. Разгромом церквей отвратили от себя верующих. Публичными избиениями, со срыванием погон,— толкнули в руки Колчаку и Деникину офицеров, стоявших на распутье в восемнадцатом. «Расказачиванием» на Дону, Кубани, в Сибири — подняли на восстания казаков, а потом погнали под казацкие шашки рабочих Москвы, Питера, тульчан и украинских шахтеров. В восемнадцатом — ошибка, в двадцать первом — ошибка, в двадцать третьем, пятом, восьмом... В тридцатом — снова ошибка! И цена каждой ошибки — тысячи смертей. Это — планомерное уничтожение народа. И после всего вы называете себя его партией? Нет, Похмельный, вы чудом взяли власть, чудом удержались, в крови начали, по ней бредете все эти годы, в ней и кончите.

Он бросил погасшую папиросу, тут же из пачки выхватил другую. Спутники его молчали, взволнованные услышанным, и самый молодой поглядывал на Похмельного с торжеством и гордостью за своего вожака.

— Серьезный счет... Каким же образом вы собираетесь взять власть в свои руки? Интервенция — это снова война. Без крови и вам не обойтись.

— Все не так страшно, Похмельный. Возможно, обойдется без крови и интервенции. Людей, которые разделяют наши взгляды, везде много. Их гораздо больше, чем ты можешь предположить. Начиная с ЦК вашей партии и кончая Гуляевкой. Во всяком случае, постараемся обойтись без той резни, без которой вы и шагу ступить не можете. Ты, Максим Иванович, врага во мне не ищи. Я за то же самое, что и ты. Даст бог, повернется по-нашему — я тебя первого попрошу остаться в Гуляевке председателем. Организовать крестьян в колхоз-кооперацию и кормить Россию — святое дело. Партийный билет тебе сменим — и работай.

— Странная программа,— хмыкнул Похмельный.— Меня, коммуниста, ты собираешься оставить председателем колхоза, против которых вы — партия трудовиков. Это везде? Зачем же затевать мороку? Не проще и не лучше ли нам помочь?

— Затем, Максим Иванович, чтобы Советская власть для России меньшей кровью обходилась,— быстро ответил Ганько, и стало ясно, что этим ответом он пользуется давно.— Мы против коллективизации, верно, но мы поддерживаем кооперацию. Поверь мне: если бы в июле

восемнадцатого...— он осекся: в сенцах хлопнули дверью, и в кухоньку вошла хозяйка.

— Еще не кончили ваши секреты? — робко спросила она.— Похолодало во дворе, хмары зайшли, и ветер поднялся...

— Входи, Охримовна,— разрешил Похмельный.— Наши секреты никогда не кончатся...

Слова Ганько нехорошо легли на душу. Похмельный не исключал новой возможной схватки с капиталистическим окружением, в которой роль первой скрипки после поражения белополяков в двадцатом году снова брала на себя белоэмиграция,— об этом слышал еще в своем окружкоме: Карнович не раз говорил о тайных переворотах в правящих кругах Запада. Но опасность не представлялась столь реальной...

Старуха прошла к столу, посетовала на скудное угощенье, но гости и за это поблагодарили. Заикнулась о ночевке — отказались: срочно надо ехать с оповещением в другие села. Ганько простился с ней со всей любезностью. Похмельный вышел проводить.

— Ну, доставать тебе лошадей? — спросил его во дворе.

— Лошади, конечно, нужны... Но не кажется тебе... Ты не думал о том, что будет со мной, если в районе узнают о наших с тобой отношениях?

— Тебе ничего не скажут. Я Советской власти не враг. Меня судить не за что. В суд приду — выгонят: мешаю работать. Нет состава преступления. Разве что за любопытство... Проявлял недоверие, слухи распускал... А кто нынче не проявляет, не распускает, не любопытствует? Почтальоны тем и занимаются вечерами, что казенную почту читают. Говорят, большое удовольствие... Всех сажать — тюрем не хватит.

— Нашли бы за что.

— Что да, то да. Это вы умеете. Я недавно разговаривал с одним гуляевцем. Он говорит, будто бы ты грозился у людей семена забрать, сам лямку вздеть, но засеять все, сколько сил хватит. Так ли это?

— Трепло твой знакомый. Вот выгоню его с треском из правленцев, тогда остережется языком чесать...— Сказал и замер в ожидании вспышки гнева, но Ганько беззлобно посоветовал:

— Ты на этот крючок Полухина лови. Не правленец мой знакомый. Рядовой колхозник.

Здесь впервые за все время кто-то из его спутников в темноте строго приказал:

— Ты с Полухиным меньше разговаривай, выйдешь из доверия — тебе же хуже. Не забудь расспросить Гнездилова, о чем просили.

Руки Похмельному никто не подал. Он дождался, когда они под шум ветра неслышно скрылись в ночи, и пошел в хату. Оба — и он и хозяйка — долго не могли уснуть. Она молилась. Он слышал слова, имена угодников, к которым старуха обращалась с просьбой указать дорогу двум заблудшим и послать мира дому своему. Потом уже она в старческом бессонии слышала, как ворочался и часто вставал курить постоялец, покашливая и вздыхая.

Видимо, было о чем.

VI

День выпал Павлу ласковый.

Весь путь от развалюхи, в которой он ютился со своими родителями, до могильной ямы с набежавшей за ночь лужицей и несколькими лягушками на дне, безнадежно царапавшими отвесные стены, до той минуты, когда наложили гробовую крышку, грело солнце твердовосковое лицо, сушил волосы и глазные впадины, мокрые от последнего умывания, теплый степной ветер. Правление колхоза не противилось отпеванию, и отец Василий по настоянию местных старух и просьбе матери Павла свершил обряд по всему церковному уложению.

Расходились с кладбища за полдень. Поминать Павла пошли лишь те немногие, в основном соседи, кто снес в развалюху скорбную снедь.

Копачи, следуя обычаю, съели по ложке кутьи, выпили по стакану вонючей самогонки, а потом, не выдержав тягостного угощения в сумрачной от ладанного чада хате, с обессиленными вскриками матери Павла и выходками отца его, которого к этому времени все чаще стали посещать странности, сложились деньгами и уже за огородами, на озерном берегу, на чистом воздухе и просторе, без богобоязненного старушечьего шепотка по-своему помянули парня.

От выпитого Иван понемногу приходил в себя. Когда его, затравленного, перемазанного засохшей глиной и кровью, бригадники со стана, на который он случайно

набрел к утру, привезли в село, то он только и мог сказать, что Павло разбился, упав в яму, а как и где — мужики догадались сами. Таким же подавленным он участвовал в хлопотах, стоял у могилы и только теперь разговорился, рассказал все в подробностях, при этом гневно обвинял Похмельного.

Сам Похмельный эти дни не находил себе места. Смерть Павла потрясла его. Она была так нелепа, неожиданна, что до сих пор в нее с трудом верилось. Его не радовал ни вчерашний выезд в поля остальных двух бригад, ни полученные со Щучинской продукты на пайки высланным, ни просьбы гуляевцев зачислить в бригады, ни заметное желание людей навести порядок в колхозном хозяйстве. Он сторонился правленцев, попросил их выехать с бригадами, а сам бесцельно перебирал колхозные бумаги.

Вечером он собирался уехать в Щучинскую, чтобы остаться там на ночевку. Но не успел стихнуть в ушах стук земли по гробовой крышке, еще струилась вместе с ветром по улицам кладбищенская печаль, как очередная новость взбудоражила село: на подходе неизвестный обоз с людьми.

Услышав об этом, все — и стар и млад — заспешили к околице. Пошел и Похмельный, узнать, что за люди, откуда и куда их дальше поведут. О том, что и этих направляли в Гуляевку, не заходило и речи: все пустующие хаты заняли высланные Похмельного. А он почувствовал недоброе, когда начальник партии на ходу, еще не представившись, достал из планшетки пакет.

Гуляевцы замерли. Похмельный сломал печать, мгновенно схватил суть райкомовского распоряжения и отдал коменданту Кащуку: читай вслух, чтобы все слышали.

Гнездилов приказывал сельскому активу принять данную партию и разместить ее в селе на месячный срок, а также обеспечить продуктами на три-четыре дня в счет будущих пайков.

Известие ошеломило село.

— А через месяц куда? — растерянно спросил кто-то среди всеобщей тишины.

Ему не ответили.

К начальнику партии подошел Михайло Кривельняк, к слову которого в селе вынуждены были прислушиваться, и спросил начальника партии так, что тот опешил:

— Ты куда привел? У нас самих ни жрать, ни спать. А ну гони их к такой матери до киргизов в аулы!

И у пригорка взорвалось таким криком, какого Похмельный еще здесь не слышал:

— Вон отсюда!

— Не пускать!

— Председатель, примешь — не обижайся: не выйдем на пахоту!

— Они наверху с ума сходят, а мы — отдувайся!

— Правильно, в аулы их!

— И то правда, удумали: этих кормить семенным зерном, а наши дети на лободе сиди!

— Не тем местом думали...

— Действительно, почему к нам? — потерянно спросил Похмельный. Он уже понял всю бесполезность этого крика, вопросов и возражений.

— Да я откуда знаю? — огрызнулся начальник.— Куда мне приказали, туда и привел.

— Та нам плевать на такие приказания! — напирал на него Кривельняк,— Гнездилову их не поить, не кормить.

— Председатель, не соглашайся!

— Тут соглашайся не соглашайся, а селить их некуда. Разве шо себе на голову.

— Этот Гнездилов, кажись, не хуже Строкова вредительством занимается.

Начальника партии окликнули конвоиры, и, когда он, пошептавшись с ними, вернулся к правленцам, тон его был беспрекословен:

— У меня нет времени выслушивать ваше недовольство. Раньше надо было упираться.— Он зло блеснул глазами на Похмельного.— Ты, друг ситный, завтра едь к своему Гнездилову и требуй направить в другое село, но сейчас принимай!

Гуляевцы продолжали кричать. Похмельный молчал, с тоской глядя на озеро.

— Ты будешь принимать или нет? — с ненавистью спросил начальник партии.— Люди с ног валятся, а он думы раздумывает!..

Правленцы поняли молчание председателя.

— Ну-ну, спокойнишь, пожалуйста,— сказал Кащук.— Примем твоих людей. Давай документы.

Теперь все, кто был у взгорка, обрушились на коменданта:

— А ну верни назад бумажки!

— Не дури, Алешка!

— Михайло, ты ближе — дай ему в морду!

— Тоже начальника из себя корчит!

Кривельняк схватил Кащука за рукав:

— Ты тут не командуй! У тебя пятистенок на четверых и в погребе с зимы осталось, а у нас?

— Чего ты кричишь, Трофимыч? — спокойно спросил комендант, рассматривая списки.— Тебя никто не силует. Не хочешь — не бери. Найдутся без тебя. Я, например, возьму семью, возьмет еще кто-нибудь... у кого совесть есть.

— А-а,— обрадовался Кривельняк,— в таком разе нам тут делать нечего. Расходитесь, люди. Нехай мы будем без совести.

— Оно и правда. Пошли, бабы!

— То одних пригнали, теперь других.

— А им понравилось!

— Хватит балакать, ходим по хатам!

Гуляевцы дружно двинулись было по дворам, но Гарькавый остановил:

— Вы погоди расходиться. Приймать селу людей все равно прийдется, никуда не денемся. Бумагу, шоб вести в другое село, Гнездилов не заготовил. Завтра пошлем председателя до него, нехай сам сюда приедет, мы ему все скажем и покажем, а распределять людей зараз будем. Поэтому послухайте, кому назначим, шоб потом обиды не было.

— Еще один умник выискался!

— Оно, все правление, с придурью...

— А сам-то ты возьмешь?

— Не хочется, конешно, но надо,— откровенно признался Гарькавый и тяжело сполз с брички, на которой подъехал к взгорку.

— Оно и вам, мужики, прежде чем горлопанить, не мешало бы подумать. Вспомнить кое-что... Ну куда их теперь, на ночь глядя, дальше вести? Кому они нужны? В степи бросить, шоб завтра всем селом хоронить? Тут Алешка про совесть... Вы забыли, як в двадцать первом пухли с голоду? Если бы казахи тогда не привели нам коней на убой — и половины из вас не стояло бы сегодня здесь. А тебе, Михайло, всей семьей ихнему аллаху молиться надо. Денно и нощно. Ты не жмись, вспоминай! А ты, Данько, черт старый, чего распинаешься? Кормить

ему нечем! Небось ни одного странника мимо не пропустишь. Все придурки и блаженные в твоей хате перебывали. И каждому ты в торбу кинешь... Что? Ну да, для тебя они, конешно, божьи люди. Чего же зараз недовольствуешь? Бери. Они тоже и сиры, и убоги, без крова. Лучшего случая не выпадет. Бери, разом сто грехов с себя снимешь... Тут смешного мало, люди, тут плакать надо... А ну, командир, выведи мне семью, да побольше! У меня бочка прошлогодней капусты осталась, картошка есть, отрубей мешка три, а воды в колодце хватит. Перебьемся месяц!

— И мне тоже! — торопливо, будто ему могло не хватить, попросил Кащук и обратился к остальным гуляевцам: — Есть еще смелые?

— Есть! — крикнули оттуда.

Похмельный с надеждой поднял голову и увидел Игната Плахоту.

— На сколько, говоришь, их к нам сослали? — спросил он начальника партии.

— Гнездилов говорил, что на месяц, а потом на какую-то точку направят... Как ваша фамилия?

— На месяц терпимо... Ну что, Федор,— обратился Игнат к Гарькавому,— прокормим? Я тоже так думаю... И мне, начальник, семью побольше выбери.

— Та брехня! Не верьте, бабы, шо на месяц. Просятся, злыдни, всего на три дня... Где месяц, там и год,— пробился сквозь неясный шумок чей-то знакомый Похмельному бабий голос.— Мне одна жинка говорила, я не скажу кто, будто в наше село на вечное проживание зашлют ровно тысячу таких сосланных. И будем мы их кормить до тех пор, пока... Ай ты! Гляньте, бабы: ему одних мужиков вывели. Вот повезло Игнату! С такими квантирантами можно хозяйство поправить! Я бы такую семью тоже взяла. С одних бабьих рук в подворье нема толку...

— Да, прогадала ты,— с непристойно веселым сочувствием отозвался кто-то из гуляевцев.— Знаешь, сколько толку ты бы получила сразу от четырех мужиков!..

Бабы вознегодовали шутке, парни развеселились. Кривельняк, сосед Плахоты, хорошо знавший достаток его семьи, досадуя на то, что его призыв разойтись не возымел поддержки, урезонивал Игната:

— Куда ты берешь? Оно тебе надо? Сгонит тебя Татьяна со двору вместе с ними.

— Не сгонит. Это тебя надо гнать, шоб не морочил людям головы,— добродушно отвечал Игнат.— Ты, командир,— обратился он к начальнику партии,— мою фамилию полностью запиши, с отчеством, шоб не спутали. В нашем селе еще Плахоты проживают...

Кривельняк безразлично махнул рукой:

— Да бери хочь всех! Мне-то шо? — Добавил, будто бритвой полоснул: — Меня гнать не за шо, а вот тебя, слышно, уже выгнали...

Игнат, разглядывая собиравшуюся семью, не сразу сообразил, о чем он, дошло позже.

— Умеешь ты, Михайло, кусануть... Тебе Федор двадцать первый год напомнил... Помнишь, как в том году ты ездил в город, плакался у попов: мол, церкву в селе выстроил, а теперь помираю с семьей с голоду? Было такое? Они вам, плотникам, денег дали с тем и выпроводили. В тот год с теми бумажками... А из могилы твою семью киргизы вытянули. Они коней нам привели. Не забыл? С тех похлебок твои дети на ноги поднялись. Помнишь? А у тебя и по сей день для них другого названья нема, кроме как «калбит немытый».

— Та чего ты, Игнат, я ж не со зла... Я тебе добра желаю... Та мы ж и дохли потому, шо такие, як ты, вывезли пшеницу из села. Не вывозил бы ты — не пришлось бы моим детям голодать. Нехорошо тебе, Игнат, моим горем меня попрекать.

— Все так! — быстро согласился Игнат.— На мне грех перед селом — вывозил пшеницу. Но ты мне объясни: киргизу, когда он расчет по совести с тебя потребовал, ты зубы выбил в шестнадцатом году, а коней из Басыря привели в двадцать первом. Помнишь?

— Так они дохлых привели... У нас же дети мерли! — вскрикнул Кривельняк.— Шо ж ты равняешь! Та мы потом за тех коней...

— А то кто стоит? — вкрадчиво спросил Плахота, указав на сосланных.— Песигсловцы? — И, полный чувства торжествующей справедливости, обратился к остальным: — Чого примолкли? Или вместе с памятью языки отняло? Стыдно, люди! Когда-то сами так же помощи ждали. За жизнь своих детей я судьбе только одним могу отплатить... Э, нет, командир, ты мне семью другую выбери. Чтоб детей много!

Обрадованный начальник партии живо выполнял

просьбу, и у Похмельного впервые за эти дни стало легче на сердце.

Сзади неслышно подошел и наклонился с высоты огромного роста бригадир третьей бригады Софрон Балясин.

— Себе, что ли, взять? — спросил он, словно советуясь с ним.— Жалко людей...

— Возьми, если жалко,— улыбнулся, обернувшись к нему, Похмельный.

— А ты поможешь? Дашь лесу и коней, чтобы вывезти. Я за эту зиму все через печь...

Похмельный его не дослушал, соскочил с брички, которую оставил ему Гарькавый, и громогласно объявил:

— Кто возьмет семью на постой, тому правление в первую очередь разрешит заготавливать дрова в лесу!

— Обманешь!

— Нема дурных!

— Кто тебе даст право? — презрительно спросил кто-то из мужиков.— Строков не мог выбить, а ему, бачишь, дадут... Ха!

— Они только обещать мастера, а мы каждый год камышом спасаемся.

— Добьюсь,— стоял на своем Похмельный.— Вот с него и начну,— он указал на Балясина, который пошел к начальнику партии.

Родом Балясин был из Сибири, там воевал, оттуда гнал колчаковцев до этих мест, где его ранили. Женился он неожиданно для села на дочери гуляевца, в хате которого его выхаживали после лазарета, и теперь доводился дальней родней Гриценяку. Гуляевские мужики дивились: с чего это он, уроженец богатой таежной стороны, прельстился на нелегкий хлеб степовика. Он отвечал, что на родине у него большой родни не осталось, здешние места пришлись по душе, а хлеб везде надо в поте лица добывать — все, что обычно говорят в подобных случаях. Причина же крылась в другом. Родни у него и в самом деле на родине большой не было, но оставаться здесь, по крайней мере в первые годы, он не хотел, и когда заводил разговор о переезде, то жена его, полная, неразговорчивая баба, при одной мысли о том, что ей придется навсегда покинуть «батькив та ридне село», впадала в такое тупое молчаливое отчаяние, что он всерьез опасался за ее рассудок и со временем смирился.

Ростом Балясин был высок, широк в плечах, с прямой, как настил, спиной, с таким же прямым характером, жил строго, не допуская излишеств ни в жизни, ни в разговорах.

Начальник партии Бритвин (Похмельный узнал его фамилию от конвоиров) выбрал Балясину семью немалую. Кто-то из баб (у Балясина было четверо детей, и все девочки) с ехидством советовал:

— Ты, Софрон, хлопчиков доглядай: вырастут — в зятьях останутся...

Похмельного сзади тронули за плечо, он оглянулся и увидел Семена с двумя бригадниками.

— Шо за базар? — удивился он.

— Вы почему не на пахоте? — встревожился Похмельный.

— Да завтра праздник какой-то. Не то вознесенье, не то спроверженье... Помыться надо да харчами запастись... Опять к нам?

— Опять...

— Надолго?

Похмельный протянул ему райкомовское приказание.

— Серьезно пишет! — развеселился Семен.— Шо ж ты думаешь делать?

— Ничего. Сижу вот, гну в пазуху Гнездилову. Ведь знает, что в селе и без этих полно, а все-таки направил. Добраться бы мне до него...

— Понятно... Шо хочь за люди?

— Черт их знает! Фамилии не то польские, не то откуда-то с западных областей... Спроси вон у него! — он кивнул на Бритвина.

— И кому ты собираешься раздать это добро?

— Пока берут по доброй воле. Гарькавый взял, Плахота, Алешка повел семью, вон Балясин берет: видишь, узлы собирают... Семен, возьми и ты! А?

— Куда мне! — засмеялся Семен.— С моим батьком только квартирантов брать. У него среди зимы снегу не выпросишь, а ты — бери.

— Бери, бери, Семен,— поддержали Похмельного стоящие неподалеку гуляевцы, свидетели разговора.

— Что тебе батько, когда ты сам скоро батько!

— Га-а!.. До батька еще жениться надо. Была б там дивчина... Эх, горемычные! — громко обратился он к высланным.— Середь вас молодички нету? Я бы взял. Я молодой, страшно красивый и такой работящий, аж са-

мому не верится. Нехай выходит. Будет жить со мной як в раю: и голая, и босая, и никогда сухого хлеба есть не будет — всегда со слезами! — Это он любил — побалагурить принародно.

— Председатель, да там брать некого,— продолжал он веселиться.— Молодички нету, а старуху не надо — я боюсь на ночь страшные сказки слухать... Нету? Жалко, а то бы взял...— И уже серьезно посоветовал Похмельному: — Ты, Максим, голову не ломай. Делай шо Гнездилов требует — подселяй к малосемейным... У этого Гнездилова шо ни день — то новый фокус.

— Меня возьмешь? — раздалось позади Семена, он оглянулся, и оба увидели молодую выселенку.— Бери, обижаться не будешь,— сказала она, видя, что они недоуменно посмотрели друг на друга.

— Так это... пошутил я.— Семен глуповато смотрел на Похмельного.

— Зато я не шуткую.

Семен растерялся:

— Не могу. И хорошая ты молодичка, а не могу. Жил бы я один — другое дело. Я ж с батьками...

— А нам с тобою много места не надо!

Кто-то из местных парней рассмеялся. Похмельный отвел взгляд: было что-то нехорошее в том рискованном вызове, с которым она разговаривала. Из высланных ее никто не одернул. Бритвин поддержал ее:

— Возьми, парень. У нее семья небольшая, не стеснят.

— Но-но! — встревожился Семен.— Какие быстрые, к каждому слову цепляются, сказать нельзя... Куда я тебя поведу? — строго спросил он у молодички.— Батько нам такого перца всыпет, шо почешем там, где не свербело... Максим, я пойду, мне еще в кузню надо.

Но ободренная смехом выселенка ухватила его за рукав:

— Бери, не пожалеешь. Или испугался? Ты, наверное, перед делом петухом, а во время дела зайцем...

Восхищенные мужики наперебой советовали растерявшемуся Семену:

— Веди, дурак, пока не отобрали!

— Не отказывайся, Семен!

— Смотри, Семен: за перебор — черта во двор!

Семен отчаянно огрызнулся, со злостью вырвал рукав из рук выселенки. Похмельный вспылил:

— Кончай балаган! Сам напросился! Отцу скажешь, что Гнездилов приказал всем правленцам взять по семье. Я подтвержу.

И сникшему Семену ничего не оставалось, как вести семью находчивой выселенки к себе домой, благо, что семья оказалась небольшой.

А вслед неслось:

— Дошутковался!

— Так ему и надо — не будет языком трепать.

— Ему давно пора...

— Шоб вам елось и пилось, шоб хотелось и моглось!

Похмельный прислушивался к разговору деда Данька с Бритвиным. Старик оговаривал:

— Шоб семья небольшая.

— Есть небольшая.

— Шоб верующие.

— Есть верующие.

— Шоб работящие, лядащи не надо.

— Они теперь все работящие.

— Шоб не табашники. Не люблю.

— Ради такого случая бросят.

— Шоб с уважением. У меня нема защиты...

— Будешь кормить — зауважают... Дед, ты берешь или только торгуешься?

— Выводь,— вздохнул старик.

Пока Бритвин подыскивал семью всем стариковским условиям, на круг вышел еще один гуляевец, которого Похмельный видел впервые, и с шальной решимостью объявил:

— Раз дед Данько берет, то и я возьму... Мария, выходь,— позвал он жену.— Выходь и выбирай.

— Я тебе выберу, я тебе так выберу, шо ты дорогу до хаты забудешь,— грозно пообещала она мужу из толпы гуляевцев.— Сердобольный якнй... А ну, отойди от них!

— Выходь! — вдруг страшным голосом крикнул мужик.— Выходь и не балакай, не то при людях чертей всыплю!

Похмельный переглянулся с мужиками и, сдерживая смех, с безразличным видом стал смотреть на озеро.

— От нема у мужика разума,— сокрушалась, выходя, баба.— Чем ты их, дурилко, накормишь, где положишь?.. Люди, хочь вы его вразумите!

— Молчи, баба! — смеялся мужик.— Чула? Им пайки дают, а ночевать я тебе найду где.

Бритвин тоже ее успокаивал:

— Не тужи, тетка. Месяц протерпишь. Семья хорошая, спокойная, хозяин, слышал я, портняжит, мужу штаны сошьет, тебе — наряды,— нахваливал он семью в девять душ.

— Божечко ты мой! — ахнула она, увидев их всех.— Гриша, может, поменьше?..

— Веди, веди! — все с той же грозной веселостью прикрикнул муж и подмигнул мужикам.

Похмельный смотрел на высланных, вспоминал своих. С той же покорностью и некой обреченностью стояли они недавно у этого взгорка, те же страдание и безмерная усталость лежали на лицах, когда они в молчании безучастно внимали происходящему, больше похожему на торг...

Бритвина окружили несколько гуляевцев:

— Не-е, мне такую не надо, мне поменьше...

— Поменьше нету. Кому-то надо и с детьми брать! Клепарский Марцен!

— Я со старухой. Нам бы помоложе кого. Можно с дитятком...

— Кустовский Франек! — выкликал Бритвин.

— А им пайки такие же, як прошлым? Если такие, то я могу посочувствовать...

— Ляшевский Бронислав!

— Председатель, а ты взаправду дров поможешь заготовить?

— Бразинский Станислав!

— Так точно, шо на месяц? — кто-то безуспешно добивался гарантированного ответа. Ему Бритвин не ответил, он возражал другому:

— Эту не дам, эту старики просят, им помощь в хозяйстве нужна... Номеровский Казимир!

— Председатель, а ты справку напишешь?.. Як яку? Шо я взял на прожитье семью высланных. Шоб мени потом от власти ниякого притесненья!

— Дробочь Людвиг!

Через пару минут веселый Бритвин объявил:

— Все! Одна охрана осталась. Кто ее возьмет?

Похмельный легко соскочил с брички...

Уводя Бритвина с конвоем, Похмельный попросил

передать правленцам, чтобы они пришли к нему на квартиру.

Орава постояльцев привела в смятение хозяйку. Пришлось ей доставать из погребка последнее; Похмельный обещал возместить расходы с первой получки. Он собирал правленцев с одной целью — расспросить Бритвина о состоянии дел в центре России, выяснить, что происходит в колхозах на данный момент, закончилась ли наконец высылка в тех краях.

Правленцы привалили дружно во главе с Гриценяком. Гарькавый с присущей ему прямотой напомнил:

— Чого звал? Не терпится новостя узнать? Небось забыл, як ерепенился, когда мы тебя просили рассказать? Зараз самому зачесалось? Подожди, поживешь здесь месяц-другой, не только людей — собак заблудших станешь расспрашивать.

Чтобы не вводить хозяйку и в без того немалые затраты, они принесли с собой все, что требовалось для мужского разговора о нынешней жизни.

Но напрасно они хлопотали с самогоном и закуской. Бритвин рассказал им то же самое, о чем говорил Похмельный, о чем сообщалось в газетах. Никаких сногсшибательных известий и поворотов в крестьянском вопросе не намечалось. Курс на полную коллективизацию держался твердый. К тому же Бритвин оказался мужиком, поднаторевшим на подобных сходках, и правленцы, сами того не замечая, под его больные вопросы больше рассказывали о своих невзгодах, пока он по порядку отведывал закуску.

Похмельный пить отказался. Он сразу понял Бритвина, но ход беседы не менял. Ему было интересно как бы со стороны послушать подвыпивший актив, и он только подбадривал их замечаниями с просторной лежанки, куда влез, сказавшись нездоровым.

Рассказал Бритвин и о людях, которых привел. Это были потомки поляков, осевших своими родовыми поселениями на плодородных украинских землях под Каменец-Подольском во времена далеко не дружественных отношений между православной Украиной и униатской Польшей. В 1863 году после очередного неудачного восстания поляков, участвовавших в нем, в эти места из Польши уже высылали семьями. Поселения расширялись, занимали новые земли.

Прошло немало времени. Один век кончился, начался

другой. Теперь только старики помнили варшавские горячие дни и бои под Кшиводзондом. Их дети исповедовали по-прежнему католическую веру, проходили конфирмацию в костелах, еще кой у кого из них вспыхивали глаза при рассказах отцов о «рувности и неподлегности» польской, но внуки уже хорошо освоили малороссийскую мову, вступали в браки с русскими, украинцами и евреями из местечек и принимали веру общую для семьи. О Польше забывали, кроме тех, у кого там остались близкие родичи, забывали о них, как о части своего народа, и в Польше...

Советское государство предоставило им права наравне с остальными гражданами страны, и даже больше: как пострадавшее от колониальной политики царизма национальное меньшинство, их щадили продразверсткой.

Но теперь, когда они стали полноправными гражданами СССР, о них вдруг вспомнили в Польше. Пилсудский с помощью Антанты готовился к войне. Ему предоставлялось все, начиная от артиллерии и конфедераток и кончая «идеями». Одна из них провозглашала: пора великой Речи Посполитой сквитаться с «москалями», вернуть утраченные земли на Украине, заодно возродить былую славу.

О том, что лучшая часть русского народа издавна горячо желала свободы полякам, что тех самых «москалей» самодержавие расстреливало, вешало, пороло и ссылало в Сибирь за помощь восставшим полякам, теперь умалчивалось. Обходили глубоким молчанием и то, что нынешнее полное и окончательное освобождение и признание суверенным государством Польша получила из рук Советского правительства.

Теперь вспомнили... Минуя кордоны на финляндской границе, через леса Украины и Литвы потянулись тайные гонцы в Россию. Связные несли новые катехизисы, оружие, листовки с зажигательными речами Пилсудского, отечески наставительные советы епископов, воззвания историков к «великому польскому духу» обрусевших поляков. Небезвозмездно, разумеется. Взамен требовались данные о составе стрелковых частей, экономике, запасах продовольствия и фуража и прочие сведения.

Идеологическая обработка дала результаты. Поползли националистические шепотки, вспомнились давно забытые обиды. То, что до семнадцатого года приходи-

лось прятать в душе за семью замками, теперь, оказалось, можно говорить безбоязненно. В некоторых местах эмиссары организовывали тайные группы «польских патриотов», куда, впрочем, великодушно и без проволочек принимали белогвардейцев, украинских кулаков, а на руководящие посты — царских офицеров русских фамилий. Все годилось для борьбы с «пшеклентым» большевизмом. Но что любопытно: бедноту мало трогали воззвания послужить неведомой родине, молчал в них «зов крови», им по душе пришлась Советская власть. В группах состояли, в основном, зажиточные «поляки»...

В апреле двадцатого года из Ватикана благословили двуперстием, и пятидесятитысячная польская армия перешла границу. Расчет «первого шляхтича» был прост: пока Россия не выправилась после шести лет войны и разрухи, пока простиралась она на тысячи верст — израненная, голодная, обессиленная, надо урвать что-нибудь. Можно из Белоруссии, а лучше с Украины. По старой памяти. Но «лыцарь» ошибся. Россия оставалась Россией, и уже в октябре того же года по просьбе Польши был заключен мирный договор. Но людей польского происхождения не оставили в покое. На протяжении десяти лет просачивались лазутчики с тем же «товаром» и с еще большими требованиями, теперь уже не одной Польши. К ней подключились все, кому нужна была националистическая вражда в России и центры, на которые можно было бы опереться в нужный момент.

В 1929 году, когда весь западный мир потряс серьезнейший кризис и встала реальная угроза войны, в Ватикане, воздевая руки, призвали к очередному «крестовому» походу против России, и «работа» закордонников еще более усилилась. Теперь призывали к террористическим актам, усилению пропаганды, а во время коллективизации — к открытым вооруженным восстаниям.

Сложная международная обстановка, близость границ панской Польши и Германии, опасность новых военных нападений — все это потребовало укрепления своих западных границ. По планам Наркомата обороны в ближайшие годы в западных районах намечалось строительство протяженных оборонительных линий, военных коммуникаций и укрепрайонов.

Органам ГПУ вменялось в приказ выявить в польских селениях семьи, имеющие родственные связи в Польше. Отыскать эти семьи в районах Хмельницкой и

в соседних с ней областях оказалось несложно, и всех их было решено переселить в глубь страны, предоставив возможность забрать с собой из хозяйства все, что они сочтут нужным взять.

Но трагедия польских поселений заключалась в том, что в тридцатом году выборочно, а со второй половины тридцатых годов, во избежание возникновения новых связей, что, в общем-то, не исключалось, уже массово выселялись тысячи семей с земли, давно ставшей родной, и не имевших никакого отношения ни к панской Польше, ни тем более к ее дефензиве.

Самое неприятное ожидало правленцев в конце рассказа. Когда Гриценяк спросил, как же относиться к ним и кем считать — высланными кулаками или же переселенцами из национальных меньшинств, которым при Советской власти предоставили особые привилегии (и о такой категории слышали гуляевцы), то Бритвин, лениво выплюнув к порогу непрожеванную сальную корку, ответил, что насчет тех, кого он привел, еще поступит разъяснение, но других определят, он уверен, со всеми правами и льготами, потому что переселяют их со всем имуществом: домашним скарбом, ценным строительным материалом, скотом и даже птицей. Ни на какие точки их определять не будут, оставят жить в селе и правления колхозов обяжут сделать все возможное, чтобы они как можно быстрее обжились. И пояснил: в тамошних колхозах при появлении тракторов возникла острая нехватка земли. Предлагать места крестьянину на заводах — глупо, они привыкли от земли кормиться, а в здешних краях ее много пустующей.

Негодованию правленцев не было предела, Иващенко от возмущения ерзал на лавке, опрокинул стакан и змеем шипел Похмельному, чтобы тот сейчас же отправился к Гнездилову с требованием убрать новопоселенцев, в противном случае он снимет с себя обязанности коменданта. Ему вторил Кащук, сумрачно отмалчивались Гарькавый с Кожухарем Петром, и даже Гриценяк, который обычно многозначительно усмехался, желая показать, что он понимает больше и видит дальше других, на этот раз только присвистнул. Бритвин пренебрежительно кривил губы и объяснял: Гнездилов селу не в состоянии помочь, поскольку в Н-ске, городке в четырех часах езды от Щучинской, все вокзальные пристройки, склады, общественные дворы и здания забиты выслан-

ными всех категорий. Там творится такая неразбериха, что мало-мальский порядок поддерживает воинская часть.

Здесь Похмельный не выдержал. Его больше покоробил тон, с каким Бритвин разговаривал с правленцами, чем неприятные известия, и он грубо оборвал его, дав совет на будущее меньше болтать и не сбивать с толку людей сведениями, в которых власть-де наводит порядок с помощью воинских частей. Бритвин, разомлевший от усталости, выпитого и довольный тем, как быстро и ловко у него вышло с расселением, нисколько не обиделся. Он небрежно указал на Похмельного и снисходительно улыбнулся — видали такого? Это с лежанки легко советовать, а вот побыл бы он на его, Бритвине, месте, разок, другой выселил да сюда свез — тогда бы меньше советовал и больше слушал знающих людей. И кислые улыбки правленцев расценил как удачный ответ гуляевскому председателю.

VII

Поездку в Щучинскую пришлось задержать: ночью пропали два полухинских коня из тех, на которых добирался к селу и обоз Похмельного. Он невольно подслушал из сенцев, как Бритвин говорил конвою, что пропажа — дело рук самих гуляевцев, и грозился жалобой прокурору. Пришлось разослать верховых на поиски. Не выехали в тот день и бригады на пахоту. Был четверг — по церковному численнику храмовый праздник вознесенья. Под нетерпеливо-веселый колокольный перезвон гуляевцы с утра пошли в церковь. Коней отыскали в первых березняках, куда они забрели, порвав гнилые путы, и, когда наконец тягостный его сердцу конвой был отправлен, в село вместе с Полухиным приехал Гнездилов.

Похмельный встретил пролетку у правленческих воротец.

— Ты посмотри, Сергей Николаевич, на него. Был словно с креста снят, теперь на человека стал похож. Вот что значит хорошая должность. А еще отказывался! — говорил Гнездилов Полухину, разглядывая Похмельного.

— Здравствуй, Иван Денисович,— Похмельный не-

вольно поддался его шутливому тону.— А я только к тебе собрался.

— Соскучился иль наболело?

— Все разом...

— Тогда веди куда-нибудь в тенек, где жалобы легче слушать. Жарко сегодня... Я к тебе надолго. Объяви-ка общее собрание да насчет коней распорядись.

Он и Полухин пошли в правление.

Похмельный приказал огольцам, которые во всякое время дня болтались у двора, распрячь и напоить коней и срочно собрать людей.

— Экой беспорядок у тебя в присутствии! — сказал Гнездилов, с шумом усаживаясь за стол, подальше от окон, полных мутного солнечного света.— Не подметено, грязно, окна не мытые, вода в бочке теплая... Ты что же, не бываешь здесь? Председатель должен отсюда колхозом руководить, потому оно и зовется правлением, а не по лесам скакать. Рассказывай... Вы, товарищи, тоже рассаживайтесь, разговор долгий обещается,— пригласил он правленцев.— Высланных разместил?

— Куда деваться? Пришлось... Иван Денисович, объясни ты мне...

— Обожди, председатель. Я знаю, сколько у тебя вопросов, поэтому давай условимся: вначале я спрашиваю — ты отвечаешь, потом наоборот, ты задаешь свои вопросы — я отвечаю, и сразу всему собранию. Идет? Тебе же удобней... Что у тебя с посевной? Сколько засеяно?

Похмельный ответил, и лицо Гнездилова тотчас приняло неприятно холодное, удивленное выражение.

— Вот это по-ударному! У тебя по плану девятьсот гектар. Когда же ты с такими темпами закончишь? Не к спасу ли? Жара стоит, через недели две земля чугуном возьмется...— Он переглянулся с Полухиным.— Да ты, парень, не ленишься ли?

Шутливость, с которой он спросил, не могла скрыть его тревоги.

— А сколько я, по-твоему, должен засеять при двадцати лошадях и ста быках?

— Но-но,— строго постучал костяшками пальцев по столу Гнездилов.— Ты мне всей площадью глаза не замазывай. С твоим числом тягла ты обязан поднимать до двадцати гектар в день, что и делают успешно в остальных селах. Пашешь ты, если верить твоему сообщению,

четвертый день, хотя должен еще неделю назад выехать... Сто гектаров — вот твоя цифра на сегодняшнее число!

Похмельный задумался. Той доброжелательности, с которой беседовал с ним Гнездилов, уговаривая остаться, да и на второй день, посылая в село председателем, не было и следа, и теперь Похмельный недоумевал: что бы это означало? Власть у Гнездилова такова, что ее силу показывать перед правленцами лишний раз не стоит, не к лицу, и если уж спрашивать, то скорее Похмельному у Гнездилова, а спросить есть что...

— Ты говори спасибо, что я вообще упросил людей на пахоту выехать... Как это получилось, что у тебя, Иван Денисович, с таким планом засева страшная нехватка тягла и семян? Семфонд из закромов приходилось с боем отбирать, фуража нет, на скотных дворах нищета, люди ни устава не знают, ни льгот колхозам? Старики — так те не ведают до сей поры, кем они числятся, колхозниками или единоличниками. И в добавок контра в председателях ходила... А ты план требуешь — девятьсот гектаров! Это с каких таких расчетов? Я бы мог еще перечислять, но воздержусь пока. Одно скажу: развал в селе полнейший, и в этом — не с меня спрос.

Гнездилов тяжелым взглядом посмотрел на правленцев:

— С меня? Что ж, вина моя есть. Так и объявляю всему народу. Но ты все-таки обязан поднимать двадцать гектаров в день. За тем сюда и послан. Вот за это и отвечай. А уж сколько всего засеете, буду отвечать я и в другом месте. Понял?

Мягко вмешался Полухин:

— Здесь трудно кого-то обвинить. Кто мог подумать? Ты помнишь Строкова на бюро? Умен, трудяга! Я, признаться, тогда подумал, что тебе с ним крепко повезло и никакого контроля с твоей стороны, Иван Денисович, в этом селе не потребуется.

Гнездилов строго посмотрел и на него:

— Ты, Сергей Николаевич, не выгораживай ни меня, ни их.— Он указал на правленцев.— Нечего все валить на Строкова. Я не знаю, кто он в действительности, но Строков сохранил колхоз. А скот... Где его не резали, не продавали?.. Что же касается остального, то вот он,— Гнездилов указал на Похмельного,— точно определил виновника.

Похмельный посмотрел на него так, словно ослышался:

— При чем здесь сохранил не сохранил?.. А если бы не пришел на него запрос, он и дальше бы у тебя... сохранял? Он, подлец, людей разложил! Это хуже, чем нехватка тягла! Ты думаешь, если сейчас пашут, то нам верят? Как бы не так! Чтоб с голоду... Да за одно это его надо к стенке ставить!

— Брось ты! — сердито отмахнулся Гнездилов.— Кого бы ты сейчас в полях увидел, если бы люди нам не верили?! Почему твои пашут именно колхозом? Они могли бы выйти из него и пахать единоличным порядком, власть разрешает. Тебя испугались? Или Строков разложил, а ты приехал и за неделю всех сложил?

— Нет уж, извиняй, Иван Денисович! — загорелся Похмельный. Нельзя было позволить Гнездилову говорить с ним с этакой начальственной строгостью под маркой грубоватого дружелюбия, когда присутствуют все правленцы и исход разговора мог повлиять на многое: и на будущие взаимоотношения с тем же Гнездиловым, и на авторитет его, Похмельного, среди колхозников, и, возможно, дальнейшее положение дел в селе.— Лишнего приписывать себе не хочу. Но и чужие грехи, в том числе и твои, на себя вешать не собираюсь.— Он с трудом изобразил улыбку.— Нехорошо получается, Иван Денисович. Не успел приехать — и сразу виноватить: мало вспахано, плохо сделано. Будто я здесь дурака вторую неделю валяю, а вы, умные и работящие, трудились тут не покладая рук. Даже Строкова защищаешь... Не ожидал от тебя! Я понимаю: отчет я тебе должен дать, но и ты, будь добр, уважь, объясни, с чего бы этот бардак в селе и с какой стороны к нему подступиться!

Гнездилов поднялся, поглядел через окно во двор, где собирались люди:

— Во-первых, Максим Иванович, отчет ты даешь не Гнездилову, а отчитываешься перед партией в моем лице за порученное тебе дело. С кого мне спрашивать? С руководителя колхоза. Чем, например, у тебя сегодня люди занимаются? Что за праздник? Кто его объявил: ты или отец Василий? Я с полдороги слышал ваши перезвоны. За подобные празднества по-другому с тебя спросить бы надо, но да воздержусь до собрания...— И уже мягче добавил: — Ты, Максим, пока время есть, расскажи, каким макаром у казахов лошадей выпросил, что

за скачки у тебя в лесу случились, любопытно послушать...

Что последует за рассказом, Похмельный предвидел. Он расскажет, Гнездилов выслушает, похвалит, про себя подсчитает, а потом навалится: с таким числом тягла, людей и тянуть посевную? Вредительство! Саботаж! Похмельный хорошо знал, куда можно повернуть, какие обвинения предъявить, сам не раз использовал подобный ход, употреблял грозные слова. Но рассказал.

Начал издалека, долго рассказывал о казахах, о том, что пришлось пообещать взамен, и закончил вчерашним тягостно-похоронным днем и расселением «поляков». Рассказывая о Ганьке (о ночной беседе с ним умолчал), Похмельный заметил, как насторожился Полухин, но продолжал говорить, с умыслом подчеркивая то горе, которое постигло родителей погибшего Павла, и опасность селу от подобных выходок.

Гнездилов помрачнел, притих, потом с укором заметил Полухину:

— Тебе не кажется, что ты его недооцениваешь?

— Я его переоценил. Дурак он, оказывается, хоть и приятель Строкова. Я еще не знаю...

— Ну а коли дурак,— жестко остановил Гнездилов,— то мне хотелось самому в этом убедиться, поговорив с ним в твоем кабинете. Недельки примерно через две. Довольно!

— Поговоришь,— пообещал Полухин.— Здесь все свои? — Он, видимо, хотел поделиться с правленцами каким-то планом.— К вам, товарищи, мы направили еще одну партию высланных. Я бы хотел, чтобы вместе с ними...

— Что ты сказал? — Похмельный удивленно приподнял голову.— Еще направили? Это так, Иван Денисович?

— Да! — вдруг громко и весело отрубил Гнездилов.— Уже на подходе. Немного, но направили. Кавказцы. Всего двенадцать семей. Надо, товарищи, принять.

— Нет! — категорически отказал Похмельный.— Принимать не буду... Некрасиво делаешь, Иван Денисович!

— Да ты погоди ругаться,— улыбнулся правленцам Гнездилов.

— Нечего мне ждать! — закипал Похмельный. Ему стало понятно, почему так жестко начал Гнездилов.— Я шел сюда председателем колхоза, а не начальником лагеря. Направишь сюда — сдам дела. Назначай кого-ни-

будь из них,— он ткнул, не глядя, в сторону правленцев, которых сообщение ошеломило не меньше.

Иващенко глуповато хмыкнул, Кащук сжал кулаки, тупо глядел в замызганный пол, и лицо его стало таким, будто он сдерживал сильную боль; все остальные чувствовали себя не лучше. Гарькавый, хмурясь, сказал:

— Оно и правда: я, фронтовик, белыми калеченный, теперь должен сосланного кулака обхаживать! Зачем тогда своих высылали? Негоже дело затеяли, товарищ секретарь. Мы несогласные.

— Не ты один! — крикнул ему Похмельный.— Я всю войну эту сволочь шашкой сек, а теперь ее же — прими, рассели, помоги, накорми... Я отказываюсь!

— Ты пойми, что нам невозможно...

— Не пойму! Хватит! Принимать не буду. Веди их куда хочешь, или сдам дела!

— Замолчи! — вдруг властно крикнул Гнездилов и отошел от окна.— Сло́ва не дает сказать... Ты куда шел? Забыл? Или решил, что я тебя уговаривал здоровье здесь поправлять? Не было бы трудно — не просил. Своими бы обошлись... Я вас, товарищи, одно прошу понять... Верно: кулачество для Советской власти ныне злейший враг. Он не в золотых погонах, не в котелке с тросточкой, он — живая плоть и кровь всего трудового крестьянства, потому и плохо различим, потому так больно рвать. Максим, неужели тебе это надо объяснять?

Похмельного даже заколотило от обиды.

— Ты меня политграмоте не учи! За каким чертом я остался здесь? На твой сладкий уговор поддался? Знаю, что люди... Я сюда свез точно таких же крестьян. А это мои люди, понимаешь, мои! Я вырос среди них. И я же их выслал. Но не каюсь! Все правильно! Я за раскулачивание и высылку. Но не в ущерб колхозам. Ты посмотри, что в селе творится. Сосланных уже двести восемьдесят пять человек. Кормятся они не травкою, а семенным зерном, которое ты, может быть, в Кошаровке забрал и сюда на пайки отдал, а завтра у нас заберешь и отдашь в другое село в помощь высланным. Мне оттого и трудно было людей на пахоту вывести, что неизвестно, куда урожай пойдет. Колхозник, может, и поднапыжился до твоей нормы, но ему шепчут: не рви пупок, дурак, весь урожай пойдет что государству, а что на прокорм высланных. Ты вчера направил поляков с записочкой: мол, прими на время, через месяц уберем... Не-

правда! Дальше Гуляевки они не пойдут. Останутся здесь навсегда. Через месяц придут ко мне те, кто взял на квартиру, и скажут: убирай, председатель. Что отвечу, куда дену? А ты еще просишь принять... Вот поддержка колхознику! Ему, колхознику, и приказ: корми высланного кулака, врага колхозов... Полухин здесь Ганька дураком видит, а он не глупее нас: не знал бы, каких людей сюда высылают,— и дня бы здесь не остался!.. Нет, не приму, хоть снимай. Вы тоже не молчите! — прикрикнул он на правленцев.

Гнездилов остановился возле Похмельного, положил ему руку на плечо:

— Максим, их немного. Ну, ты видишь, какая обстановка... Прошу тебя по-человечески — выручи. Полегчает немного — помогу тебе в первую очередь.

— Нет! — вывернулся из-под его руки Похмельный.— Ни одного человека не приму. Там, наверху, хреновину городят, а мы отдувайся. На кой черт такое раскулачивание! Ты же мне колхоз под корень рубишь! Все развалится. Гони их в аулы, в степь, куда хочешь...

— Чего ты орешь, на кого ты орешь, в какую степь,— тихим, невыносимым голосом ронял у него над головой Гнездилов.— Чтоб через неделю вымерли? Ты знаешь, что все партийные и хозяйственные организации, все исполкомы и сельсоветы обязаны обеспечить высланных прожиточным минимумом. Так требует партия. Заруби себе на носу, если мозгами дойти не можешь! Весь край на ноги поднят. Партруководство дворнягами по всем закоулкам рыщет, люди головы ломают, где бы что достать, где выкроить. Каждая доска на учете, каждой горсти зерна счет, а он взвился, аж пена изо рта... Объели его, видите ли, утеснили... И выгоню к такой матери!

— Ну и выгоняйте! — вскочил в ярости Похмельный.

— Сядь! — грозно крикнул Гнездилов.

Похмельный мгновенно вскинулся в его сторону, опрокинул табурет. На обтянутом бледном лице сухо и черно загорелись глаза; он медленно подошел к Гнездилову. Правленцы со страхом глядели на них.

— Ты на меня не ори, секретарь,— не своим, каким-то задавленным голосом, в растяжку выговорил он.— Не привык. У меня партбилет такой же, а может, ценнее...

Гнездилов с презрительным спокойствием выдержал его полный ненависти взгляд, кивнул Полухину:

— Ты посмотри, Сергей, на этого кристально чистого партийца. Принимать он, видишь, не хочет.

— Да, не хочу и не буду,— стиснув зубы и уже плохо владея собой и пугаясь этого, ответил Похмельный. Гнездилов продолжал в упор рассматривать его, и он, словно очнувшись и боясь сказать непоправимое, отошел к бачку, и с жадностью стал пить воду.

— Что ж, тогда гони дальше. Пусть бродят от села к селу, пока не подохнут,— говорил в спину Гнездилов.— Так и объяви на собрании: Гнездилов направил в село, а ты гонишь их в степь. Даю тебе такое право. Молчишь? Почему же ты считаешь, что я могу, что другие коммунисты могут? Как он перевернулся! Я помню, как ты лошадей требовал, когда своих сюда вел. С ножом к горлу подступал: дай подводы! Своих пешком вести жалко было, а этих гробить совесть позволяет? Я что, тебе лично во двор подселяю или ты со своей получки кормить их будешь?

— А чем я лучше его? — непримиримо спросил Похмельный, указав на Плахоту, сидящего у бачка.— Ведь это ему свои доходы с высланным делить. Ему и всем остальным гуляевцам.

— Пойми, даром хлеб им есть не позволим. Партия пошла на крайнюю меру, выселив кулака, уничтожив его как класс, но я еще раз вдалбливаю в твою голову, что люди, составляющие его, остались. Тысячи людей. Хлеборобов и скотоводов. Страшно нужных стране людей. Потому-то и высылают их сюда, где простор, земли много, чтоб работали, строили, распахивали новые земли, чтобы жили и приносили пользу стране. Шлют их сюда, а у нас нет ни лишнего хлеба, ни резервов. Все, что могли найти, уходит по точкам, где будут расселены одиночки. Семейные расселяются только в селах. Нет другого выхода. Партруководство края рассчитывает только на местных людей, на их доброту и милосердие... Надо будет, еще направим. Под винтовкой принимать заставим, но в голые степи детвору не поведем! По-партийному будет, а не по-твоему. Так-то, Максим. В такой обстановке тебе придется работать.

— Ну, это, видимо, кому-то другому...

— А ты? В кусты сиганешь? Тогда давай скорее, чтоб не заметили, какой ты слабак.

— Не надо! Я не слабак. Просто не хочу чье-то расхлебывать...

— Ах, чье-то! Не тебе бы говорить. Ты до Гуляевки был особоуполномоченным по раскулачиванию и высылке. Сто девяносто четыре человека привел в село! Так что ты расхлебываешь свое, а не чужое. Партия исправляет ошибки, и твой долг помочь ей в этом.

— Ошибки надо исправлять не за счет крестьянства. Лучше бы их вообще не делать...

— Отвечать мне ты, я вижу, умеешь... А ты живешь без ошибок? В тех высланных, что ты привел, твоих ошибок нет? Заранее соломку стелил? Счет сейчас должен быть один — сохранить им жизнь... Впрочем, не хочешь работать — черт с тобой, сдавай дела, найдем человека потверже.

Похмельный сдержался, промолчал, молчали и остальные. Никто не решался закурить. Вернулся сиделец, молодой парень, принес свежей воды, весело пригласил к «водопою», но почувствовал нехорошую тишину в комнате, вышел.

— Вчера гуляевцы сами брали на квартиру или по приказу? — спросил Гнездилов.

— Сами...

— Видишь, люди поняли.

— Ни хрена они не поняли! — огрызнулся Похмельный.— Тот, кто брал, отвечает за одну семью, а я за всех и за все.

Полухин, желая помочь секретарю, желчно заметил:

— Эту Гуляевку, если тряхнуть,— много еще из закромов посыплется...

— Но, ты! — вскрикнул Похмельный, задрожав от бешенства.— Ты сюда засыпал, что трясти хочешь?!

И правленцы вновь подивились запасу злости и безбоязненности своего председателя. На их памяти с районным начальством никто так не разговаривал.

— Да успокойся ты наконец, Максим! — крикнул Гнездилов.

— Что успокойся! Что Максим! Ты мне скажи, когда это все твои партийные и хозяйственные организации наладят регулярное обеспечение пайками? Продуктов, как я теперь понимаю, у тебя нет и не предвидится. Тех дохлых коров, что ты прислал, и на зуб не хватило. Вынуждаешь кормить семенным зерном?

— За потраву семфонда... — начал Гнездилов.

— ...пойдешь под суд,— закончил Похмельный.— Слыхал от тебя!.. В таком случае чем? Милосердием

колхозников? На взрослых я не выдам ни грамма, пока не засеем все, что возможно. Пусть из лебеды супцы варят, но детей... Детей-то я не могу, словно гусят, на спорыш выгнать!

— Знаю, Максим, знаю. И понимаю вас... Мне в Щучинской уже собрали кое-что. Еще коров пригоню на мясо. Спецодежда есть... Мало всего, но надо как-то вывернуться. Хотел на той неделе, но коли допекло тебя — по возвращении сразу направлю... Думаешь, мне легко? Мне это распределение по селам тоже стоило. Жаль, не знаете всего... Я прошу вас, товарищи: продержитесь. Ты, Максим, не рычи, ты стань на мое место. Тебе гораздо легче, у тебя хоть какой-то выход отыскать можно.

— Да не обо мне речь! — злобясь на Гнездилова еще и за то, что он не хочет понять простого, перебил Похмельный.— Я один. Всегда найду, где поесть, переночевать. Мне колхозного дела жаль. Люди только-только взялись за него — и на тебе!

— Ничего, Максим, люди тоже поймут.

— Вот уж не знаю. Ты, конечно, хозяин района, твое право решать, куда направлять высланных, но уговаривать колхозников я не стану. Сам проси.

Гнездилов молча склонил голову.

— Ну, и чтоб тебе до конца ясно стало, предупреждаю заранее: прежде чем ты начнешь уговаривать, я объявлю, что, пока не засеемся, из колхозного амбара никто ничего не получит. Тот, кто согласится взять на квартиру, будет кормить за свой счет. Вот так... Прикажешь сдать дела — сдам сейчас же, но людям я скажу правду.

На лавках зашевелились.

— Что хоть за люди? — спросил Кащук.

— Чечены.

— Господи, их-то за что? — изумился Семен.

— За то же самое, что и русских,— спокойно ответил Полухин.— Они сами все расскажут.

Шум за окнами становился громче; люди все подходили и подходили на собрание.

На крыльце Похмельный удивился: он привык видеть гуляевцев в одежде грубой, темной, порой нищей, теперь же двор расцвел яркими платками, цветными блузками, плахтами, новыми кепками; блестели напомаженные маслицем ребячьи головы. Многих гуляевцев оторвали от стола, и большинство мужиков пришли навеселе;

несколько баб из числа вдов и брошенок, которых так роднит безмужняя доля, смеялись у изгороди, окружив Василину: она что-то пьяно пела и взмахивала над головой платочком; молодые парни в глубине двора играли в «шлепок». Похмельный заметил и несколько своих выселенцев. При появлении Гнездилова смех и разговоры стихли, поднялись старики с камней возле сарайчика, унялась Василина, замужние подошли к своим мужьям — рядом спокойнее, угомонилась детвора.

Под удивленными взглядами гуляевцев Похмельный демонстративно сошел с крыльца. Тем самым он давал понять: ко всему, что сейчас будет сказано, он не имеет никакого отношения. Ему и Семену Гаркуше мужики, потеснившись, нашли место возле амбара. На крыльце остались правленцы с Полухиным и Гнездилов.

Начал он говорить легко, весело, но его тут же остановили:

— Когда высланных переведете? Не обман, шо на месяц?

Гнездилов страдальчески улыбнулся:

— Хорош вопрос, да не ко времени. Давайте о пахоте поговорим. Почему вы запоздали с ней? Позже всех начали, меньше всех поднимаете. Слышал я, что вы вообще не хотели колхозом сеяться. В чем причина? Вы не бойтесь, говорите прямо, Полухин здесь по другому делу... Бригадиры присутствуют? Кто из вас бригадиры?

Неохотно поднял руку Кожухарь, глядя на него, подняли руки Татарчук и Софрон Балясин.

— Ах, вот кто... Ну, Кожухарь, объясни, почему в твоей бригаде у здоровых мужиков за четыре месяца и по тридцать трудодней не наберется?

— Оно, если по правде сказать, товарищ Гнездилов, то мы и зараз не желаем особо напрягаться,— ответил бригадир и оглянулся на Похмельного.— Твердого плану — сколько себе, сколько государству — у нас нема, запасу фуражного зерна для тягла нема, быков на девятьсот гектаров не хватает, обещаниям вашим мы уже не верим. У нас ничего нема. Одни высланные. Осенью прикажете все доходы делить с ними да еще, мабуть, пришлете. Вспашем, чтоб себе хватило, трошки рабочему отмеряем, а для ссыльного кулачья у нас нема резону жилы рвать.

— Ты не трогай высланных. Им пайки установлены,— строго напомнил Гнездилов.— Я лично вчера вече-

ром выдавал продукты. В паек входят крупы, мясо, немного масла... соль входит! Вот такие узлы! Идут и горбятся.— Гнездилов свел руки в круг и напыжился, показывая, как велик и весом паек.

Кожухарь заулыбался собранию.

— Вы, товарищ Гнездилов, правды просите, а сами... Ну и надолго те пайки? Выходит, власть для того и выслала кулака, чтоб теперь пайками кормить? Нема дурных! Месяц, от силы два вы их поддержите, чтоб не померли до урожая, а потом нам же и кормить прикажете. Або не так?

— Ты проживи эти два месяца да засейся... Может, через месяц приказ выйдет их по домам вернуть. Не вернут — значит, здесь заставят хлеб отрабатывать. Даром их кормить никто не собирается... Вы за свое ответьте. Я после запроса на Строкова внимательно ознакомился с документами по вашему селу. Раньше вы засевали до двух тысяч десятин, нынче же вам девятьсот не под силу. Это потому, что за эти полгода вы массу скота погубили. Ладно бы голодали, но ведь продавали быков на сторону! Доподлинно знаю, что на этакую дешевизну к вам с соседних округов съезжались. Едва ли не даром отдавали, лишь бы только в колхоз не вести!..

Смелая речь Кожухаря ободрила остальных. Игнат Плахота возразил:

— А шо нам оставалось делать? Дожидаться, пока все заберут? В колхоз — куда ни шло, а то кому-то! Не вы ли, товарищ секретарь, наших коров, каких мы в колхоз обобщили, у нас же и забрали?!

— Правильно, Игнат! Растянули село, а теперь спрашивают

— Спрашивать они мастера!

— За мое ж жито мене и побито.

— А ты забыл, секретарь, сколько мы хлеба даром вывезли?

— Хлеб вывезли, скотину свели, в колхоз загнали — какого ж еще черта вам надо?

Похмельный, злорадствуя, мысленно одобрял: «Хорошо, мужики! Ткните его, чтоб знал!..» Он поискал глазами Илька Пашистого — вот кого бы натравить!

— А чого вы раньше до нас не приезжали, не интересовались нами? — ехидно спросила какая-то баба, и Похмельный с радостью узнал голос стряпухи.

— Сунули нам того Строкова, шоб ему до утра не

дожить, а сами с марта месяца до нас и глаз не кажете!

Гнездилов дослушал всех, попросил внимания:

— Обещал я вам за тех коров, что свел у вас, лошадьми вернуть. Слово свое я сдержал, не в пример вам. На днях пригонят вам лошадей. А насчет хлеба...— Он помолчал, оглядел сверху притихшее собрание и добавил: — Не жалейте вы то зерно. Ушло оно на святое дело. На вашем хлебе не одна тысяча голодной детворы ожила. Вашей помощи рабочий класс никогда не забудет... Вот вы здесь упрекаете меня, следовательно, Советскую власть: дескать, забирали, вывозили, свели... Согласен: забирали. Но вы тем самым дали возможность, пусть помимо вашего желания,— а только так и надо было делать, потому что его мы вряд ли бы дождались,— тем самым дали подняться стране. У государства появился хлебный запас, и теперь уже оно ссужает колхозам семена: сейтесь! Пятьсот миллионов рублей выделило на ваши нужды — стройтесь! Откуда после войны и разрухи такие средства? Благодаря вам. Возвращается вам то, что вывезено. Тракторами, колхозами, деньгами, людьми...

— Но нам-то от этого не легче! — одиноко возразил кто-то.

— Нет, легче! — крикнул Гнездилов.— Ты еще понять не можешь, насколько велика эта помощь. Своего забыть не можешь, а на колхозное плевать? Почему до сей поры амбары по всему селу раскиданы? Для чего? Чтобы воровать легче? То же самое со скотными дворами и конюшнями. Их давно бы надо свезти в одно место, сделать из трех-четырех один, но просторный да ближе к озеру, чтоб в зиму скот легче поить. За полгода времени не нашлось? Почему оставили быков без должного запаса кормового зерна, лошадей — без овса и сена? Где ваша тысяча овец, которую вы имели к началу двадцать девятого года? Я забрал? Съели!.. Свои огороды запаханы, а с посевной тянете. Так ли в единоличии к ней готовились? Ваш председатель мне сейчас прямо сказал: бардак в селе. Что ж, он прав... Ладно: Строков — вражья душа, Гнездилов — старый дурак, вашего дела не смыслит, ну а сами-то вы?! Я сегодня здесь, завтра, может, и след мой простынет, а вам здесь жить. На кого вы надеетесь? — Он повернулся к правленцам: — Почему ты, Советская власть на селе, не

приехал, не поделился? — спросил он Гриценяка.— И никто из вас не приехал. Хотя бы жалобу написали. Из третьих рук узнаю про ваше село... С марта месяца они меня не видели! Вы что, соскучились по мне или пахать на мне рассчитываете? Надо глядеть немножко дальше своего огорода... Вот он, совершенно чужой человек,— Гнездилов указал на Похмельного,— но сообразил поехать и одолжить лошадей у казахов.

— Ага! Он не дурак, он высланных пообещал,— ответил кто-то из мужиков.— А мы бы шо пообещали?

— Себя! — опять крикнул Гнездилов.— Себя пообещали! Поехали и сказали бы: дайте лошадей засеять, а мы вам чем-нито поможем! Гнушаетесь на поклон сходить? Прошлой зажиточностью перед ними кичитесь? Ведь вы не глупые люди, почему же допускаете подобное отношение к колхозу, который вам дался таким трудом и кровью? Своего зерна вы не забыли, попрекаете, а семена, что брали на очистку и сохранность, по-доброму в колхоз не вернули... Неужто мне, заезжему человеку, теперь надо вас подталкивать, объяснять? Я до вечера могу перечислять... Плохо. Очень плохо. Сказанул бы я вам покрепче, да жаль — праздник сегодня. Кстати, сколько дней праздновать-то собираетесь? Сегодня четверг — праздник, завтра пятница — ни то ни се, послезавтра суббота — банный день, сам бог велел отдыхать, потом воскресенье, опять грех работать, опять, земля, не жди нас... Во всех колхозах прошли собрания, с непременным постановлением отменить на время пахоты все празднества и выходные дни. У вас такое собрание прошло?

Всеобщая тишина была лучшим ответом.

— Теперь объясните мне: из каких соображений вы решили вначале пахать поля за Волчьим околком, и притом одной бригадой, и уж потом выехали в степи за греблей и двумя бригадами?

Со дня последней встречи он заметно похудел, осунулся, и Похмельный еще в правлении заметил, что в его движениях, речи, во всей манере держаться стала менее заметна та спокойная уверенность в себе умного и значимого человека, которая всегда ощущается всеми, что бы человек ни говорил, чем бы ни закрывался, и появилась какая-то не то болезненность, не то надорванность. Что именно, Похмельный не мог уловить,— вероятно, в жизни Гнездилова произошло или происходит

нечто серьезное, ибо трудно человека таких лет, такого опыта и ума выбить из накатанной жизненной колеи обычными житейскими невзгодами. И тем не менее Похмельный немного завидовал его точной доходчивой речи.

— Это кто там? — Гнездилов близоруко вглядывался в толпу, откуда ответили на его последний вопрос.— Ты, Плахота? Не ожидал... Всего с полпудика, говоришь, теряете? Мелочь? Мелочь, когда ты засевал всего одну десятину... А с девятьсот? Четыреста пудов потеряете. Двадцать семей без хлеба на зиму!

Гуляевцы переглянулись.

— И вот так везде, куда ни кинь,— печалился на крыльце Гнездилов.— Казалось бы, мелочь, пустяк, а в итоге убытки. Неужто не видите? Скорее всего, думать не хотите! Меня здесь кто-то успокаивает: теперь с лошадьми вы нагоните. Нет, не нагоните. Чтобы вспахать десятину в день — в плуг надо не меньше шести лошадей. Каково ими управлять? Сколько у вас лошадей? Давай опять считать...

«А ведь он прав»,— невольно подумал Похмельный, слушая, как Гнездилов указывал на просчеты. Некоторые из них видел и Похмельный, но не придавал им значения, теперь же они открывались с другой стороны и оказались не такими уж пустяковыми. Их обилие вначале удивило, потом, по мере того как говорил Гнездилов, все сильнее угнетало. Стало ясно, что многие из них можно было устранить без особых трудов: собрать людей, объяснить, похвалить, хоть и не за что, нажать на правленцев, из числа высланных создать бригады для работ на селе. Похмельный хотел было, ухватившись за гнездиловские слова — он-де человек новый,— переложить часть вины на правленцев, но не вышло: его личная вина стала очевидной, и чем дальше говорил Гнездилов, тем больше убеждался он в собственной нерасторопности и впервые со страхом ощутил скоротечность времени.

До конца посевной оставалось три недели. Пахать позже — означало губить зерно. Что же он скажет осенью колхозникам, собрав нищенский урожай? Напомнить им о их же собственной медлительности, нынешнем тугодумии? Но кто вспомнит! Виноватых тогда не окажется, виноват будет он, они же потребуют полной

оплаты, вырвут свое, а сейчас праздники справляют, баньки топят, вырядились, стоят под хмельком...

— Что с тобой? — спросил Семен.

— Да так... Душно.

— А-а... Я подумал — проняло... О, режет! Будто кто ему на ухо шепчет,— удивился Семен гнездиловской речи.

Похмельный закурил, осмотрелся по сторонам и вновь позавидовал жадности, с какой гуляевцы слушали Гнездилова.

«Интересно, каким манером он под высланных подведет? — подумал Похмельный и сам себе ответил: — Сумеет... Ишь как складно у него получается! Слушают, аж рты раззявили... Жаль, мало высланных присутствует. Им бы тоже послушать не помешало... Ничего, завтра я вам не хуже растолкую. Я вам пообижаюсь, попраздную... Ночами будете пахать, но засеем вовремя!..»

— ...Нет, керосина ему не надо, он на дровах работает. Заготавливай коротенькие чурочки, желательно березовые — они жарче, чаще смазывай и паши сколько душа пожелает. Эти трактора выносливые... Нету, бабка, чаду, нету! Если и есть, то не больше чем от кадила вашего батюшки... Присылают, но мало. К вам направлю в первую очередь. Уж коли вы пошли навстречу, приняли высланных, то и мы должны ответить тем же, сделать все возможное для вас. На той неделе направлю в ваше село тридцать лошадей. Это за тех коров, что я забрал... Да, трактор и одного тракториста, а уж он сам подготовит себе помощников из числа желающих. Есть такие? Есть... Ну, почему поздно, трактор всегда в хозяйстве нужен, хотя бы дрова вывозить. Что? Обещал дров? Правильно, обещал. Тем, кто взял на квартиры высланных, председатель всегда поможет. Дров ли, сена, работу по желанию, в хозяйстве чем-либо... За добро — добром! Спасибо вам, товарищи! Низкий поклон... Русские люди известны своим добросердечием, и вы еще раз подтвердили... Спасибо!

— Не стоит, товарищ Гнездилов!

— Не обедняем!

— Скотину и ту жалко, а то люди, да еще с детьми.

— Так не обман, шо на месяц? Потом куда?

Похмельный с любопытством смотрел на Гнездилова.

— С ними, товарищи, хуже... Я вот к чему... Даже

начинать боязно,— замялся Гнездилов. Он снял фуражку, промокнул залысины.— Примите еще высланных. Немного, всего двенадцать семей.

Такого никто не ожидал. Все уставились на Похмельного. В селе ходили слухи, что председатель сам крепко недоволен числом высланных и собирается ехать к Гнездилову с требованием освободить от них колхоз. А теперь глаза воротит. Быстро, однако, уговорил его Гнездилов!

— Не можем!

— Посади свинью за стол...

— У нас и эти семенное зерно жрут, так им еще в помощь... Не пускать!

— Не соглашайтесь, люди!

— Хватит! Совесть бы поимели.

У Похмельного появилась надежда: может, раздумает Гнездилов? Направит дальше, в другое село или аулы...

— Товарищи! Мы и в другие села направили,— перекрывая шум, кричал Гнездилов.— В Кошаровке на двести семьдесят два двора — сто с лишним душ высланных. В Озеречье на двести пятьдесят дворов — тридцать пять семей. В Переметное направили партию, в Майдановку...

— А нам, шо есть, хватит по самую завязку!

— Вам, товарищ Гнездилов, легко: куда хочете, туда и направляете. А нам кормить.

— Не согласны!

— Вот уж воистину: пришла беда — отворяй ворота!

— Председатель, ты-то чего молчишь? Отказывайся!

Хотел было что-то сказать и Полухин, уже сделал шаг к ступеням, но Гнездилов жестом остановил его и вновь стал просить:

— Поймите вы нас, люди: некуда нам девать высланных. В городах и на станциях, вблизи железных дорог, их запрещено оставлять. Да и нет возможности. Не вытянем их там. Надо направлять только в села, только здесь они смогут выжить и принести хоть какую-то пользу. Вам будет помощь...

«Что же я смогу при таком скопище народу? Ни о каких барышах не может быть и речи. Эта саранча весь доход пережует. Не обеспечу к осени колхозников ни рублем, ни хлебом — все пойдет насмарку. Развалит-

ся колхоз!» — думал Похмельный, прислушиваясь к боли, время от времени возникавшей в виске.

— Нет, товарищи,— продолжал между тем Гнездилов.— Оставлять их по местам тоже нельзя. Вы же на собственной шкуре убедились, что это за люди. Потихоньку, незаметно, вроде бы все по закону, справедливо, но они занимали земельку, скупали за бесценок у бедняков, нанимали батраков, богатея из года в год все больше и больше... В села мы направляем только семейных. Кулаков-одиночек определяем точками: на брошенных казахских зимовьях, летовках в степи, где хоть что-нибудь из жилья сохранилось. Лопату, топор в зубы — и пусть начинают обживаться... Жалко? А тысяч пудов сгноенного хлеба тебе не жалко? Сгоревшего вместе со скотными дворами скота не жалко? Разрушенных колхозов, разбитых машин, тракторов... Людей, которых они убивают? Цифр ты не знаешь, парень. Только в марте этого года в Сузакском районе убито тридцать активистов и коммунистов! В день по убийству преданнейшего Советской власти человека! — гневно бросал в толпу Гнездилов.

Похмельному вспомнилась прошлая осень...

По приказанию Карновича он поехал в округ за книгами, по дороге должен был завернуть в небольшое село, чтобы захватить в город некоего товарища Тальмана. Он хорошо запомнил и фамилию, и неопределенную полуулыбку Карновича при том разговоре. Просьба пустяковая, если бы не тоскливый осенний дождь с холодным ветром, лужами и непролазной грязью на дорогах.

Не доезжая до села, Похмельный встретил бричку, спросил возницу, куда он торопится в такую распутицу. Тот в ответ заполошно закричал, что везет в город партийку, убитую неизвестно кем прошлой ночью у них в селе, и ему надо торопиться, потому что следователь приказал к вечеру вернуться с каким-то актом из морга.

Похмельный не мог сдержать нехорошего любопытства, соскочил и потянул за мешковину. В бричке лежала женщина. От тряски непривязанное тело по соломе сползло в задок, юбка сбилась, оголив до бедер полные, прямые ноги... Он открыл мешковину с другого конца и содрогнулся: вместо лица было какое-то кровавое месиво...

Это и был тот самый товарищ Тальман, за которым он ехал... «В нижнем осталась, значит, не насилова-

ли,— размышлял Похмельный.— За списки убили? Конечно. За что еще нашего брата ноне кольями в селах бьют? Только за списки! Мужики били, не бабы... Девку! Колом! Сволочи. Звери!»

И вдруг, освобождая сердце, стиснутое болью и гневом, пришел приступ бешенства. Он вскочил на ноги и стал хлестать лошадей, исходя злобой к нечеловеческой жестокости людей...

— Да, товарищи, здесь не так все просто,— гнул свое Гнездилов.— Расселять семейных в селах — самое верное решение. Вред они приносят немалый, но тюрьмы ими забивать никто не собирается. Поэтому сейчас и ищут возможность как-то устроить их... Еще раз повторяю: оставлять их на местах, у себя на родине нельзя. Там они опасны. Имея право избирать и быть избранными, имея дом, землю, скот, родственников, знакомых, припрятанный хлеб, деньги, инвентарь, содержа в должниках и батраках треть села, кулаки оставались бы враждебным классом. Теперь же как класс они не существуют. Просто тысячи разрозненных людей. Без прав, без жилья, без каких-либо средств к существованию. И хотя злость к нам у них после раскулачивания утроилась, жало мы вырвали. В социальном смысле они уничтожены, но их физической гибели партия не хочет и не допустит...

«Уговорит!» — с тоской понял Похмельный, оглядывая гуляевцев, внимательно слушавших взволнованно-строгую речь Гнездилова. Исчезла полупьяная расслабленность, стихли шуточки. На каждый ответ разномастное сборище отзывалось единым вздохом.

— ...Не совсем так. Я бывал на Кавказе, знаю... О каком подходе ты говоришь?! Да они ныне каждому доброму слову рады, не говоря о другом... Ты им сейчас помоги — они потом тебе сторицей вернут. Верными друзьями будут, и опять-таки — помощь в хозяйстве. Они люди крепкие...

«Ну и оставил бы их у себя в Щучинской. Друзьями. Дружили бы, пока я урожай не поделю, потом и направлял бы...»

— Ну какая нынче, к черту, вера, Кожухарь! Им бы поесть да голову куда приткнуть, а уж про веру... Вера сейчас должна быть одна, что у русских, что у чеченцев,— в социализм... Ты лучше семью возьми. Взял уже? Тогда соседа уговори. И он взял? Товарищи, у кого есть

возможность помочь райкому? Что? Да-а, лихо ты меня, парень, срезал... Верно: за постой деньги платят. Но нет у нас такой статьи, а трудодни начисляются только колхозникам за работу в колхозе... Примите людей, товарищи! Даю вам слово, что приложу все силы, чтобы перевести их впоследствии. От имени Советской власти прошу...

И то ли дошли до сердец слова Гнездилова, то ли повлияло желание поскорее вернуться к прерванному празднику, то ли вспыхнуло извечное сострадание к обездоленным, но двенадцать хозяев, согласившихся взять на постой чеченские семьи, нашлись. Скорее же всего, возымело действие обещание выделить дров и помочь в хозяйстве (по крайней мере, именно так расценил Похмельный).

Гнездилов сам записал фамилии. Список оставил у себя, пообещав при этом лично проверить, какова в действительности будет помощь правления этим дворам. Похмельный с самым серьезным видом поддержал его в некоторой наигранности, с которой Гнездилов грозно требовал оказывать помощь. На этом он пытался закрыть собрание, но Похмельный не дал.

— Иван Денисович, мне очень понравились твои уговоры принять высланных,— сказал он, пробиваясь к крыльцу.— Была б возможность, сам бы семью взял. Может, уговоришь их вспахать в день двадцать гектаров, какие с меня требуешь?

И вновь пуще прежнего заволновалось, зашумело собрание, и еще не меньше часа вертелся на крыльце взмокший Гнездилов, как на выстрел оборачиваясь на каждый выкрик, вопрос...

Ни глухомань, ни слухи, ни ошибки местных властей не могли исказить ту большую, новую, волнующую правдой и возможностями жизнь, которая разворачивалась на просторах страны. Копаясь в своем мирке и огороде, с понуканьем выехав на первую коллективную посевную, люди чувствовали: происходят серьезные изменения. Не может быть того, чтобы власть, сведя в колхоз, на том и оставила их на перепутье, в растерянности, без помощи и ясных задач.

Кончились изматывающие наезды уполномоченных по заготовке мяса и хлеба, минуло недоброй памяти

раскулачивание, на время отменены налоги, колхозам выделены огромные средства на строительство, ссужены миллионы пудов семенного зерна, обещаны трактора, техника... Сам секретарь райкома подтвердил, что при хорошем урожае колхозники вполне могут получить по три-четыре, а то и пять килограммов зерна на трудодень. И если уж остается только один путь, то выходить на него надо с умом и сердцем, а не брести подобно овечьему стаду...

Когда наконец гуляевцы стали расходиться, Гнездилов решил осмотреть хозяйство. Сопровождали его только Похмельный и Полухин. Они прошли к кузнице, потом завернули к конюшне. Гнездилов сам прощупал упряжь, заглянул в кормушки, денники, обшарил кладовые и остался доволен той чистотой, которая особенно необходима при лошадях. Он был весел, шутлив, еще не осело возбуждение, вызванное исходом собрания; по дороге живо интересовался жизнью села, расспросил, как устроился Похмельный, где столуется, в чем нуждается лично.

В каждом его вопросе, совете, приказании чувствовалось глубокое знание села. Похмельный недоумевал: ведь нет и двух лет, как Гнездилов в секретарях, да и ранее, по его рассказам, в селах проживать не приходилось,— откуда в таком случае эти знания, точность, начиная с земледельческих примет, поговорок и кончая глубоко скрытыми социальными причинами и связями?

И странную раздвоенность ощущал Похмельный. С одной стороны, ему нравился хозяйственный напор и в то же время простота решений, с которой Гнездилов требовал и советовал, с другой — Похмельный не мог снять с него вины за все промахи организаторской работы, допущенные в селе за последний год, хотя, как выяснилось, ко многим из них Гнездилов причастен не был. К тому же раздражало и другое: как бы ни старался Похмельный, выходило, что Гнездилов не виновен.

— По-твоему, я лично должен копаться в этих мелочах? Что ж, смогу, если потребуется. Но почему именно сейчас, при коллективизации, потребовались толкачи в том, что ранее решалось само собой?.. Ах, руководить ими? Как прикажешь руководить? Самому каждый день

ездить по селам и выводить людей на работы — времени не хватит, посылать районных работников — тоже не выход: пока они в селе — обещают, работают, а после отъезда снова разбредутся по домам... Да и где же взять столько послов? Нет у меня такого штата... Не так, говоришь? А как? Подскажи.

Похмельный вздыхал и не находил ответа. Гнездилов посмеивался:

— Напрасно стараешься. Даже если ущучишь, тебе легче не станет. Давай признаюсь: да, виноват Гнездилов, проморгал, не подготовил, упустил, не заставил... Легче тебе?

Легче не было.

— Поэтому не вздыхай, а берись за дело. У тебя в голове сейчас сумятица. И все оттого, что нет ясного плана.

— Господи, я еще планы должен строить...

— Непременно! Возьми за правило. Легче работать. Начнем по порядку с высланных. У них у всех крыша над головой? Коли секретарю райкома обещали,— значит, возьмут на квартиры и всяко накормят. С ними тебе...

Похмельный перебил:

— Иван Денисович, ну а если бы ты не сумел уговорить? Что бы делал с высланными, куда бы дальше вел?

Гнездилов замялся:

— Ума не приложу. Вел бы дальше... Возможно, в Басырь...

— Но мне-то ты можешь открыться! — с обидой сказал Похмельный, уловивший фальшь.

Гнездилов переглянулся с Полухиным, и Похмельный понял, что они окончательно пришли к какому-то решению. Остановились у амбара. Гнездилов предложил сесть, передохнуть в тени.

— Сергей, дай ему список...

Похмельный прочел всего несколько фамилий и все понял: в списке значились гуляевцы, у которых было мало детей и иждивенцев.

— Понятно? — спросил Гнездилов, пряча бумагу.— Отказали бы мне — заставил бы он,— и глазами указал на Полухина.

— Понятно...

— А чтоб было окончательно понятно, скажу боль-

ше: не исключено, что твое село, помимо чеченских семей, примет еще высланных. Или заставим принять, если добровольцев не сыщется.

Похмельный опустил голову, бессмысленно глядя на нежно-зеленые ростки трав, пробившиеся сквозь каменную крошку.

— Понятненько... А этих куда?

— Пока никуда,— безжалостно продолжал Гнездилов.— Будут жить в селе. Переселим не раньше, чем через год.

— Ты же только что о каких-то точках говорил...

— Повторяю: туда направляются кулаки-одиночки. Они сейчас готовят лес для будущего поселения, обустраиваются. Когда закончат, начнем переводить к ним семейных высланных. А до той поры жить им у вас.

— Долгая история...

Похмельный подобрал щепочку и что-то чертил ею у ног. Сил ни на злость, ни на обиду, ни на возражения уже не было, ныло в виске и хотелось только одного — чтобы быстрее уехал Гнездилов.

— Долгая, не спорю. Поэтому надежда у нас только на ваши села. От вас зависит дальнейшая жизнь высланных.

— И что же дальше по вашим планам? — вяло спросил Похмельный.

— Во-первых, надо определить направление хозяйствования каждой точки. Чем она будет? Совхозом, лесхозом? Если совхозом, то каким — скотоводческим ли, земледельческим или рабочим поселком. Обстановка так складывается, что в этот год...— начал было Гнездилов, но Похмельный, отбросив щепку, выпрямился и с решимостью человека, потерявшего все, хлопнул себя по колену:

— Я не знаю, как складывается где-то, но здесь ты колхоз завалишь. Не будет у тебя колхоза.

— Ты погоди, не заводись.

— Да я не завожусь! Мне теперь без разницы... Еще раз говорю: не будет у тебя колхоза!

— Опять мы с тобой возвращаемся к началу, опять ругаться начинаем...

— Не будем мы ругаться! Устал я ругаться! Вы попросту не хотите или не заинтересованы в скорейшем развитии колхозов. Это не расселение, это вредитель-

ство, этим вы занимаетесь. Только так надо понимать подобные решения — высылать в села.

— Ты даже так вопрос ставишь? Ну-ну, продолжай, интересно послушать...

— Не надо, Иван Денисович,— поморщился Похмельный,— ни к чему эти намеки. Я говорю, что думаю, что происходит на самом деле.

— Вот как... Я-то думал — ты сгоряча, а у тебя, оказывается, своя позиция. Ничего-то ты не понял, Похмельный,— щурясь, будто целясь в него, говорил Гнездилов.

— Все я понял и тебя понял, Иван Денисович, жаль, поздно... О чем же вы раньше думали, товарищи руководители?

— Но ты же помнишь, когда вышло постановление о ликвидации перегибов. Что мы могли сделать за эти два месяца? Ты радуйся, что хоть таким образом...

— Выходит, ты обманул? — в упор спросил Похмельный. Терять ему действительно было нечего.— Только что, на собрании, когда уговаривал принять чеченские семьи. Ты говорил, будто бы через месяц-два переведешь,— пояснил он, мстя за все сразу.— Обманул, Иван Денисович, а отвечать за твой обман мне.

Гнездилов словно споткнулся, затих и, долго посмотрев на Похмельного, печально согласился:

— Выходит, обманул. Поступился своим словом.— Он помолчал, будто прислушался к звукам села, и, веселея, сказал: — А ты знаешь, не стыжусь. В этом грехе мне ни перед кем каяться не придется. И меньше всего перед тобой. Я бы еще большим поступился, если бы это могло... Но ты к моей вине не припрягайся. Не ты просил, не ты обещал... Давай-ка, парень, о деле говорить. О нашей совести пусть отец Василий сегодня хлопочет... На каком основании ты утверждаешь, что высланными мы завалим колхозы? Ты упираешь на следующее: дескать, потравим на них семенное зерно, колхозникам с ними придется урожай делить и прочие колхозные доходы. Во-первых, свой кусок хлеба они отработают. Обязаны отработать. От вас зависит, в какой мере. Сегодня же составьте план работы в колхозе с непременным привлечением всех высланных. Довольно им приходить в себя. Исключения только для больных, калек, стариков и детей. Свое жилье пусть устраивают вечерами. В разгар посевной позволять бездельничать за

счет государства уйме крестьянских рук — преступление. Запомни это! Завтра с утра собери их, разбей по бригадам, выбери старост из числа самых толковых, предупреди, что за невыход на работу они будут сселены на точки. Нажми на такое: чем лучше они будут работать, тем быстрее их простят. В отношении оплаты их труда еще ничего не известно. Мне кажется, что они будут получать только деньгами... Но, может, и хлебом. Все зависит от урожая, от плана. А вот разводить свое хозяйство, обстраиваться не только разрешай, но и помогай всемерно. В последней директиве Казкрайкома напоминается: не создавать условий для обогащения. Но какое тут обогащение? Не до жиру — быть бы живу... Еще есть время картошку под лопату посадить... Деньжата у большинства из них есть, я направлю в вашу лавку товару, пусть покупают... Что тебе еще неясно с ними? Видишь, ничего страшного. Другой бы радовался дармовым рабочим, поэтому давай без паники и крика.

— Что за люди — эти польские украинцы или украинские поляки, каких вчера прислал? Их тоже держать на положении высланных?

На этот вопрос Гнездилов нового ничего не сказал, лишь повторил то, что Похмельный знал от Бритвина. Их надо было считать, скорее, переселенцами с ограниченными правами, но сельским Советам надлежало обустраивать их наравне с колхозной беднотой. Для этой цели переселенцам польского происхождения официально разрешалось занимать под личные жилища свободные дома, использовать амбары, сараи, различные пустующие постройки, покупать у местных жителей материал для строительства и разводить небольшие личные хозяйства. Гнездилов предусмотрительно советовал обращаться с ними помягче, до полных разъяснений, которые непременно последуют именно по этой категории высланных.

Похмельный мысленно чертыхался: «Насобиралось! И хохлы, и русские, и казахи, и поляки. Теперь с Чечни идут... Черт! Не село, а прямо библейский ковчег — каждой твари по паре. Ну, Гнездилов, удружил, так в твою душеньку!»

— Да ты не крякай! — сердился Гнездилов.— Твоя вторая ошибка в том, что все на себя взваливаешь. Ищи опоры в людях! За колхоз не ты один отвечаешь. Соз-

давай партячейку, собирай комсомолию... Что значит — некогда? Нет, Полухин, ты послушай его: он будет заниматься этим после пахоты. Может, после сенокоса? Или на рождество Христово? Тебе сейчас помощь нужна. Один ты с этим селом грыжу наживешь. Создавай ядро, чтобы можно было на него опереться в трудный момент...

Похмельный хотел было напомнить Гнездилову его же слова о приеме активистов в члены партии, но не стал: для Гнездилова кончилось самое неприятное и он вновь говорил непререкаемо властным тоном.

— Теперь о севе. Кончай с ним. Брось все силы, в том числе и высланных. Слышал, что люди кричали на собрании? Вполне можешь поднять девятьсот гектаров. Не жалей моих лошадей. Запалишь какую — в счет пайка пусти. Срок даю тебе три недели. Не успеешь — пеняй на себя. На партучете ты отныне у нас состоишь.

— Это и есть те соображения, которыми ты хотел со мной поделиться? — съязвил Похмельный.

— Были другие,— спокойно ответил Гнездилов.— Но когда поговорил с людьми да тебя послушал — стали эти. Впрочем, это не соображение, это — партийное предупреждение.

— Но почему ты все мне одному говоришь? Взял бы правленцев с собой и требовал при них, чтоб они слышали и знали.

— Я тебе предоставлю право требовать с них. Все мои советы ты от своего имени расскажешь. Авторитет повысишь, глупый!.. Ну-ка, открой амбар, посмотрим, как вы семена содержите, чем сеетесь...

В первом же амбаре Похмельного ожидала неприятность: посреди закрома ак-бидаевской пшеницы зияла огромная воронка. Он вскочил на дощатую загородь и увидел в днище отверстие с палец.

Чтобы бревенчатые амбары не подмывало талой водой, их устанавливали на громадных каменьях, из которых когда-то тесали жернова для крупорушек, поэтому под амбарами оставалось пространство, где в нестерпимую августовскую жару спасались куры и собаки. Вору нужно было только пробуравить отверстие, и пшеница сама потекла в подставленную суму... Гнездилов попал в десятку, когда говорил о легкости, с которой можно воровать из амбаров, разбросанных по всему селу. Вне-

шне он остался спокойным, но разговаривал с Похмельным так, как будто его самого уличил в воровстве, а о Гарькавого (тот был и сторожем, получал трудодень за три дежурства, поэтому делал только один обход за ночь) потребовал высчитать тройную стоимость украденного, если не вернет полной мерой из своего закрома.

Похмельный уже не возражал, что бы ни говорил Гнездилов, уныло соглашался и с глухой тоской ждал его отъезда. Подошли к церкви. От разогретой деревянной громады дохнуло смолой, краской, из распахнутых дверей и отдушин — ладаном.

Две молодайки, подоткнув подолы, домывали паперть, кто-то в черном ходил внутри церкви. Гнездилов заглянул в оконца, подергал решетки на них и, отойдя, сказал:

— Сейчас не трогай, не тревожь старух, но после сева кончай.

— Что значит — кончай? — Похмельный даже остановился.

— Закрой. Никаких богослужений. Имущество опиши, ценное инвентаризуй актом и сдай в район. Двери на замок, а ключ в карман. Хо-роший склад получится!

— А попа ко мне,— добавил Полухин.— Мы его тоже... мы его в служащие определим.

— Да вы шутите! — не верил Похмельный.

— Глянь, Полухин, какой они забор отгрохали,— продолжал Гнездилов, делая вид, что не замечает растерянности гуляевского председателя.— Каменный. Метра полтора, не меньше... Не кажется ли тебе, Похмельный, его высота слишком большим усердием верующих?

— Иван Денисович, ты меня сегодня в гроб вгонишь. Ну как я могу закрыть?! Что людям скажу? Да мне на этом заборе тут же голову отрубят.

— Не отрубят. Собери правление, активистов, привлеки молодежь в помощь — и примите решение. Объясни вред религии, кому она служила, чему сейчас служит — и закрой. Что здесь сложного? Может, тебе прислать людей из района.

— Да нельзя! Нельзя сейчас! Ты ровно час назад просил людей пойти навстречу. Они поняли и помогли, а мы им вслед плюемся. Мы только и делаем, что приказываем, требуем, вывозим, выселяем, вселяем... Вза-

мен — шиш! Отблагодарили, называется... От чьего имени закрыть прикажешь?

— Я попрошу тебя не забываться, Похмельный! Церкви закрыты по всей стране, в одной Гуляевке трезвонят. В засуху на поля с крестным ходом выйдешь? Не ожидал от тебя такой защиты.

— Нет,— резко возразил Похмельный.— Я закрывать не буду. Она никому не мешает.

— Слушай, Похмельный, ты всегда такой дерганый или только сегодня? — Гнездилов тоже приостановился.— Нехорошо. Ты — человек в возрасте, коммунист, председатель крупного колхоза, пора бы, дорогой, приобретать выдержку,— он улыбнулся,— хотя бы в разговоре с секретарем райкома.

— Здесь, пожалуй, приобретешь... Иван Денисович,— взмолился Похмельный,— погоди ты с церковью, дай вздохнуть немного. Со временем я ее не то что закрою...

— Хорошо, — прервал Гнездилов. — Оставим тебе церковь. Воздавай хвалу... Эх, Максим, не то ты просишь, а я не тому потакаю. Но так и быть: не трогай. Мужиков-то много ходит? Ты смотри, молодежь от этого дурмана береги. Попа видел, беседовал с ним? Сегодня же вечером познакомься и заодно определи ему семью на квартиру. Это как раз по его части — помогать ближнему своему...

Обедать у Похмельного начальство отказалось, чему он втайне обрадовался. Они подошли к правлению, когда партия высланных вышла из леса. Гнездилов заторопился с отъездом:

— Я сейчас по аулам поеду... На обратной дороге, возможно, к тебе загляну. Ты подналяг на дела. И не обижайся...

Похмельный отвел глаза:

— Чего на тебя обижаться...

— Да не на меня, чудак,— грустно сказал Гнездилов, глядя в сторону леса.— Это было бы проще всего — друг на друга обижаться. Трудно сейчас партии. И от нас с тобой зависит, выйти ей с честью из этой... или запятнать себя. Ты поразмысли на досуге.

Что-то дрогнуло в гнездиловском взгляде, сломалось, исчезло, уступив подлинному, несшему с собой тревоги, опасения, душевную теплоту, тому, чего ожидал от него Похмельный сегодня с самого начала, помня первые встречи, и ему неожиданно подумалось: а ведь не так-

то легко и Гнездилову, напрасно он скрывался за начальственностью, держал дистанцию — понял бы Похмельный и без нажима. Впрочем, тут же себя остановил: понять, конечно, понял, но ограничься Гнездилов только просьбами — высланных Похмельный не принял бы. Но все равно было немного обидно и жаль недавнего отчуждения между ними.

Гнездилов сердечно попрощался с правленцами, пожал каждому руку.

Похмельный вышел к пролетке. Из-под кожаного сиденья Полухин достал небольшой тяжелый сверток. Гостинец, пояснил он. В свертке оказались патроны к нагану, несколько кусков мыла и папиросы. Похмельный поблагодарил, и пролетка отъехала.

В третий раз собрались за селом гуляевцы. Одни глазеть, другие сочувствовать, третьи злорадствовать, четвертые — вести высланных к себе в дом. На этих поглядывали словно на великомучеников, добровольно надевших вериги во искупление чужих грехов. Народ подходил к селу незнакомый, чужой по слову и плачу, с неведомой Чечни, где, говорят, за одно неосторожное слово могут голову снести — так жестоки и суровы тамошние мирские законы.

Вид выселенцев словно оправдывал досужие россказни: в оборванной грязной одежде, в косматых папахах, обросшие до глаз волосами остановились у взгорка мужчины, подле каждого закаменели закутанные в темное женщины, и дико, непривычно для славянского глаза таращились из-за материнских подолов глаза ребят. Одни старики, казалось, не чувствовали тяжелого часа: копошились в узлах, равнодушно скользили взглядом по селу, собирались вместе. Ни ожидания, ни любопытства...

Похмельный бегло ознакомился с документами и передал их комендантам. С этими высланными было легче: принять на постой гуляевцы вызвались сами, им и отвечать. И с конвоем обрадовало: дав роздыху коням три-четыре часа, начальник партии собирался обратно, чтобы успеть к ночному поезду.

Похмельный отошел в сторону, и начальника партии окружили те гуляевцы, которые брали постояльцев. Каждому хотелось семью поменьше. Те, кто не брал, давали советы. Кто с сочувствием, кто с насмешкой.

— А шо ни говори — тоже сердце надо иметь, шоб таких страшенных в свою хату вести.

— Та ничого страшного нема. У нас половина села чернявых! Мой як дня три не побреется — страшнее черта, не то шо чечена.

— Горе никого не красит.

— Оно и чеченам горе, и тем, кто взял, не сладко с ними будет.

— Ничего, поможем... Бери, Микола, смелее. Я помогу по-соседски.

— Им бы зараз баню та якого-сь кондеру горячего.

— Куда ж вы их сразу в хату! На них же вшей тьма.

— В озеро их! — веселился в кругу парней Назар Чепурной.— Семен, гукни попа. Зараз мы им летнюю купель сотворим.

На него прикрикнули, и парни ушли. Начальнику партии надоели расспросы, он стал называть фамилии высланных, а коменданты — гуляевцев, и вскоре все было кончено.

Похмельный без обиняков сказал Гриценяку, что кормить конвой у него нечем, сам живет на птичьих правах, поэтому пусть председатель сельсовета позаботится о парнях.

Гнездилов напрасно сетовал на жару — день был не жарким, но полон сухим теплом преддверья лета, когда еще мягко светятся нежно-зеленые дали, лес кажется совсем рядом оттого, что хрустально чисты горизонты, не замутнены августовской пылью и сизой наволочью, из которой размыто и недвижимо громоздятся облака, так и не дав ни капли дождя на протяжении долгих недель.

Такие дни ненадолго устанавливаются и осенью, после первых сентябрьских дождей и заморозков, перед последним натиском зимы, только вкус тех дней в ту грустную пору совсем иной.

Лошадьми правил Полухин. Пролетка мягко катила по летнику. Гнездилов завалился на кожаную спинку, молчал. Он понимал, что означало для Похмельного его решение поселить в Гуляевке чеченские семьи, обещание направить еще, если потребуется. Все бесспорные доводы и безвыходность положения в районе с расселением Похмельный конечно же не принял, он просто подчинился, а сам наверняка уверен в неповоротливости и

бездарности местных руководителей, в том числе и его, Гнездилова. И то, что он, Гнездилов, помимо строительства колхоза, взвалил на плечи неопытного председателя такую ношу, какой были семьи различных высланных, не давало покоя.

— Иван Денисович, а не ошибся ты с этим Похмельным? — Полухин точно угадал, о чем сейчас размышляет Гнездилов, покачиваясь на неровностях малоезженой дороги.

— Чем же он тебе не понравился? Не потому ли, что окрысился на тебя?

— Ерунда, на своей должности я еще не то выслушиваю... У меня такое впечатление, что в нем нет председателя. Ты почему-то видишь, что не сделано, за что надо браться, а он слушал тебя так, будто ты Америку открывал. Я наблюдал за ним. На бюро бы его вытащить, прощупать...

— С этим всегда успеется.

— Да как сказать. Он еще не засеялся, а уж орет на тебя, что же будет осенью? Боюсь, не возьмешь ты хлеба осенью с этого села... По какому праву он с тобой так разговаривает?

— А ты хочешь, чтобы он благодарил меня? Все правильно, парень о колхозе беспокоится, хочет обеспечить колхозников хорошим, необкусанным караваем, возможно, еще есть причина...

— Какая же?

— Догадок лишних строить не хочу, но мне кажется, дело в тех высланных, которых он сам привез; здесь затронута его партийная... Словом, личный момент присутствует...

— Из личных моментов колхозами не руководят.

— Что же ты предлагаешь?

— Я уже предложил. На бюро. И если и там так же отвечать станет — гнать в шею. Найдутся свои люди... Он, по-моему, не против сдать дела?

— А по-моему, это хорошо, что он ругается. Опереться можно только на того, кто оказывает сопротивление... Мы, прежде чем снимать, помочь обязаны. Чем мы помогли?

— Чем же ты мог помочь? Ты и так невозможное сделал.

— Руководством! Этот парень прав: в предпосевное время мы должны безвылазно сидеть в селах. Работать

люди умеют, надо вести их, организовывать, разъяснять, убеждать... Молить! Но не оставлять наедине со строковыми и своими сомнениями.

— Но мы не можем разорваться. С этим расселением сами друг друга месяцами не видим. Что могли, все сделали, теперь вправе полной отдачи требовать.

— Он-то о нашей работе не знает. Ни он, ни другие колхозники.

— Он одно должен знать: двадцать гектаров в день — или сдай дела.

— Оставь, Сергей, его в покое. Менять председателя в эту пору глупо. Лучшего мы не найдем, пусть он доводит. Кого предложишь? Видел председателя сельсовета? Только и всего, что у меня за спиной умную рожу строил... Или сам на его место пойдешь? Ты лучше наганы проверь. Я не Похмельный, скачку с Ганьком нам не выиграть.

— Я же тебе предлагал охрану,— обиделся Полухин. Слишком злым оказался намек.

— И на что же будет похожа наша поездка? Удельный князь Иван Гнездилов с дружиной вотчину объезжает? Нет уж, лучше без охраны, чем народ смешить.

Гнездилов прикрыл глаза, давая понять, что разговор далее вести не желает.

Полухин прикрикнул, шлепнул вожжами, и пролетка пошла быстрее и дальше той же дорогой, какой недавно ездил Похмельный за лошадьми.

VIII

Поздними вечерами, когда угаснет день и только над лесом в западной стороне еще стоит мягкий отсвет заката, Похмельный шел к озеру — мыть ноги и споласкивать портянки. Отдавать их хозяйке в стирку он наотрез отказался и считал, что никто не знает об этом невинном, но несколько несподручном для мужика занятии. Однако он ошибался.

В этот вечер, едва он расположился в облюбованном месте, у прогретого за день мелководья, как за спиной послышались шорох, шаги и на берег из-за прибрежных бурьянов к нему вышел Иван Гонтарь. Сделав вид, что не заметил смущения Похмельного, он сухо сообщил, что отец с Лесей хотят поговорить с ним, поэтому ждут его сейчас, но не у себя, а в хате лебяжьевца Майкуты.

Похмельный обещал быть через час. Иван ушел, и он хмыкнул: был бы на работу этот день столь щедр, сколько на разговоры,— время к ночи, а приглашают еще на один.

Потом задумался. Этого-то разговора он меньше всего ожидал. Неужто сейчас и, видимо, очень просто решится то, что мучило его в эти дни и заставило унизиться до безответной просьбы? Похмельный понял старого Лукьяна: согласиться на замужество Леси — а приглашают, он не сомневался, именно для этого,— лучший выход для семьи высланного кулака. С грустью вспомнилось где-то слышанное: голод — лучший сват, и он, по обыкновению, представил в лицах скорую встречу, поведение всех четверых и то, что вскоре ему придется, хочешь не хочешь, называть Лукьяна если не отцом или батьком, то уж, во всяком случае, по имени-отчеству — Лукьяна, который недавно горько и искренне сокрушался о том, что в свое время не убил его. Представил, опять хмыкнул и стал яростно натирать портянки грязью, забыв взять с собой мыло, подаренное Полухиным.

Но видел Похмельный в этом приглашении какую-то пренебрежительность, которая его оскорбляла.

«Вот возьму и откажусь! — со злостью думал он по дороге домой.— Скажу: не обессудьте — передумал. То-то у Лукьяна морда вытянется... Ишь, одолжение делают... Потом начнут воду вываривать: требуй возвращения, корми, строй, помогай... У-у, кулацкое отродье! Лесю жалко, а то б послал куда подальше»,— распалял он себя и знал, что не откажется. А по дороге к Майкуте, в потемках считая хаты, уже невольно прикидывал: где им жить, у кого занять денег на обзаведение и чем впоследствии отдавать долги, что написать Карновичу, о чем просить Гнездилова.

Он долго не мог найти нужную ему хату, пришлось стучаться к кому-то, вышел хозяин и, дивясь, указал через дорогу напротив — там тусклым крохотным оконцем светилась мазанка.

На стук вышел Иван и, пропустив его вперед, накинул крючок на дверь.

Войдя, Похмельный опешил: в тесной комнатухе при свете плошки сидело мужиков восемь из числа высланных лебяжьевцев. Ни детей, ни Леси, ни других женщин не было.

Иван остался у дверей, указав ему жестом: проходи

к столу,— там пустовало грубо сколоченное из обрезок горбыля сидельце. Нехорошее предчувствие холодом полоснуло под сердцем. Первой мыслью было выйти, но тотчас одернул себя: подумают, испугался, к тому же в дверях Иван, не хватало еще свалки...

— Ты не топчись, как бык,— подстегнул кто-то,— проходи и садись.

Похмельный сел, огляделся: что дальше и кто начнет?

Начал Самойло Сичкарь, семейный выселенец, пострадавший безвинно, которому Похмельный, жалея детвору его, всячески старался помочь в дороге.

— Желаемо спросить у тебя кой-чого, готовься ответить.

— А если не захочу?

— Воля твоя,— охотно предоставил выбор Сичкарь и выпрямился на лавке.— А не боишься, шо заставим?

Кто-то тихо добавил:

— Чого не знаешь, и то скажешь.

— Бить будете? — полюбопытствовал Похмельный.

— Будем,— сумрачно пообещал от дверей Иван.

— Ты не кочевряжься, Максим,— спокойно посоветовал Сичкарь.— Тебя если бить, то надо до смерти, шоб ни слуху ни духу... Был сегодня с Гнездиловым разговор про нас?

— Был.

— Вот и перекажи его весь без утайки от слова до слова.

Похмельный вытер сухое лицо, задумался. Ни сборища, ни угроз он не боялся — сильно устал за день, словно после тяжелой работы. Все еще побаливала голова, и, может, поэтому ответил с излишней прямотой и резкостью, не оставляя никаких надежд для них и нисколько не думая о возможных последствиях для себя.

Лишены они всех прав и гражданства. Скорей всего, навсегда, следовательно, ни о каких послаблениях со стороны власти не может быть и речи, не говоря уже о возвращении из высылки. Им категорически запрещены всякие собрания и сходки. За самовольный выезд или уход из села должно отдавать под суд. Из всех гражданских обрядов разрешены только похороны... Ему не дали договорить.

— Ты, гад, наше горе нам не пересказывай! — крикнул Сичкарь, и остальные поддержали его.— Ты скажи,

чем нам детей кормить? С ваших пайков скоро подыхать начнем!

— Я их увеличить не могу. Гнездилов, кстати, тоже.

— Знаем. Таких, як ты с Гнездиловым, на другом используют: ограбить, выселить... Другого не поручають! Колхозникам трудовые дни хлебом оплатить обещаются, а нам?

— Пока не знаю. Так же наверное...

— Тогда какого ж ты! Почему до сих пор работы не даешь?

— Я бы давно дал, да вдруг неурожай. Если осенью весь хлеб государству? Колхознику, может, и оставят чего, а вам — вот! Что тогда спросишь? Опять я один виноватым останусь?

— Брешешь! — крикнул ему Майкута.— Гнездилов сегодня на собрании клялся две трети урожая в селе на трудодни оставить.

— Я и говорю: в случае урожая. В случае недорода — сами колхозники могут без хлеба остаться, не то что вы.

— Ну хотя бы пайки увеличили! — вскрикнул Сичкарь.— В долг. Ведь голодуем мы!

— А чем ты тот долг отдавать будешь? — спросил Похмельный.

— Работой!

— Когда? Зимой колхозной работы мало. Говори спасибо, что хоть такие дают. Мне Гнездилов прояснил обстановку...

И Похмельный, по-прежнему не щадя их, рассказал о том, каких трудов стоило утвердить и эти скудные пайки, о вокзалах и воинских казармах, переполненных высланными, куда уходят продукты и как их еще не хватает на заводах и стройках честным рабочим людям. Потом, не заметив когда, смягчился:

— Гнездилов не против, и я разрешаю: сейте, картошка у местных есть. Время, правда, для нее уходит, ну а вдруг выпадет год дождливый, возможно, к осени даст хороший урожай. Разрешаю телка, поросенка, птицу всякую, рассадничек, все разрешаю, обживайтесь... В долг бери,— строго посоветовал он хозяину хаты Майкуте Ивану, спросившего, где взять семян, за что купить.

— А чем тот долг отдавать? — язвительно напомнил Сичкарь.

— В батраки наймись,— невозмутимо ответил Похмельный.— Тебя, я думаю, не надо учить, как это делать?

Его спокойствие обезоруживало. В голове не было ни страха, ни раскаяния, ни злорадства. В комнате мало-помалу успокаивались. Заодно прояснилось, что он действительно не в силах им помочь в большем, даже при желании. Он отбивал их наскоки играючи. Отказывал твердо, отчего становилось легче, или обещал лишь то, в чем был уверен.

Почему это он о них не думает?.. Да, верно, он сейчас только о колхозе печется... А неужели непонятно, что им, навсегда сюда сосланным, на руку быстрейшее развитие колхоза? Ведь в нищем селе, где и на праздник горсть муки одолжить не у кого, им вообще не подняться. Думая о колхозе, он думает и о них... Лес нужен? Понятное дело, без ремонта в таких завалюхах не перезимовать. Но лес вначале надо выбить в лесничестве, под благовидным предлогом на колхозные нужды, потому что лично для высланных не выпишут ни одного строевого хлыста. Дай им лесу — гуляевцы себе потребуют: и те, кто взял на постой по просьбе Гнездилова, и многодетные колхозники, и одиночки, и будут правы: почему он высланным кулакам помогает, а колхозникам нет? Завтра же в бригады? Он согласен. Но найдется ли всем работа на пахоте?

После отъезда Гнездилова за каких-то три часа в бригады записалось около ста пятидесяти человек, и теперь, при имеющемся числе тягла на каждый бычий хвост приходится по пять плугатарей и вдвое больше погонычей, и даже бабы грозились выйти на подвоз семян и работать отдельными бригадами на баштане и чигире...

Желание узнать подробнее, выявить возможности колхоза, определить себя при них, зацепиться заставляло мужиков повторяться в вопросах, переиначивая их, Похмельный с удовольствием отвечал, слушал, невольно отличая голос каждого,— оскорбляют, грозят, а уже сквозит хозяйственное, свое деловито-жалкое...

— Я думаю, пайки в скорости отменят. Не выгодно государству такую ораву нахлебниками держать, да и возни меньше с их распределением и доставкой. Платить за работу в колхозе вам, видимо, будут таким же манером, что и колхозникам, только, может, поменьше...

— Ага,— вы заплатите,— процедил сквозь зубы Хрисанф Овчаренко, поворачивая к нему седую, лохматую голову с пятнистым через весь лоб шрамом, странно сломавшим левую бровь широкоскулого смугло-рябого лица.— Только и оплаты, чтоб ноги не протянуть...

— Ну почему же,— возразил Похмельный.— Стране нужны рабочие руки, особенно крестьянские. Будете работать — обживетесь. Гнездилов не возражает иметь небольшое личное хозяйство. Нам нет смысла держать вас в черном теле. Наказание вы понесли...

— Цыть! — вдруг бешеным шепотом закричал Сичкарь и тут же зашелся в сухом долгом кашле.

— Ты... Не верьте, мужики!.. Тебе... Вам, перевертням, ни одному... Ни одному верить нельзя,— сипел он горлом сквозь удушье и слезы.— На обмане... Все годы обманом...

Похмельный выждал, пока он отдышится, осторожно поинтересовался:

— В чем обман-то?

— Ты не знаешь? — Сичкарь тяжело приходил в себя.— Тебе объяснить?.. Вы не верьте, мужики, вы меня... еще раз послухайте... У них же хитрость змеиная. Попервах они нас не трогали, даже богатеть советовали нэпами всякими. Мол, Советская власть вас, страдальцев, освободила от царей та панов, землю отдала, теперь помогите ей: сейтесь сколько сможете, сколько в силах... Помнишь, Лукьян, приезжал до нас с ихнего ЦК, плакался, шо рабочим трудно, просил помочь пшеничкой? Он тогда на сходе так и объявил: наша партия призывает вас к обогащению. Обогащайтесь! Батраков нанимать разрешили, земли распахивать, скота сколько хочешь разводить. Все разрешили, не хуже этого... Мы и поверили. Кинулись в работу, жилы с себя вытягивали. Думали: раз просят, разрешают,— чого ж не помочь? Ну и деньжата завелись, скотина... неплохо зажили... А як же! По труду и воздалось!

— Не все зажили,— тихо вставил Похмельный.

— Молчи! Те, кто работал, зажил! — яростно оборвал его Овчаренко.— Бедовали лодарюги, те, кто всю жизнь в холодке спасался.

— Ты не перебивай, не суйся! — закричали остальные.— Говори, говори, Самойло,— попросили они продолжить не раз слышанное.

— Но когда мы разжились хозяйством, когда они с

наших трудов поднакопили сил до тех колхозов,— нас обкулачили. То были страдальцами, помощниками, опорой — помню, именно так из ЦК нас прозвал, и в один день — враги. За все труды наши, за помощь, нас прав лишили, хозяйства — в колхоз, а нас — на высылку. На миллионы рублей коммунисты добра с наших дворов взяли! Таким макаром они сразу двух зайцев убили: и доход государству громаднейший, и батраков тысячи. Прав зачем лишили? Держать нас батраками при самой власти. А шоб самим в стороне остаться, они составление списков бедноте поручили. Та от души постаралась! Они ж ей двадцать процентов с каждого раскулаченного двора разрешили себе брать. Больше вышлете — больше достанется. Составляла-то одна голота. А такие, як этот, оказались вроде бы ни при чем. Мол, не с нас спрос,— с активистов сел. Теперь поняли? Вот так! Тут чья-то голова крепко мозгами пораскинула.— Сичкарь повернулся к Похмельному: — Скажешь, не так?

— Не знаю. Я у той головы в советчиках не ходил.

— Такая же! — безнадежно махнул рукой Овчаренко.

Здесь впервые у Похмельного спросил старый Гонтарь:

— Ну а ты для чего остался здесь?

Похмельный насторожился. В спокойствии, с каким был задан вопрос, угрозы таилось больше, чем во всех злобных выкриках остальных присутствующих. Свои дела Гонтарь совершал без шума, деловито и спокойно.

— Это мое дело... Вы что же, вроде на допрос меня вызвали? — попытался он пошутить.

— А ты думал, в зятья просить кликнули? — насмешливо отозвался у двери Иван; его поддержали:

— Ты не огрызайся! Мы помним, шо ты кричал во дворе, когда отъезжал. Добивать вернулся? Отвечай!

Ответ ждали долго и услышали неожиданное:

— Я сам не знаю... Считайте, уговорил Гнездилов. Просил меня. С людьми трудно здесь...

Все посмотрели на старого Гонтаря. Теперь только он будет спрашивать Похмельного, имеет на то особое право; остальным не мешать...

— Эту байку местным расскажешь... Леся нужна? К ней тянешь руки? Шо ты за человек? — Лукьян поражался искренне. Похмельный затравленно поглядел на мужиков.

— Не поймешь ты, а я объяснить не могу. По правде говоря, мне сейчас не до Леси. Но от своих слов не откажусь: отдашь — завтра же по закону... Мне разрешат.

— Почему же в Лебяжьем не хотел по закону?

— Не знал я... не решался.

— А чого морду воротишь? Все ты знал! Ты боялся, как бы в твоем округе не узнали, шо берешь в жены дочь того, кого уже в черные списки внесли. Карновича ты боялся, за партийность свою боялся, должность потерять боялся. Ты даже ее не пожалел, сюда на муки отправил, лишь бы при должности остаться, честным себя показать!

— Я за свое отвечу... Но ты партийность мою не трогай. Я ее не на высылках заработал,— ответил Похмельный и сгорбился.

— На людской беде ты ее заработал да на чужих бабах... Думаешь, мы не знаем, по каким притонам ты в городе блудил? Я Лесе все теперь рассказал, пусть знает!

Побледневший Похмельный приподнял ладонь:

— Ты меня своей бедой не винуй. К высылке тебя — та и всех вас! — не я, не Карнович определяли. Ваши односельчане. Погоди, дай сказать!.. Ты мог вызнать — в списке ты или нет? Мог: Данилюк — знакомец твой. Но тебе не до того было. Ты все по округе мотался, менял, выгадывал, переезжать собирался... Слыхал я о твоих коммерциях! Ты решил: ежели я у тебя хлебосольствую, с Лесей у нас... обещалось, то не посмеют тебя тронуть. Людям на «здравствуй» не отвечал. Но ваш актив оказался крепким. Он не побоялся ни меня, ни Карновича, ни кого другого... Так было?

С лица Гонтаря медленно сползало деланное спокойствие, выступило истинное, страшное...

— Но ты же знал! Знал, иуда, шо нас вышлют! Ведь было, было у тебя время съездить в округ, упросить... Уже когда с Лебяжьего вывезли, нас два дня за станцией держали, паровоза не было, тебя люди звали, молили, криком кричали прийти, а ты все конвой посылал, а сам ховался да пил с милицией!

— Тогда уже поздно было... Перед Лесей винюсь да перед детьми его,— Похмельный указал на Андрея Повязкина.— Но не перед тобой! Ты кто такой, чтоб казнить меня? По твоим делам тебе бы не здесь сидеть!

Слыхал и я, чем ты с сынком в гражданскую... С того и разжился? Я, значит, с шашкой за власть, а ты с мешком? Моих друзей уже и кости сгнили, а ты... Ишь, праведники собрались... Страдальцы! Судилище устроили... Да я гляжу, не одного меня... Советскую власть, партию судите? Да какое вы имеете право, вы! Вы кто такие?.. Вы хоть чем помогли нам? Ну? Чем? Вы хотя бы не мешали... За год пятерых активистов ухайдокали, инструктора. Меня на его место... Сколько вы скота порезали, сколько хлеба сгноили, отравили, сожгли. Теперь заболело? Детей своих вспомнили. У того инструктора четверо остались и жена калека, мы с каждой получки... Пусть я подлец по-вашему, но обвинять всех...— Он тяжело наливался той тупой безрассудной яростью, во время которой он уже ничего не боялся.— Да вы радуйтесь, сволочи, что хоть так обошлось! Вас надо было еще лет десять назад выслать! Зна-аю, зачем заманили! В дороге не удавалось? Правильно. А сейчас можно. Пусть попробуют доказать, кто убил: вы, чечены, поляки или местные прибили... Все правильно! На!

Он выхватил наган и кинул через комнату на колени Сичкарю. Тот в испуге отшатнулся. Метнулось пламя в плошке. Наган взял Овчаренко и низким шепотом, чтобы не сорваться в кашель, повернулся к Похмельному:

— Заткни хайло, храбрец! Мы знаем, когда тебя кончить... Тебя, и твою власть, и твою партию! И дай бог, шоб наш приговор свершился. Скольких таких,— он указал на Сичкаря,— вы сослали безвинно? Сколько тысяч погубили?

— Это ошибка! — в той же ярости выкрикнул Похмельный.— Перегиб, мы его осудили! Вы своими грязными лапами не трогайте.

— Замолчь! — засипел Овчаренко и вскочил.— Грош цена такому делу, за которое гибнут безвинные люди! Мы, может, и выкарабкаемся, а те, кого в Сибирь, на Север сослали? Не слышал, сколько их уже полегло и сколько еще ляжет? Никакая распрекрасная жизнь, шо вы обещаете, не окупит смерти детей!

— Ты не перегинай! Среди вас ни одного не померло.

— Не радуйся. И до нас очередь дойдет. Половина наших стариков уже одной ногой в могиле. Туда и дети... — тонко оборвал он, осел на лавку, схватился за грудь.

— Детей не дадим! Не допустим смерти. Вам — еще посмотрим, но их — вытянем. Найдем средства, продукты. Найдем здесь, найдут где-то... Детей своих жаль? А о наших думали? Ах, как кусать вы умеете. Партийцы на каторгу, партийцы готовь революцию, партийцы на войну, защищай, строй, добывай, организуй, и только слышишь: неправильно, не по совести, жестоко, несправедливо, а сами либо в сторону, либо с ножом в спину... А дерьмо кому разгребать? Опять партийцам? Ничего, разгребем, не погнушаемся... И ошибки выправим. Для тех, кто остался, мы великое дело сделали. Без вас они за год поднимутся... Дадут, дадут колхозы хлеб стране! Без вас накормим!..

Его прервал Дерновой Лука, выселенец Божедаровки, соседнего с Лебяжьем села:

— Да черт с вами, делайте что хотите, но зачем же по живым костям ходить! На чьем-то горе свое счастье строить. Зачем высылать нас? Оставили бы хату, огород да место на кладбище, но высылать-то зачем? Кто выгадал на этом? Государство? Нет. Рабочие? Нет. Или считаешь, шо тебя теперь нахваливает беднота в Лебяжьем? Тоже нет! Вы раскулачили крепкие дворы. Выслали мужиков, которые умели с умом хозяйствовать, жить большими семьями, показывали, як можно выбраться из нищеты, приложив к земле старание и руки. В голодовки мы бедноту от смерти спасали, хлебца до новины она только у нас занять могла, вы ей только обещались. Того добра, шо от нас осталось, ей ненадолго хватит. Не будет тебе, Максим, и уважения от нее, на которое ты рассчитывал, хотя, кажись, ради нее душу свою споганил...

— Да, тебя оставь,— не стихал в гневе Похмельный,— это ты теперь такой смирный, а оставь — через год весь актив села втихаря на тот свет спровадил бы... Не-ет, все правильно. Если и были какие сомнения, то сегодня кончились. Кончим и разговор на этом. Обратно не переиграешь, как бы вы ни хотели.

— Оно для вас игры,— вступил в разговор Степан Халавчук, односельчанин Дернового, недалекий межведковатый увалень, заросший до постоянно сонных глаз пегой бородой, сидевший в одной замашной рубахе, в расстегнутом вороте которой поверх густой, клочками седеющей шерсти поблескивал медный крест,— а для нас жизня. Нехай я, по-твоему, разживался. Но не мог же

я, вытягивая свое хозяйство, тянуть хозяйство бедняка. Где же таких сил набраться. Вы бы и беднякам и помогали, а нас не трогали. Мы як-нибудь без вашей помощи...

— Да в том-то и беда,— воскликнул Похмельный,— что разживались вы не с одних своих рук! За гроши батрака нанимали. В самую страдную пору он в вашем хозяйстве спину гнул. Кого вы передо мной разыгрываете. Прямо ангелы сидят!

Овчаренко удивленно спросил у присутствующих:

— Видели такого? На семь собак отгавкался. Остались мы виноваты. Он со своими друзьями партийцами ни при чем. Они великое дело делают, а мы для них — прах, мусор. Смести в кучу — и в яму. Вот собаки! Что ж с тобой делать, за твои слова, за дела твои?

— Что хочешь,— ответил Похмельный и достал папиросы.— От дел своих не отказываюсь и смерти не боюсь. Жаль только что по своей глупости принимать придется...

— И примешь, никуда не денешься,— продолжал Овчаренко.— Никак нельзя тебя, Максим, в живых оставлять. Мы помрем вскорости, а наши дети под тобой останутся. За них опасаемся... Нельзя тебе верить... Вот ты мог предупредить нас про выселение. Приехал бы и сказал: мужики, готовьтесь, ждет беда вас. Мы бы хочь як-то подготовились. Высылки, может, и не минули, но хочь добро на деньги обменяли, все бы зараз детям легче. Почему не предупредил? Шо тебе мешало? И сказать нечего? Эх, Максим! Ты-то! Ходил, ел, пил, жил с нами, вырос на нашем хлебе, кусочник, сволочуга, на наши деньги выучился — и на тебе, выслал! Ты бы хочь, гад, Гонтарей пожалел. Их дочку тискал. Любарца, Сичкаря оставил. Они ведь с твоим батьком парубковали, друзьями считались... На все нагадил, все продал. Не можем мы ни понять, ни простить тебе.

У Похмельного задрожали руки, лицо, он схватился за лацканы кожанки и в упор спросил:

— Тебе правду сказать?

— Перед смертью только правду говорят.

— Перед смертью, так перед смертью... Не мог! Не мог поступиться! Можешь ты понять? Ну, оставил бы этих, а остальные? Ты небось себя тоже считаешь безвинно пострадавшим? Ты — ладно, а тех, кто рядом с тобой сидит: Повязкина, Халавчука, Гулыгу, Солодяка,

у него старики дома остались, не пошли... Чем я им потом... Выходит, Гонтарей из-за Леси пожалел, Сичкаря и Любарца по давней с батьком дружбе, а детей Повязника... Не мог, и все тут!

— Так, значит, признаешь несправедливую высылку? — торжествующе спросил Овчаренко.

— Я и раньше признавал. Теперь партия признала. Несколько семей с полдороги вернулись после Челябинской комиссии...

— Ты зараз за себя ответь, а не за свою партию... Не мог он поступиться... Чем поступиться? Людей пожалеть — и не мог? Чого стоит тогда ваша партийная честность! Взял бы и оставил две-три семьи. Кто-то из твоих оставил бы в другом месте. Смотришь, и горя меньше.

Похмельного заколотило, этот разговор неумолимо волок его к краю...

— Ну что ты с меня воду вывариваешь? — прошипел он в лицо Овчаренко.— Мне ваша высылка полжизни отняла. Теперь хоть сам на Соловки беги... Нельзя было! Все огнем взялось. Захватило и несло так, что ни шагу в сторону. Последняя классовая схватка, дальше — чисто! Не надо! — он брезгливо приподнял руку, прикрываясь от понятно-усмешливого взгляда Гонтаря.— Ничего я не боялся! Плевать я хотел на должность. Нашел бы место получше... Никому из наших нельзя было! Скажите, много по чьей-либо просьбе оставили? Много находилось заступников? Сейчас другое дело. По дороге повыветрилось...

Прямота, с какой было сказано, заставила задуматься. Овчаренко повертел в руках наган:

— Шо сейчас думаешь? Оставим тебя в живых — поможешь нам? Или опять в горячку, на этот раз Гнездилов, вгонит? Выжить нам поможешь?

— Помогу, чем смогу,— твердо ответил Похмельный,— детям вашим в особенности, но предупреждаю: в ущерб колхозу ни на копейку не пойду.

Овчаренко заглянул в дуло, прицелился в пол.

— Крепко стоишь... Неплохо... Так шо же с ним делать, мужики? — обратился он к присутствующим.

— Прибить, и весь разговор,— деловито и быстро предложил Иван. Он по-прежнему стоял в дверях, хотя сесть место было. — Ты говорил, куда шел?

— Говорил,— буркнул Похмельный. Все, что внезап-

но вскипело в нем, разом осело. Злила собственная беспомощность. Зачем-то отдал наган... Впрочем, не для стрельбы, не для убийства его вызвали, хоть Иван и старался. Грубые попытки запугать его, заставить раскаяться, обещать невесть что и тем унизить вызывали поначалу гнев, а теперь, схлынув, досаду.— Вам лучше не станет. Убьете — пришлют другого. Тогда шиш вам, а не рассаднички и поросятки. Местным убивать меня не за что, коту понятно, поэтому вас всех отведут верст за пятьдесят в степь за проволоку...— Он поднялся.— Хватит. Поздно... Я не про полночь. Поздно обмусоливать то, чего не вернуть... Собирайтесь, советуйтесь, помогайте друг дружке. Разрешаю и скажу комендантам. О будущем думайте. Вы все обязаны работать в колхозе, иначе лишат пайка, но что дальше — не знаю, врать не хочу, хотя работники сейчас с вас... Я, конечно, дал маху. Мне бы раньше вас собрать, расспросить, может, сообща придумали чего... Если появится что — зовите, приду, но не так... Ну, давай его сюда,— он протянул руку за наганом.— Давай, давай, дядько Хрисанф. Эта штукенция не для нас с тобой. Хватит нам пулять друг в друга. Отстрелялись. Мне самому несладко...

Овчаренко поглядел на него снизу:

— Ты запомни: вякнешь кому и заберут кого из нас — точно прибьем. Ты не думай...

— А-а, кончай! — Похмельный высвободил из рук его наган.— Узнают не узнают — какая разница. Без моего разрешения вас никто не тронет. Я теперь для вас царь и бог и воинский начальник. Вы вот что, страдальцы. Ружья держать я вам запрещаю, но в здешних озерах, говорят, рыбы много. Если хотите — дам запрет местным, а вы ловите. Все какая-то поддержка.

— Сетей нету, плести не с чего...

— Соберите деньги. Попрошу Гнездилова, он найдет или закажет.— С каждым словом его все больше охватывало привычно-знакомое чувство власти над ними.

— Не запрещай,— все так же тихо говорил Овчаренко.

— Почему?

— Нехорошо... Они нам крепко помогают. Если бы не они...— Он достал из кармана тряпку, стал сморкаться.

Похмельный с удивлением смотрел на него — этого

еще не доставало. Так крепко началось и так слабо кончается? Но он ошибся. Овчаренко спрятал тряпку в карман, поднял голову:

— Ты не строй из себя. Не быть тебе начальником над нами. Шоб ты для нас ни делал — не простим. Прибьют тебя, кота, не сегодня, так завтра, не мы, так другие. Был перевертнем, им и останешься. Не будет тебе от нас прощения... Выпусти его, Иван.

Да, жаль: последнее, выгодное к уходу слово осталось не за ним. Похмельный, все еще медля и лихорадочно соображая, что ответить, шагнул к выходу, Иван хотел было распахнуть перед ним дверь, он мягко и властно — вот и момент! — отстранил его:

— Не хлопочи, Ваня. Ты сегодня уже потрудился для меня.— И, сжав в кармане рукоять нагана так, что заныло в пальцах, не сообразив, для чего он говорит, не продумав с правленцами, тем непререкаемым голосом, каким командовал ими во время этапа, объявил: — Чтобы завтра же все — все до одного сидящие здесь — в семь утра были у правления. Задам я вам... работу.

...Ночь обдала его, разгоряченного, холодом и мягким светом низко висящего над далеким лесом месяца. Он определился быстро, идти надо было почти через все село, и, шагая белеющей среди черно-травяных обочин дорогой, он испытывал радостное облегчение: наконец-то пришлось поговорить с ними. Впервые за все время. О сути разговора не думал, сейчас он только проверил себя: не оказал ли в чем страха перед ними? Глупость, необдуманность — куда ни шло, в его глазах это было не столь важным. Не простил бы себе боязни или похожей на ту злопамятную, при отъезде, истерику...

Горячность была излишней, вспоминал он, а так вроде бы держался неплохо... Ах как кстати этот разговор! Сколько сил и сердца отнимали они своей ровной, молчаливой ненавистью, в то время когда всю душу и помыслы требовалось отдать колхозному делу! Теперь появился какой-то просвет, можно вздохнуть свободнее... Вот только любопытно, кого благодарить за нее, кто из них надумал...

Да! Но и они держались! Какое же злобное презрение они испытывают к нему, что до сей поры ни один из них не обратился лично с просьбой. Дров нет, в хатах, несмотря на май, все еще холодно, ибо по-хорошему не протоплены с зимы, простенькую баланду сварить

не на чем: собирают кизяк, трясут гнилую солому с загат, от такой топки нет тепла, только смрадный дым до кашля и слез, но ни один — ни один! — не подошел попросить коней привезти хворосту из лесу, пошли к Гриценяку, тот дал, а потом сообщил Похмельному таким тоном, будто просил извинить за разрешение.

«Сволочь, гад, сука, кусочник!» — шел и восхищался он столь ясно выраженным отношением к нему сосланных односельчан. Ничего, ему не привыкать, стерпит и это... Сводить с ним счеты — убивать, им действительно нет смысла, а оскорбления — пустое, за ними нет ничего, кроме отчаяния и страха перед будущим, которое отныне во многом будет зависеть от него. Потому и вызвали...

Теперь советы Гнездилова — дать сосланным возможность быстрее обустроиться — выглядели по-иному, вспомнились с благодарностью, поскольку были созвучны и его, пока тайному, желанию помочь им, особенно землякам. Сам не ведая того, секретарь развязал ему руки, поддержал в поисках, а заодно — тоже невольно — убедил в том, что истинная помощь — не мелкие поблажки, вроде разрешения разбить рассадничек, завести поросенка, а в создании крепкого колхоза. Создаст он такой колхоз или нет — дело будущего, не от него одного зависящего, думать об этом сейчас не хотелось. Он вспоминал землянку Майкуты и особенно радовался тому ответу, в котором твердо объявил, что помогать — поможет, но в ущерб колхозу не пойдет. По привычке мысленно продолжая разговор, он находил ответы еще более ловкие и удачные, но вместе с тем как давно знакомую застарелую боль ощущал непреходящее, хоть и ставшее теперь гораздо менее болезненным чувство вины.

А у Майкуты еще долго не расходились. Приказ Похмельного собраться завтра к семи утра сочли пустым: сам только что говорил, что нет такой работы, которая бы твердо гарантировала оплату хлебом. Припомнили гнездиловскую речь на собрании, увязывали ее с ответами Похмельного, примеряли со всех сторон к своему положению и гадали, чем обернется для них развитие колхоза и перепадет ли чего-нибудь из тех колхозных благ, какие нынче щедро сулил колхозникам секретарь райкома.

— Да ты молись, несчастный, шоб те пайки подоль-

ше не отменяли,— советовал Овчаренко Сичкарю, который уверял присутствующих в их скорой отмене.— Не дай бог сегодня отменят, завтра помрем. Заплатят ему... И ты поверил? Кто тебе заплатит? Ну, нехай заплатят. Копейки. Шо ты на них в лавке купишь? Большая часть хлеба пойдет государству на план, а шо останется — колхозники в один день прямо с полей по домам развезут. Нам же — солому...

— Твоя правда, Хрисанф. Шо уродит в городчике, то и наше,— сумрачно поддержал старый Гонтарь.— Без пайков не вытянем. Вы слышали, шо Максим кричал, когда отъезжал? Передохнем здесь, а возврата не будет. К тому идет. Моя Леся на глазах тает...

— Ну, Похмельный, положим, кричал сдуру, а Гнездилов с умом говорил,— возразил Солодяк, старый выселенец с жутко запавшими щеками.— Мы, говорит, были опасные на родине, с хозяйством и родичами...

Овчаренко перебил:

— Як раз на родине я опасный не был. Но когда меня... Чем же я теперь для них опасный? Скрутили по рукам-ногам — и опасный? Развязал бы кто — я бы им...— Он словно захлебнулся последними словами, опустил голову, но всем стало понятно.

— Ну, это кто як хочет,— ответил Сичкарь.— Не были мы врагами ни там, ни здесь не будем. Может, имел кто грех, но не всю жизнь за него расплачиваться. Лишили всего, выслали. Чего им еще? Хуже не накажешь. Расстрелять разве...

— Им и высылка костью в горле стала, а ты расстреливать,— тихо отозвался Андрей Повязкин, молчавший весь вечер и теперь, после ухода Похмельного, разговорившийся.— В ней они с ног до головы обмарались. Теперь и признаться: вернуть нас назад — стыдно и добивать здесь нельзя: в ихнем ЦК за это дело крепко по головам бьют. Должно на лучшее повернуть... Письмо бы Сталину...— добавил он так, будто спросил совета.

— Я и говорю,— продолжал Сичкарь,— это поначалу в строгости, под комендантами, а потом, наверное, послабления будут. Если пайки отменят, то надо какой-то другой выход искать. Шо деньгами, шо хлебом. Хочь чем-то да оплатят. Хорошо бы наравне с колхозниками... Ты чув, Хрисанф, шо Гнездилов говорил?

— Не был я там...

— А я был с Андреем. Если верить Гнездилову, то

колхозникам неплохая жизнь намечается. Беднякам в особенности. Нам бы тоже колхоза держаться надо...

— Понравилось? — спросил Овчаренко.

— Шо? — не понял Сичкарь.

— Понравились, спрашиваю, гнездиловские речи? — томно усмехнулся Овчаренко.— Ты сказал, будто бы сегодня Гнездилов с умом говорил. Правильно — с умом. Они без ума ничего не делают. Над нами тоже кто-то с умом поработал. Выжмут все — и на кладбище... Ни в каком другом государстве такого удумать не могли. Эти же мало того шо придумали — они сделали... О-о,— он страшно сжал кулаки, потряс ими над коленями.— Связанный... Их бы живыми в землю! — прохрипел он, обводя мгновенно обезумевшими глазами присутствующих, и тотчас смолк, уронив на грудь лохматую голову.

Хозяин хаты Иван Майкута покосился на его вислые плечи, жилистые руки, помялся, наконец сказал:

— Нет, Хрисан, шо-то не так. Я, положа руку на сердце, скажу: вина наша есть. И моя, и твоя, и ты, Лукьян Нестерович, нечего греха таить, в последние годы настриг шерсти с лебяжьевцев. Вон Андрея Повязкина ни за что выслали, Сичкаря, Халавчука, Костоглода, Любарца... Вот кому горе ни за шо ни про шо. Оно и нас, конечно, выселять не стоило. Да кто ж знал, шо коммунисты так быстро на колхозы повернут! С тозами у них не вышло. Думали, и с колхозами так же: поколготятся, покричат, нагонят в зады холоду, на том и кончится, а оно, бачишь, як полыхнуло. Не успели мы...

Халавчук, по-воловьи спокойный, соседствующий дворами с Майкутой и в Божедаровке и здесь, согласно прогудел:

— Был грех чи не было, а выселять не следовало. Теперь все заново начинать?

— Веку не хватит заново,— печально возразил Сичкарь.

— Ему хватит! — скупо улыбнулся Халавчуку Повязкин.— С его здоровьем можно и заново... Нам всем надо на работу выходить. Неправда, не помрем. Еще и обживемся помаленьку. Размышляют... После двадцать первого года не с лучшего начинали. А там, глядишь, может, и прощенье выйдет.

— Да за шо прощать-то, Андрей! — вскрикнул Овчаренко.— Объясни! Чем же я виноватый. Тем, шо не

в старцах жить хотел? Шоб детей выучить, в люди вывести, шоб на старости свой кусок хлеба и угол иметь? Шо ж ты мне на рану соль сыпешь! Обрадовался! Гнездилову поверил! Гляди, не обмочись с радости.

Многие посмотрели на Повязкина с укором. Он смутился. Иван, чтобы загладить неловкость, повернул на другое:

— Да, им верить нельзя. Взять Максима. Кто мог подумать. В хлопчинятах бегал — за ним, кажись, не замечалось. Все собак жалел, коней приваживал. Это его партийцы на фронте в свою веру обратили.

— Какое на фронте! — скривился Костоглод, земляк-выселенец, ныне занимающий хатенку рядом с Гарькавым.— Вы не знаете, а мой младший брат вместе с ним с войны вернулся. Рассказывал он мне всею подноготную про этого Похмельного. Он когда пришел с фронта, угла своего не имел. Тетка померла, хата завалилась, вот и блукал по свету собакой бездомной. Кто пригреет — тому и служил. У баб перебивался. Служил в милиции — ушел или выгнали, не знаю точно. Потом в заготовителях отирался — тоже, видать, оттуда поперли. Работать оно не привычное, а кто же лодыря держать будет. Жаловался брату: жизни не понимает, не знает куда себя деть...

— Землю бы пахал, сволочь! А то все на дармовщину хотелось.

— Так и жил!

— Кто привык смалку до чужого хлеба, тот свой никогда растить не станет.

— Трутни быстры на плутни!

— Да, потом он на племенной станции ошивался,— продолжал Костоглод,— пока его Карнович не подобрал. В партию заставил вступить, пригрел, должность подобрал. Там он его и насобачил. Вот из таких жалостливых и вырастают зверюки. И скажи ж ты: не постеснялся вернуться. С вами вырос и вас же выслал. Неужто так за должность свою боялся?

— Ну а за шо ж еще? — спросил Сичкарь.

— Тогда вконец мужик осволотился,— заключил Костоглод.

— Да нет,— засомневался Майкута.— Тут што-то другое, тут, по-моему, вера у него...

— Какая, к хренам, вера! — с раздражением ответил Овчаренко.

— Из-за Гонтаревой Леськи остался, вот и вся вера.

— Не то, батьки, не то,— поддерживал тему Иван.— Он, подлюка, правду доказывать остался. Вот, мол, я какой. Остался с вами, не побоялся, не погнушался. Что ж, ему можно. В председателях. Везде накормят, напоят, спать уложат... Леську ему не видать. Ходит к нам один местный хлопец, помогает... За старого киргиза отдадим, но только не ему! Правда, батько?

Старый Гонтарь посмотрел на сына долгим опечаленным взглядом и не ответил.

— Не-ет,— все с той же раздумчивостью продолжал Майкута.— Шо ни говори, но вера у них есть. Слышал я, будто этих партийцев когда-то совсем мало было. Гоняли их, били, в тюрьмы сажали навроде первых христиан, а ты бачишь, сколько их стало, какую они махину порушили. Мыслимое ли дело — империю развалить, царя скинуть! Царским генералам с Антантой морды набить. Камня на камне не оставили! Нет, мужики, вера — дело большое. Все в ней. Они и колхозы вытянут, попомните мое слово. Год-два — и пойдет у них. В бараний рог людей покрутят, но колхозы развернут.

— Зачем им гнуть? — спросил Повязкин.— Они для людей и делают колхозы... Какой смысл гнуть? Будут гнуть — разбегутся. Не то хуже — восставать начнут.

— Не будут гнуться — в лагеря, на высылку, восставать — к стенке. Или нет? — вкрадчиво спросил Овчаренко.— Ты ж на собственной шкуре убедился. Или тебе мало? Я смотрю, ты вроде их оправдываешь. Может, ты уже и со своей высылкой согласный?

Повязкин качнул головою, но ответил не только ему:

— Всю страну в лагеря не зашлешь, не выселишь, не расстреляешь. Прав ты, Хрисанф, беда страшная, слов нет. Не по-людски с нами поступили. Однако жить как-то надо. Был бы один — прибил бы двух-трех партийцев — и в петлю. Но я с детьми. О них думать надо... Дай совет. Все по-твоему сделаю, но лишь бы дети не пострадали. Убью, сожгу, утоплю. Только кого? Максима? Вина его есть. Большая вина, но не смертная. Пусть он сам себя судит... Гнездилова? За то, что кто-то меня выслал, а он здесь жить мне дает? Меня когда сюда везли, я думал: все, собачьей смертью вместе с детьми лягу. А тут нет, оказывается. В хате живу, подкармливают, разрешают хозяйство... Люди помогают... Я сегодня, когда слушал Гнездилова, словно второй раз

на свет народился.— Он поглядел в черные окна, будто увидел в них нечто, чего не видели остальные, с облегчением выпрямился.— Надо работать. Не стоит злобой сердце надрывать. Мы-то — ладно, видно судьба такая, но детей от этого беречь надо. Им с коммунистами долго жить, поэтому такие думки детям нашим ничего хорошего не дадут. И ты, Хрисанф, меня не кори. Моя рана глубже твоей ровно на одного ребенка.

Повязкин встал. Огонек в плошке дрогнул, заколебал по стенам изломленные тени, пустил чадную дымную струйку. Повязкин молчал, ждал поддержки, но ее не было, никто не поднимался, хотя давно пора было расходиться. Он почувствовал себя лишним, помял треух в руках и хотел добавить что-то такое, что сгладило бы растущую неловкость между ним и сотоварищами по несчастью, что до этого часа во многом роднило их, но не успел — встал с чурбака Сичкарь:

— Пошли, Андрей. Нам с тобой в одну сторону. Пошли и ты, Степан, доведем до хаты. Кто еще с нами? Никому не по пути? Тогда — прощайте...

Им никто не ответил, никто не вышел проводить.

Овчаренко с удивлением посмотрел на дверь, осторожно прикрытую Халавчуком, многозначительно указал на нее оставшимся:

— Слыхали? Я ему неправильно сказал, обидел его, мурла кацапского. Попробуй сделай с такими шо-нибудь — завтра же продадут. От побачите: они нам еще подставят ножку!

Ему ответили только вздохами, с какими мужики стали подниматься, выходя один за одним во двор, в холод весенней ночи, под черно-зеленое небо и чудный свет низко стоявшего над землею красноватого месяца.

IX

Похмельный злился: солнце поднималось к полудню, а бригады все тянули с отъездом. То слишком долго сводили быков и лошадей к правлению; то недосчитывались нескольких плугатарей с «киргизского кутка» — дальнего конца села, где жили несколько казахских семей (оказалось, они ушли на станы пешком), то ждали Семена, чтобы забрать из кузни плуги. Сам Семен объезжал колодцы, черпал мутные остатки, чтобы набрать бочку питьевой воды: воду из околков люди пить не хо-

тели. Причину такой расхлябанности Похмельный усматривал во вчерашнем празднике. Во дворе царили шум и суета. Помимо бригадников сюда пришла еще уйма народа, казалось, что двор и подъезды к правлению заполнили все жители села. Все, кто до вчерашнего собрания еще не работал в колхозе, требовали дать работу. Каждый что-то советовал, подсказывал или, чаще всего, отпускал насмешливые замечания по поводу таких сборов. Покорно ожидали своего череда выселенцы, носилась и звенела детвора, бабы-гуляевки наседали с яслями. Особенно старалась жена Гриценяка.

Когда Похмельный возразил, дескать, нет подходящей хаты, она под общее одобрение подруг пообещала завтра же выкинуть все конторские причиндалы вместе с правленцами из правления — и чем не ясли?!

Похмельному надоела вся эта бестолковщина. Он поблагодарил собравшихся за желание помочь колхозу и объявил, что пока определить всех по работам не может, а потому просит разойтись. Бригады отправились только через час, и во дворе стало свободнее. Комендант Кащук с облегчением заметил, что если каждый рабочий день такой свистопляской начинаться будет, правленцы долго не протянут: умом тронуться можно. Похмельный успокоил: это поначалу так, потом должно наладиться, а сам мысленно порадовался единодушному желанию гуляевцев работать. Но это отчасти и тревожило: где он найдет тот объем работ, который только что пообещал людям?

Решение пришло неожиданно: как же он запамятовал! Он призывно махнул с крыльца, и во дворе засмеялись: люди на работу, а правление опять штаны просиживать.

Правленцы не успели рассесться по лавкам, как Похмельный объявил: с завтрашнего дня колхоз «Крепость» приступает к строительству единого скотного двора. Будет ли он конюшней, коровником или свинарником — значения не имеет, важно только, чтобы постройка сгодилась для любой нужды. Строить будут высланные, местных мужиков привлекать только при крайней нужде. И попросил правленцев хранить строительство в секрете от Гнездилова. Чем позже он узнает, тем лучше. Правленцы переглянулись, и довольный впечатлением председатель охотно пояснил. Во-первых, держать в безделье на госпайке сотню работных вы-

сланных да еще в летнее время — непростительная роскошь. Об этом прямо вчера говорил Гнездилов, так же думает и он, Похмельный, и уверен, что так же считают все. Ну а поскольку все колхозные работы уже заняты колхозниками, то высланным надо найти другую. Лучше всего для этого подходит стройка, потому что неизвестно еще, как посмотрит район на эту затею, когда дело дойдет до оплаты. По этой причине надо до времени помалкивать о стройке и уж потом ставить Гнездилова перед фактом. Это во-вторых.

Если привлекать колхозников, то лишь на изготовление рам, дверей, стропил. Словом, такого поделья, которое, в случае невозможности оплатить, можно было бы продать на сторону. Если стройку вообще прикроют, это в-третьих, саман придется отдать на ремонт хат тем же высланным, чтобы хоть так оплатить их труд.

— Но строиться надо, — безоговорочно заключил Похмельный, видя разочарование правленцев, тем большее, чем больше доводов он приводил.— Ну что ты, Гордей Лукич, улыбаешься? Разве нам не нужен коровник или конюшня?

— Да кто ж против! — воскликнул Гриценяк.— Слов нет, нужен. Но я против того, чтобы таиться. Наоборот, посоветоваться надо. Какое у нас право задарма людей заставлять работать? Не поздоровится за такое,— он неопределенно махнул рукой.— А тебе больше всех. Можешь и местом поплатиться.

— А-а, не больно дорожу... Но вдруг не разрешит Гнездилов? Чем займешь высланных?

— Не только их,— поддержал Плахота.— Все село работы требует. Бачили, сколько сегодня пришло желающих трудодни получать? Без хлеба никому не хочется остаться. Даже старики... Дед Мосий и тот просится сторожем на чигирь. А баб, подростков сколько!

— Сенокос... — начал Гриценяк.

— До сенокоса полтора месяца. Да и после сенокоса... Не пошлешь же ты полтысячи мужиков на баштаны огурчики пропалывать. А стройка — это такая работа, шо всем за глаза хватит. Построим — припрем Гнездилова: помогай с оплатой.

— Надо, надо строить,— поддакнул Похмельному Иващенко.— Ты, председатель, умная голова. Государству коровник выгодный? Выгодный. Чует мое сердце — будем мы держать колхозное стадо. Так лучше его за-

ранее построить, пока людей прорва.— Выходило у него приторно, но Похмельный его слушал внимательно, и комендант продолжал со значением: — Мои высланные при деле будут. А то у них от безделья могут думки про бега завестись.

— Но если все же не найдем способа оплатить? — упорствовал Гриценяк.— Ты, председатель, пойми меня правильно: ты отвечаешь за колхоз председателем, а я председателем сельского Совета отвечаю перед колхозниками за все решения, принятые от имени колхоза. Дурачить людей я вам не позволю.

Похмельный осердясь, а потому сердечно улыбаясь, успокоил:

— Твоей власти, Гордей Лукич, никто не ущемляет. Ради бога. Только смотрю я, уж больно робко ты ее применяешь... Ладно, давай не будем строить. Чем у тебя, сельский Совет, в таком случае будут заниматься люди? Вот и я не знаю. Им надо работать, набирать трудодни, колхоз надо разворачивать. Я один буду отвечать перед ними. И перед районным комитетом партии,— добавил он так, чтобы Гриценяк понял разницу между ними.— Поэтому ты, Гордей Лукич, ко мне не припрягайся. Пусть уж одного меня за чуб таскают.

В разговор вмешался Гарькавый:

— За работу в колхозе люди потребуют оплатить хлебом. Деньги — пустое. Будет в закроме — будут и деньги. Поэтому все зависит от урожая. Неизвестно еще, какой он выйдет и что останется, когда по плану вывезем. Дуже много едоков на те остатки... Что тогда скажем? Что душа коменданта Иващенко про колхозное стадо чуяла?

Алексей Кащук ехидно дополнил:

— Тогда колхозники нас в том коровнике на цепа привяжут вместо племенных бугаев. Кого по старости, может, и освободят, но меня, Семена и тебя, председатель, наверняка исполнять заставят...

— Та чого вы боитесь! — закричал Иващенко.— Заплатят не заплатят... У меня соображенье,— он заговорщицки понизил голос.— Мы той коровник або конюшню киргизам в аренду пустим... Вы меня слухайте!.. Это зараз, по теплу, они в степу мяса наедають або в лесу в холодке от жары спасаются, днем с огнем не найдешь, а морозы вдарят — объявятся! А мы им: дорогие киргизы, вот вам теплая конюшня на двести голов! И с

каждой лошадки — деньгами або еще чем. Шкурами можно! Да та конюшня нам через год окупится... О, соображенье! — Он победно посмотрел на собравшихся.

Гарькавый деланно восхитился:

— Вот из кого хороший бы кулак вышел! Жаль, господь разумом обошел... Кто на твою аренду пойдет! Киргизы теперь тоже поумнели. Это раньше ты с них мог по три шкуры драть и с рук сходило... Тебя за такую коммерцию на части разорвут. За одну руку киргизы, за другую — наши, а за ноги — Гнездилов.

— А еще за одну часть — бабы,— ввернул Семен Гаркуша.— Они ведь тоже в стройке участие примут.

— Не пойму, ты-то что предлагаешь, Федор Андреевич? — с досадой спросил Похмельный.

— Строить,— решительно ответил Гарькавый.— Коровник нам потребуется. Людям — работа. В крайнем случае — продадим саман. Это такой товар, на который покупатели всегда найдутся. Завтра же и приступать.

— На том и кончим.— Похмельный отчаянно шарахнул ладонью по столу.— Давайте-ка, коменданты, пройдитесь по спискам и готовьте из высланных бригады. Кого назначить старостами среди них, я подскажу. Что нам потребуется из инструмента?

— Подожди ты с инструментом,— остановил его Кащук.— Разогнались. Пока два инструмента требуются — лопата да желающие... Нам бы на другом не споткнуться...

Против строительства он не возражал. Поддерживал Похмельного и в намерении не сообщать в район, пока не нашепчут или сам Гнездилов не заметит возню у озера. Сомневался он в том, что в Гуляевке разрешат рубить строевой лес. По его рассказу — и это подтвердили остальные,— какого-то начальника, проезжавшего селом, поразило количество добротных деревянных построек в селе, и вскоре в район пришел приказ, из коего следовало: селам, подобным Гуляевке, которые за счет народного достояния по-кулацки обустроились и выбрали свое на десять лет вперед, отныне рубить лес категорически запрещается. На топку брать только сушняк, и то через письменное разрешение из лесничества. В прошлом году он, Кащук, ездил туда с просьбой выделить ему три-четыре сосны на распиловку — отказали, не помог даже знакомый из района. В те дни он был свидетелем разговора председателя колхоза из сосед-

него района в лесничестве. Председатель умолял выделить на ремонт мельницы и скотного двора хотя бы десяток сосен. Ему отказали, он поехал с жалобой в район, к секретарю, и уж после этого разрешили взять ровно половину запрашиваемого.

На новый коровник пойдет не менее пяти десятков сосен; возможно, Похмельный и выбьет сколько потребуется. Но и с камнем под фундамент плохо. Каменоломня — верстах в сорока от Гуляевки. Если возить на быках, то заложат фундамент не раньше осени, там начнутся дожди, саман размокнет, и все пойдет насмарку. Вообще же предложение строиться заманчивое, и он, Кащук, с дорогой душой...

Похмельный расстроился. Его, казалось бы, блестящая идея никак не могла выбраться из правления. Но сдаваться не хотелось. Его снова поддержал Гарькавый:

— Не нагоняйте страху, мужики. Ты, Максим, команду давай. Нехай пока саман готовят. Если с камнем не успеем — прикажем по дворам разобрать, чтоб не мок. Это не хлеб, не съедят. А там видно будет.

На этот раз Похмельный уже осторожно пришлепнул по столу:

— Будь по-твоему, Федор Андреевич. Значит, начинаем? Прямо сегодня? Пускай готовят людей? Наконец-то! Кто за? — шутливо обратился он к правленцам.— Все за. Теперь надо собрать высланных.— Он поднялся.

Через час коменданты с помощью Гриценяка разбили высланных на две бригады и выбрали среди них старост. Из числа пожелавших работать на стройке колхозников избрали двух бригадиров. После обеда вновь собрали село. Решение строить скотный двор одобрили все. Работа нужная, наверняка оплатится, считали колхозники. О сомнениях правленцев Похмельный рассказывать не стал.

Подошло время выводить людей. С высланными было просто. Объяснять и руководить ими Похмельный поручил Иващенко. Грозно-манерная речь коменданта состояла из двух вопросов и его же ответов на них:

— Все знаете, кто в якой бригаде? Все знают... До якого часу робыть, запомнили? Пока ночь за очи не схватит... За мной!

Хуже обстояло с местными. Их уже собралось немало, и еще подходили. Предстоящая работа была им

знакома. Каждый из них когда-то строился сам, помогал родным, близким, соседям, но тем не менее галдели, уточняли, делили работу на тяжелую и легкую, переспрашивали, требовали писать за день два трудодня. В общий шум вплетались даже надтреснутые голоса старух. В строительство втягивались почти все жители села, и каждый считал себя вправе усомниться в чем-то или указать.

Назар Чепурной, стоявший с приятелями у сарая, подозвал к себе Юхима, пятидесятилетнего гуляевского дурака, привезенного с далекой батьковщины, пошептал ему на ухо и послал к правленцам.

Юхим был известен тем, что умел «читать». Грамоты он не знал совершенно, но стоило дать ему газету, книгу — все, где были печатные страницы, и, задав тему, попросить читать, Юхим тотчас принимался за «чтение». Порой, держа газету наоборот, он морщил лоб и старательно водил пальцем по строчкам, показывая, как трудно дается проклятое чтение. Молодые парни обычно просили «прочесть» что-нибудь о первой брачной ночи или о том, как некогда он, Юхим, был любим женщинами на далекой родине. Об этом Юхим «читал» взахлеб и с такими подробностями, что мужики постарше плевались и просили прочесть о работе или о войне.

Юхим мгновенно находил нужное место и бил всех подряд. Особенно доставалось японцам и немцам. Он поочередно отрывал им руки, ноги, головы, пилил ножом — все, что делает с насекомым бездумная детвора. У гуляевских баб он пользовался благосклонностью. Старухи сердились, если кто-то его обижал. Девки тоже были не прочь послушать о начале семейной жизни, но их он стеснялся, избегал; безмужние его прижаливали. Если просили Юхима помочь по хозяйству, он никогда не отказывал. Непременным условием ставил поесть вдоволь. Вдовам он «читал» о погибшем муже, бобылкам — о несложившейся жизни, старухам, грозно хмурясь и возвышая голос, все по той же газете возвещал о скором пришествии антихриста или сладостях загробной жизни. Бабы понимали всю глупость положения, но выходило у него так умилительно, искренне, что порой и вправду верилось, будто словами блаженного говорит господь, и, расчувствовавшись, до отвала кормили на редкость прожорливого идиота...

Теперь Назар доверительно сообщил Юхиму, что со-

брались люди строить хату ему, только не знают, где и какую: то ли саманную, то ли рубленую, и будет лучше, если сам Юхим подскажет бестолковому правлению.

Юхим ринулся к крыльцу. Он дергал за рукава растерянного Похмельного, пытался обнять Кащука и просил непременно пятистенок, где в светлице будет он с молодой женой, а в другой половине — его сестра, у которой он доживал свой ущербный век. Парни гоготали. Кащук, отбиваясь от Юхима, яростно погрозил им кулаком.

Похмельному надоела эта кутерьма. Он объявил: кто хочет работать — пусть сейчас же идет к озеру, кто не хочет — марш домой, нечего мутить народ. Зачисление в бригады будет производиться на месте.

Саманные ямы остались еще со времен, когда село только начинало строиться. Сейчас трудно было поверить, что из этих заросших травой колдобин, оспинами побивших озерный берег, выросла Гуляевка.

Готовили саман просто: копали небольшие ямы, так, чтобы вымесить можно было конем или ногами, забрасывали глиной, соломой, заливали водой и бродили в них до тех пор, пока не закружится голова или замес не будет готов. Затем замес укладывали в большие решета, трамбовали, давали время застыть, и когда снимали решето, то на земле оставались огромные тяжелые кирпичи. Месяц они каменели под солнцем и ветром и только тогда шли в кладку. В хатах из самана зимой было тепло, летом прохладно, стояли они вечно, лишь бы с крыши не затекало.

Выйдя на откос, Похмельный остановился потрясенный: чуть ли не на полторы версты (по длине приозерной улицы) растянулись люди, оглядывая ямы и приноравливаясь к работе. Все смешались: бабы, мужики, подростки, местные, высланные. Мужики покрикивали, бабы суетились, старики по-командирски что-то указывали палками.

Берег гудел, копошился, и Похмельный только теперь со страхом осознал весь размах им же затеянного. Прав Гриценяк: не одобрит район, не найдет Гнездилов возможности помочь с оплатой — выгонят с треском. Необдуманности такого порядка не прощаются.

— Что остановился, председатель? — хлопнул его сзади по плечу Иващенко.— Небось так обрадовался, что ноги отняло?

— Рад, конечно,— осклабился Похмельный.— Только не знаю, что дальше будет...

— А это уже не твоя забота,— повеселел комендант.— Ты свое сделал. Они теперь сами знают. Зараз ямы подчистят, окопают, начнут солому сносить... Эх, коней бы трошки больше! Мы б за неделю... Где же те кони, шо Гнездилов обещал? Пора бы и пригнать! Но ничего, ногами не хуже, только времени займет больше. Давай, голова, спустимся, потолкуем середь людей. Побачим, як твои кулаки до наших притираются. Ты говорил, шо они не хуже наших робыть умеют? Мы их хотели бригадами, а смотрю — кто с кем соседствуют, с тем и работают. Нехай! Лишь бы толк был! Да! Ты знаешь, шо ни один чечен ни на собрание не пришел, ни сюда? Мы с Алешкой на них, правда, и не наседали крепко, однако ж дисциплина — первейшее дело! Завтра всех сюда загоню!

С невысокого откоса они спустились вниз. Там встретили Семена Гаркушу. Похмельный запретил ему выезжать на пахоту в связи с тем, что в кузнице работы прибавлялось с каждым днем, напарники Семена с утра до вечера махали молотками, ремонтируя инвентарь. Но сегодня начало стройки захватило парня, и он, махнув рукой на все заказы, ходил от ямы к яме, помогал советами бабам и веселил мужиков.

Среди работавших Похмельный увидел и тех, кто вызывал его на ночной разговор. Замечал и равнодушно скользил взглядом мимо: все, что можно было сказать, сказано, дело за временем. Больше всего он боялся увидеть здесь Лесю...

— Эй, начальство! — окликнул молодой бабий голос.— Чого гуляете? А ну, снимай чоботы — и в яму!

Вокруг заулыбались. Яму окапывали одни женщины. Иващенко остановился.

— Почему вы без мужиков? Чого они вам не помогают?

— Мы рядовых не желаем,— отвечала та же молодица, не сводя глаз с Похмельного.— Нам начальство подавай. Уговаривать на работу вы умеете. На шо другое — пока не знаем... Покажите, на шо вы способные! Чи боитесь штаны запачкать? Так их снять можно...

Иващенко нахмурился. Такая вольность в обращении к председателю и коменданту ему показалась возмутительной:

— Ты б, Ганна, не трепала лишнего. Не то враз укоротим. Это тебе не с Назаром!

— Ой, та яки ж вы сегодня грозные, товарищ заглавный комендант? Жинки, вы не знаете, чого вин сегодня такой хмурной! — обратилась она к подругам. Одна из них, мужеподобная молодая баба, тяжело выворачивая лопатой окраину ямы, ответила:

— Не иначе опять покойники снились.

Бабы расхохотались, да так заразительно, что и Похмельный, зная, в чем дело, не удержался.

Комендант пил. Частенько от него попахивало хмельным, и нюхом на выпивку он обладал чудовищным. У многих сельчан, особенно у хлебосольных, он знал все даты, отмечаемые семьей. На день рождения хозяина или сына он заявлялся со связкой табака, с уздечкой, а то и просто с подковой. Если праздновали хозяйка или дочь — с веником, чтоб в хате чисто было. На гулянки заходил «нечаянно», на поминки — с таким скорбным лицом, что казалось, у покойного лучшего друга, чем Иващенко, не было. Его изобретательность в поисках спиртного не имела границ. Все лето тайком от жены он ставил брагу где-то в бурьянах на огороде, маскируя так, чтобы под солнцепеком были только бока ее, и тогда от него несло не просто хмельным, а каким-то смрадным, невыносимо тяжелым бражным духом. Одно лето он вступил в тайные отношения с трахомным Цупем, китайцем с закисшими глазами, который, объезжая села на бричке, собирал у детворы кости и тряпки в обмен на пугачи, свистульки и петухов на палочках. Именно в то лето резко упало собачье поголовье в селе. А то ставил капканы на сурков и по сумасшедшей цене продавал сурчиный жир. Летом ставил сети и выловленную рыбу тоже обращал в хмельное. Если селу требовалось послать кого-либо в извоз по торговому делу, то более расторопного в сборах ездового, чем он, трудно было подобрать. Быстроту и деловитость он проявлял завидную, выгоду дела видел изначала, но вся его предприимчивость большей частью сводилась к выпивке. Он и комендантскую должность выпросил у Строкова в надежде на более щедрое угощенье. Жена его, недалекая, но крепкая телом и духом баба, на первых годах своего замужества увещевала, ругала и даже, говорили, поколачивала супружника, но со временем, потеряв надежду иметь детей и выправить мужа, смирилась, только

кляла свой век и держала Иващенко на полуголодном пайке, балуя стряпней и одежиной лишь за весомую помощь по хозяйству.

Однажды и ее, не верившую ни одному его обещанию, Иващенко умудрился одурачить. Как-то проснувшись, он долго ходил по хате с лицом отрешенно-удивленным, будто прислушиваясь к себе. Жена поинтересовалась, и он рассказал ей, что приходила сегодня ночью к нему во сне покойная теща и печалилась: забыли, не поминаете, а там спрашивают почему, да так явственно, что и на сон не похоже... Когда обещалась выпивка, он умел и лицедействовать... Жена поверила сну, сама каждый день с соседями толковала тот или иной и отнеслась должным образом: поставила свечку, раздала детишкам по комку сахарина, созвала старух пообедать. Но свечка свечкой, убеждал ее муж, однако теща не кому-нибудь жалилась, а ему, зятю, поэтому нельзя ли... Обмякшая жена расщедрилась, он «зацепился» и потом два дня бродил по селу, радуясь жизни и потешая детвору непристойными частушками. За покойной тещей приснился покойный брат жены с той же жалобой, потом еще кто-то... Теперь жена жестко ограничивалась только свечкой, но он нашептал старухам, те попрекнули ее и высказали догадку: а не знак ли твоему Василю? Не веря ни снам, ни старухам, лишь бы уберечься от попреков односельчан в деле, скупости не терпящем, она скрепя сердце опять выделила «сподобившемуся к видениям». Так бы и сошло, потому что больше покойников из жениной близкой родни не было, но нелегкая дернула его за язык. Он похвастался своей находчивостью, дошло до жены, оконфузились старухи, и мало кто в ту пору завидовал Иващенко...

Все это запомнили, и к нему прилипло: если сердит, то либо трезв, либо опять покойники снились...

— Ты не обижайся, Василь,— продолжала баба, ворочая лопатой в жиже.— Мы дело делаем, а ты гусаком середь нас ходишь. Это одному председателю можно... Залазь, Вася, в яму,— ласково предложила она,— хочь ноги вымоешь...

Похмельный и подбежавший Семен увели взбешенного коменданта от хохочущих баб.

Работа разгоралась. Уже появились на берегу первые вязанки соломы, и кое-где бабы, взвизгивая, приподняв подолы, ступили в залитые водой ямы. На даль-

нем конце девки попытались петь, но песня не сложилась, слишком тяжела была работа. Ходили вкруг по трое-четверо в яме, волнуя мужиков голыми коленями, и, чувствуя это, покрикивали, торопили с водой, глиной и соломой. Не хватало лошадей. На стройку правленцы смогли дать только двух, тех, которых держали в селе вместе с огромной бочкой воды на случай пожара. Третьим вымешивал глину председательский дончак.

У одной из ям Похмельный вздрогнул: ему показалось, что среди молодых девчат — Леся. Он обознался; молодая женщина заметила его пристальный взгляд и сердито отвернулась.

— Кто это? — спросил он коменданта, когда они отошли в сторонку.

— Где? А-а, наша, гуляевская... Шо, понравилась?

— Да нет... Но девка видная.

— Ха! Нашел девку. Баба! Она як бы не твоих годов.

— На вид моложе. Я ее где-то видел. Она замужняя?

— Нет.

— Чего так? На лицо приятная, и фигура...

— Какое там! — махнул рукой комендант. Настроение ему испортили надолго.— На личико — шо яичеко, а разобьешь — нос зажмешь. Все они змеюки, а она самая ядовитая, хочь и в бога верует.

— Ну, не скажи,— заступился Семен.— Мария — баба стоящая и в строгости себя держит.

— Да? — ощерился комендант.— Чересчур стоящая! Оттого, мабудь, и замуж не выходит? Середь наших парубков пары не найдет... Она, зараза, тому и остальных баб учит... Ты, Семен, кажуть, там тоже счастья пытал? Не выгорело?

Семен не смутился.

— Не мне одному. Не хочет... Может, боится... А давай председателя на ней женим? А, Максим? Ты не слухай Иващенко, Мария — золотая баба... Ты извиняй, может, не к месту, но с той высланной дивчинкой у тебя не ладится... Слыхали мы, отец с братом противятся. Или ты сомневаешься, шо при должности?

— Семен... — Похмельный поморщился.

— А шо Семен? Мы уже говорили про тебя. Мужик ты при силе, чернявый, главное — партийный, года твои давно вышли, а ты все холостякуешь. Мы думали, раненый куда? Не похоже. Я прямо сказал мужикам: брехня, шо б он с той кулачкой ночью делал?.. Забудь

ты ее! Мария, конечно, постарше, зато никаких хлопот. И хата, и колхозница, и все при месте. Нраву, правда, дуже строгого. Богомольная лишку. Да оно и к лучшему — блудить не станет. А тебе облегчение. Естество, оно свое спросит. Спишь як? Спокойно?

— Что это тебя прорвало сегодня?

— А я веселый! Видел, сколько людей на работу вышло? Вот я и радуюсь... Спишь, спрашиваю, як? Слабости в руках нету? Моему деду восьмой десяток пошел, а он все еще на ночь вечернюю молитву читает: «Не соблазняй дух мой виденьями греховными и спаси меня от восстания телесного...» О, здоровье! Ты не читаешь?

— Кончай!..

— Молчу. Но ты прогадаешь. Жил бы у нее, як у Христа за пазухой. У нее тетка старая. Помрет — все ей отойдет.

— Да что ты ее нахваливаешь? Женить меня хочешь или она и вправду такая хорошая?

— О-о, председатель,— многозначительно приподнял подбородок Семен.— Она смалу богом примечена. Рассказать — не поверишь.

Мария Зорнич и в самом деле была отмечена какой-то злой и ревнивой привязанностью случая. Ее отец замерз в последний мартовский буран именно в тот день, когда она родилась (бабы для пущей жути утверждали, что в тот же час и в тот миг). Какой-то куркуль из дальнего села позарился на мощный пятистенок, в котором остались сестра погибшего и его жена с годовалой Марией. Гуляевскому «миру» было хорошо поставлено и заплачено, еще больше обещано, и на свет появилась некая долговая расписка, которую якобы давал покойный за услуги при строительстве дома. Жене было предложено продать его по-хорошему. В селе возмутились и посоветовали обратиться в волость с прошением. Таковое было написано, и она вместе с золовкой и Марией (ее взяли, чтобы разжалобить волостных крючкотворов) тайком от села (вдруг догонят и отберут!) пошли в Щучинскую. Вышли засветло, чтобы к вечеру быть на месте. Так они рассчитывали, судьба же распорядилась по-своему.

Их случайно нашли утром другого дня возле самой Щучинской. От женщин остались на снегу два кровавых пятна, клочья одежды и один валенок, из которого

страшно розовела обглоданная на суставе кость. Девочка же, закутанная в платки и овчину, была жива, только сомлела от крика и голода. Небывалый случай взволновал округу. С тех пор к подрастающей Марии стали относиться как к ребенку, отмеченному свыше. Кое-кто из особо религиозных семей перед севом, стройкой или другим большим зачином просили тетку Марии отдать ее на месяц-другой пожить у них: считалось, опять-таки с досужих бабьих домыслов, что присутствие девочки в доме оберегает от напастей и служит верным залогом успешного исхода дела.

Свадьбу Марии справили всем селом. Муж ее, сын зажиточного кошаровского мужика, оказался парнем тихим и работящим. «Подобрал господь пару»,— радовались бабы. Молодая семья жила неплохо; наступили иные времена, о чудесном спасении Марии и ее даре приносить удачу стали забывать, тем паче жизнь напрочь развеяла надежды на чудеса. Но случай в судьбе Марии вновь напомнил о себе.

Не прожив с женой и четырех лет, муж ее утонул, упав с лодки и запутавшись в сетях. С тех пор Мария живет с теткой и замуж, сколько ей ни предлагали, выходить не хочет.

«Не смущайте дух ее,— говорил, узнав об очередном сватовстве, отец Василий.— Видно, уготовано ей ждать жениха полунощного».

Мария никому не рассказывала, даже тетке, что после первой близости с мужем у нее родилось и не проходило брезгливо-холодное отвращение к таинствам супружеского ложа...

Вот такую женщину сватал Похмельному Семен.

Второй день начала стройки выдался безветренно-жарким. От приозерной травы, бурьянов, нагретой земли солоно и душно пахло. Все чаще останавливались бабы разогнуть спину, перевязать платок, сходить к бочке с питьевой водой. Несколько парней разделись до пояса, кто-то из них плескался на плесе за камышами, зычно охая и маня остальных.

Похмельный, оба коменданта и Семен поднялись на откос, где их ждал Гриценяк. Закурили. Похмельный посмотрел на берег. Как ни отрадна была картина развернувшегося строительства, как ни удивляли люди спо-

рой работой и хозяйским отношением к делу — облегчения это не приносило, с души не отпускало.

Гриценяк объявил перерыв. До правления шли молча, понимая его, догадываясь, чем может для него окончиться эта стройка. Недопонимал или просто неумело поддерживал один Семен.

— Чого вы идете кислые? Будто и вправду Юхиму хату строите. Вы на людей гляньте. Крепко взялись. На шо старый Кривельняк — язык вражий, и тот решета сам предложил. Эй, председатель, не журись! — Ему не ответили, он прошел несколько шагов и с непривычной для него задушевностью продолжил: — Я думал, будут одни высланные, наши не пойдут. А тут — почти все село. Я будто с гулянки иду, ей-богу. Это шо значит, Алешка? — Он шутливо толкнул Кащука.— Это значит, комендант «Крепости», шо стронулось село, поняли люди: гуртом надо жить, колхозом. Всем миром для нас этот коровник — тьфу! За месяц сделаем. Это, Алешка, большая...

— Да иди ты к черту! — оборвал его Кащук.— Чего ты радуешься? Люди на работу вышли... Жрать надо, потому и вышли. Нужен им этот коровник! Зараз скажи: задаром работаете — через пять минут всех корова языком слижет. Они же все по два трудодня за день получить мечтают! Где столько урожая взять? Погодите! Вывезет весь хлеб Гнездилов да вдобавок от коровника открестится — они устроят нам гулянку. По полной нальют! Мужики, хоть бы вы ему втолковали.

Похмельный взорвался:

— Я тебе сейчас втолкую... Какого черта ты суешься не в свое дело?! Я за все отвечу, а не ты! Решили строить — надо строить, а не сопли распускать. Боитесь? Я вижу. Доруководились — замесить яму нечем! Девок в холодную воду гоним... Боялись Гнездилову перечить...

Он облегчался гневом, в крике искал опору своему решению. Кащук с недоумением смотрел на него, Семен потупился, Гриценяк брел в стороне.

— Вы занимайтесь своим делом! В селе пять бригадиров, создали женскую бригаду, два завхоза, два коменданта, куча правленцев, конюхи, сторожа... А все трудодень требуете! Поэтому запомните: этот коровник будете строить вы. Отвечать — я, но строить — вы. Довольно вам бочком возле колхоза ходить... Это тебя, председатель сельсовета, каса-

ется. Я больше сюда ни ногой. Хватит! После обеда уезжаю в бригады. Потребуюсь по срочному делу — ищите меня там. Ты, Семен, отправляйся в кузню, и чтоб я тебя больше не видел ни на стройке, ни в бригадах. Занимайся своим делом. У тебя тоже бардак в кузне порядочный...

Он круто взял в сторону. Все понимали, с чего он взвился, но все равно выслушивать такое было обидно да и неловко за него. А ему под быстрый шаг некстати вспомнился совет Гнездилова искать опору в людях, прислушиваться к правленцам и старожилам, и он яростно пнул попавший под сапог засохший ком грязи.

X

Забирать дончака со стройки было неудобно, поэтому на стан первой бригады в Волчьем околке Похмельный решил идти пешком: четыре версты не так уж далеко. Но тут подвернулась оказия: к нему пришли двое девчат, чтобы он отметил у себя шесть мешков семян, которые выдал им завхоз Аверченко для бригады. Похмельный поинтересовался, почему за семенами приехали они, а не кто-нибудь из бригады, им ведь учетчик трудодни писать не станет. «А нам и не надо,— отозвались девушки.— Нас попросили родственники». Одна из них оказалась старшей дочерью Петра Кожухаря, вторая — племянницей Игната Плахоты. Назавтра обе идут в женскую бригаду на чигирь.

Вместе с ними он пошел к амбарам, где стояла подвода, запряженная быками. Когда выезжали из села, в попутчики напросилась еще одна молодайка: спешила на какой-то срочный разговор с мужем, плугатарем кожухаревской бригады.

Попутчицы оказались народом веселым и временами излишне любопытным.

— Про кого це вы так важно задумались, товарищ голова? — кокетливо обратилась к нему одна из них.

— Все про нее...

— Кого? Мабудь, про свадьбу свою? Ага?

— Ага,— отворачивая лицо, улыбнулся Похмельный.

— Шо ж вы надумали? Скоро зарученье?

— Скоро...

— И с кем?

— С ней...

— Це и так ясно, шо не с ним. С той белявой кулачкой?

— Тебе-то какая забота! — вздохнул Похмельный.

— Ну а як же! Вы еще молодой, голова колхозу, а все один та один. Нам жалко! На вечорницы ни до кого не ходите, с нашими девчатами ни с кем не забалакаете, одно с дядьками в конторе заседаете та матюкаетесь. Вы, мабудь, уже и не можете...

— Что это я не могу? — встревожился Похмельный.

— С нами обходиться. Обхаживать, рассказать...

— Это почему такое? — Он обиделся.— Очень даже могу. По всем вопросам, пожалуйста...

— Та-а! У вас одно: социализм та колхоз. Мы же знаем, про шо вы заседаете.

— Что ж плохого? Для вас же стараемся. Вот развернем колхоз, тогда и для вечорниц время появится.

— Э-э, нет! — возразила замужняя попутчица.— Люди говорят: не откладай работу на субботу, а девок — на старость. Хочете, мы вам молодичку найдем? Куда той кулачке! Приходьте до нас вечером, я ее кликну, повечеряете...

— Да вы будто сговорились сегодня! Спасибо. Я уж как-нибудь без свахи.

— Та не собираюсь я вас сватать,— удивляясь, ответила женщина.— Я вас только сведу. Там уже сами...

— Некогда мне вечерами. За день так душу вымотаешь, что не до вечеров.

— Ну да, конешно, лучше вечер с бабой Сидорчихой, чем с молодичкой,— съехидничала племянница Плахоты.— Вот уж понарассказывают друг другу!

— Хочете? — наседала замужняя. — Она вдовичка красивая.

— Тебе, наверное, не меня жалко, а ее.

— Ее тоже жалко. Она мне сестра троюродная. Ее Марией Зорнич звать. Вдовствует, живет вдвоем с теткой.

— Погоди, это же та, у которой... Что замуж не хочет?

— Ну да! Она... Видкиля вы знаете?

— Рассказывали сегодня... — Он удивился такому совпадению.

— Так хочете?

— Да что ты привязалась ко мне! Я вам столько женихов привел всех мастей, а вы меня дергаете.

— Та-а, на шо они нужны, такие женихи! Раскулаченные. За них, кажуть, и замуж не разрешают.— По горячности, с какой высказала это племянница Плахоты, стало ясно, что вопрос о замужестве для нее немаловажный.

— Почему нельзя? — недоумевал Похмельный.— Вообще-то я не знаю... Надо выяснить в районе... Можно! Я разрешаю.

— Та хочь и можно, все равно середь них нема завлекательных.

— Не слухайте ее, товарищ голова,— сказала замужняя.— Скажи, Таня, а чого ты каждый вечер Гарькавым молоко носишь?

— Нам утрешнего хватает,— смутилась дивчина.

— Чого ж раньше не хватало?.. Вы не верьте сї. У Гарькавых такий красивенький полячок квартирует!

Две попутчицы рассмеялись. Таня сконфузилась.

— Выходите за местных,— посоветовал Похмельный.— Чем не женихи? — Он вспомнил свое обещание Карабаю сосватать ему некую Орину и повеселел.— У вас полсела в женихах. Больше женихов, чем колхозников.

— С наших тоже нема толку! — ответила замужняя.— Зараз такое время, только и смотри, шоб тебя колхоз не одурачил, а они ходят по селу с Назаром, шутки вышучивають. Хиба то хлопцы!

— Это пока неженатые. Женятся — за ум возьмутся... Слушай, сваха, ты, случаем, не знаешь вдовую тетку Орину?

— Конечно, знаю! Через два двора от нас живет.

— Она тебе не родня?

— На ней жениться надумали? Вам сосватаю.

— Тебя с твоим языком надо в правление избрать. Лодырей прорабатывать... Есть один пожилой гуляевец, хочет взять в жены ту Орину.

— Кто такой? — с острейшим любопытством спросили они все сразу.

— Нет, не скажу. Вам попади на язык — изживете человека.

— Кому-нибудь не буду,— отказалась молодичка.— Вам — с удовольствием. Приходите. Повечеряете, про колхоз нам расскажете. Я вам погадаю... Дайте вашу левую... — Она потянулась к нему, но Похмельный так поспешно убрал руку, что все опять рассмеялись.

— Чого вы злякались? — продолжала бойкая попутчица.— Може, вы боязливый? О-о,— разочарованно протянула она.— Мы думали, шо вы и с нами храбрый... Марии боязливого не надо... Вы оттого боитесь, шо от дивчат отвыкли... У вас, мабудь, перегорело все...

— Что перегорело? — не понял он.

— Як у коровы. Знаете, если не подоить корову дня три — у ней молоко перегорит. Не будет доиться.

Он раскусил намек и под хохот попутчиц окончательно рассердился:

— Ох и трепло же ты! Сейчас высажу — побредешь пешком!

— Ото злякали! Та мы всю жизнь пеши на баштаны ходим... А дозвольте спросить у вас, неженатого, было в вашей прошлой жизни, например, такое?..

Быки брели медленно, поэтому, пока добрались до стана, у попутчиц вполне хватило времени, чтоб извести его шуточками. Но то, что он увидел за станом первой бригады, разом подняло ему настроение: огромная луговина была уже на треть вспахана. Он прикинул число тягла и людей кожухаревской бригады и с радостью понял, что за сутки бригадники поднимают едва ли не гектар на плуг. Довольные произведенным впечатлением, они подтвердили его расчеты. Еще недели полторы таких усилий, и с луговиной будет покончено. Тогда можно помочь второй и третьей бригадам, поднимающим земли у гребли и недалеко от щучинской дороги. Было бы кормового зерна вволю — и того раньше, но зерна не хватало во всех трех бригадах. На быков и недавно откормленных казахских лошадей было жалко смотреть.

Объявили небольшой перекур. Теперь он не боялся оставаться среди колхозников с их нескончаемыми вопросами. В том, что в селе оказалось столько высланных, он не виноват: о его стычке с Гнездиловым уже знают. Оплату работы в колхозе подтвердил тот же Гнездилов, а об остальном — гражданской войне, пятилетнем плане, преимуществе колхозов перед единоличными хозяйствами — он и сам теперь дока рассказывать. К сожалению, спросили именно о том единственном, что требовало безоговорочного ответа,— о стройке. Чем она оплатится? Он поспешно пояснил, что оплата будет произведена за счет госказны; видимо, и деньгами, и той частью урожая, который пойдет в план осенних хлебосдач.

Коротко ответив на вопросы, Похмельный подчеркнул то усердие колхозников и высланных, с каким они приступили к строительству. Потом уже без всяких намеков выразил недоумение: пашете хорошо, но в сроки не укладываетесь. То тянули с началом сева, выясняя, кому хлеб пойдет, то всего-то после трех дней работы устроили всеобщее христославие с баньками и обязательными послебанными бутылками, то из-за расхлябанности, с которой прошли два выезда в поля, потеряли в общем итоге еще один полный рабочий день. А ведь начинали дружно, споро, с приподнятым настроением. Чем объяснить такое противоречие?

В ответ звучали беспечные заверения уложиться в срок, бесшабашные отмахивания, шуточки; выражалось притворное недоумение: «Та мы и до колхоза так же выезжали». Из разговора Похмельный понял: в селе нет крепкого организующего начала, отсутствует какой-либо порядок. Пришли в первый день в чистых рубахах, пашут неплохо — по привычке, намертво засевшей с детства. Последующая расхлябанность — отчасти оттого, что не верят до конца в колхоз, отчасти — из-за отсутствия дисциплины.

Первый запал кончился, началась тянучка... То же самое будет и со стройкой, подумалось Похмельному, если колхозная власть во главе с ним не установит жесткие требования к организации работ, не поднимет дисциплину. Он объявил о своем решении остаться дней на пять, поработать: на первых порах погонычем, потом и за плугом... К его недоумению, такой поворот энтузиазма не вызвал. Кожухарь посоветовал ехать во вторую бригаду, по разговорам, там не ладится.

— Ты есть не хочешь? — спросил он у обиженного Похмельного.— Нет? Тогда освежись домашним кваском, пока мы запряжем тебе казахских коней. Не хотят работать, собаки! Старые, хитрые. Чуть подналяжешь — они в борозду ложатся и глаза закатывают, будто вот-вот сдохнут, шоб их волки порвали! Отдай их бабам на стройку. Нехай с них в ямах бубну выбьют. Мы здесь подналяжем, не беспокойся... Да, заодно дивчаток до села довезешь. С ними тебе, холостому, веселей дорога встанет...

Во вторую бригаду он добрался к вечеру. На стану никого не было. В хате по всему полу и в сенцах была раскидана солома, поверх нее брошены зипуны — здесь

коротали ночи те, кто не уходил отдыхать в село. Вскоре с загонок стали возвращаться бригадники. Разговорились. Этих попрекать упущенным не стал, попытался выяснить, что именно у них не ладится. Оказалось, все та же мелочь: одни на быках поднимают гектар, другие — тоже гектар, но на лошадях, а разница в тягле ощутимая. Попробовали меняться — опять не то: многие работали на бывших своих быках, отдавать их в чужие руки не хотелось... Пролегло еще что-то между бригадниками, но открываться ему не стали; он же не настаивал, понял, что и в этой бригаде его приезду не очень-то рады. Он прошел к гребле, полюбовался с насыпи огромным массивом вспаханной земли, ровно и черно оттеняющим разноцветье вечернего неба, и решил ехать домой. Скорее всего, и в третьей бригаде его помощь не нужна.

За ужином у костра выслушал несколько рассказов о давнишнем житье-бытье гуляевцев, о той же гребле, где на корявых вербах, словно по кем-то жутко определенной очередности, кончали в петле неудавшиеся жизни гуляевцы, сам рассказал подходящее к вечерней беседе мужской компании и с несколькими молодыми бригадниками, которые решили проведать семьи, только к полуночи добрался в село.

Хозяйка сообщила: он едва не застал начальство из района. Не дождавшись его, оно уехало, оставив ему какой-то сверток. Он развернул бумагу и увидел чаї, сахар и папиросы. Тронутый такой заботой Гнездилова и Полухина, он не сразу подумал о записке, которую они могли бы оставить. Стал расспрашивать хозяйку, не передавали ли они чего на словах, и тут выяснилось, что ожидали его не Гнездилов с Полухиным, а те самые три человека, что приезжали в ночь, когда разбился в яме парень из высланных. Значит, вот с кем наверняка вскорости придется чаевничать и курить переданные папиросы!..

Он попросил хозяйку завтра его не будить, пока сам не встанет: хотелось раз всласть выспаться. Но его желание не сбылось. Утром, чуть свет, он услышал стук в окно, шум в сенцах. Приподнялся на кровати и крикнул, чтобы шли в правление. Хозяйка так и объяснила, но кто-то уже знакомым голосом возразил, и в хату вошли несколько гуляевцев.

— Извиняй, председатель, шо позоревать не дали.

Боялись не застать, думали, опять с утра по бригадам мотнешься,— объяснил Илько Пашистый.— У нас к тебе великая просьба...

Мужики пришли просить его убрать с постоя чеченские семьи. Видя недоумение Похмельного, объяснили. Уж больно непривычный народ. Так все бы хорошо: уважают, благодарят, за детьми присматривают, помогают по хозяйству, но вот говор не тот и повадки другие: свинины не терпят, плюются, когда на столе увидят, в отдельной посуде варить требуют, молятся по нескольку раз на дню, а вечерами перед молитвой перекликаются через все село. Может, призывают к чему? И нельзя ли их куда-нибудь переселить, а они, хозяева-гуляевцы, с дорогой душой возьмут другие семьи, хотя бы тех же поляков. Лучше всего, советовали Похмельному, перевести их в какой-нибудь аул. Карабай ими не нахвалится, говорит, куда усердней в молитвах, чем казахи.

— Ага! Дошло до вас! — злорадно возликовал Похмельный, торопливо натягивая штаны.— О чем же вы думали, когда соглашались? Я, выходит, с Гнездиловым, чуть ли не до драки, чтоб не принимать, а вы: пожалуйста, товарищ секретарь, не обедняем, товарищ секретарь, можем еще принять, товарищ секретарь... Кто вас за язык тянул? Сами вызвались. Чего теперь жалуетесь? Дух у них в хатах, видишь, не тот... Ничего, попривыкнете!

— Да оно, если б знатье, шо так...— мялись у порога мужики.

— А я вот знал, что будет так! И был против. Думал, вы меня поддержите, но вы на гнездиловский уговор поддались. В результате я оказался бессердечным, а вы душевными, сочувствующими людьми. Не взяли бы вы — их повели бы в аулы. К одной вере... «Если б знатье»! — передразнил он Илька.— Если б знатье, что у кумы питье... Теперь вы мне предлагаете их в аулы перевести. Какое я имею на это право? Гнездилову тоже не до переводов, не до духа в ваших хатах... Да я и не поеду к нему с этим! Теперь я хочу быть рассердечным человеком. Взяли — живите! Что-о? Выгнать? Я вам выгоню! Выгоните — я поеду в район, но не к Гнездилову, а прямо к прокурору и скажу, что вы беспризорные многодетные семьи выгнали на улицу... Что, выгонишь? — с тем же злорадством спросил он Илька, в сердцах кинувшего эту угрозу.— Вы чепуху не городи-

те, а лучше присмотрите им жилье. В селе амбаров каменных много. Уговорите туда перейти, помогите отремонтировать. Никуда никого переводить не станут. Выгонят они... Нет уж! Сами вызвались — сами расхлебывайте.

Гуляевцы сокрушенно вздыхали: возразить было нечего. С тем и ушли, а он долго еще ходил с чувством собственной правоты. Потом все-таки отошел, поразмыслив: а ведь действительно несладко им всем — и гуляевцам, и постояльцам, кто бы там ни был, к какому роду-племени ни принадлежал. Напрасно он тыкал своей предусмотрительностью. Только за одно то, что сами вызвались пригреть и накормить, хотя бы на первое время,— им великий поклон. Высланным любая мелкая услуга, начиная с щепотки соли, теперь, в самую лютую годину их жизни была неоценимой помощью.

По заслугам ли воздано или пострадавшим безвинно, но из той горькой чаши, что им была уготована, налита всклень, они, несмотря на все перенесенные страдания, только пригубили...

Но как бы ни было трудно сосланным в село, куда труднее было тем, кого еще вели под конвоем через Гуляевку, в места расселения. Редкий день выпадал без того, чтобы у взгорка не останавливалась та или иная партия высланных.

Разных вели людей, разные шли партии...

XI

Выходили из лесу партии в сотню-полторы высланных, такие партии считались большими и шли к месту расселения под усиленным конвоем. Были средние, до пятидесяти человек, и вовсе маленькие — в окружении двух-трех конвоиров брело человек десять.

Вели высланных с Кубани и Украины, Поволжья и Дона, Средней Азии и Кавказа, но большинство высланных составляли жители центров России.

Шли в засаленных полушубках и кокетливых дошках, брезентовых громыхающих плащах и добротном пальто, еврейских лапсердаках и армейских шинелях, ямщицких тулупах и в одежине на рыбьем меху, в кургузых ватниках и длиннополых украинских серяках; шли в зипунах и легких поддевках, кожухах и яловых свитках, сермягах и в стеганых полосатых халатах. Месили

грязь на весенних дорогах пудовые сапоги и громоздкие постолы, изящные ботики и неизносные английские ботинки; шли в пимах, калошах, лаптях, обмотках, в трижды выменянном, перекупленном, проданном и вновь приобретенном на бесчисленных пересыльных пунктах...

Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» эти хозяйства определили тремя категориями. Первую, по своим агентурным данным, составило ОГПУ. В нее зачислили контрреволюционный актив, организаторов террористических актов и антисоветских мятежей. Люди этой категории подвергались немедленному аресту и преданию суду. Во вторую попали крупные кулаки и, так называемые, «бывшие полупомещики». Ее списки составлялись местными органами власти — активистами, сельсоветчиками, правленцами — и утверждались окрисполкомами с последующим выселением людей в северные и отдаленные края страны.

Третью, самую многочисленную, категорию предполагалось расселить в пределах районов на новых землях, специально отведенных для них за межами колхозных массивов. Предполагалось... Впоследствии третья категория была почти полностью выселена вместе со второй, разделив ее участь и понеся самые большие людские потери...

Людей первой категории, оставшихся в живых после суда чрезвычайными тройками, созданными при ОГПУ, после приговора заключали в тюрьмы и концентрационные лагеря, где им надлежало отбывать весь срок наказания.

В апреле 1930 года в связи с исправлением ошибок и перегибов, по предложению М. И. Калинина, были созданы временные комиссии для проверки состава высланных на местах и в местах заключения. Комиссиям была дана установка внимательно ознакомиться с делами заключенных, разобраться в составе преступления и, сообразуясь с характеристикой, выданной лагерным начальством, по мере возможности определить место отбывания срока не в лагере, а на принудительном поселении, под надзором комендантов.

Члены комиссий оказались в сложном положении. Облегчить судьбу человека, пусть виновного, несколько

легче, нежели ужесточить наказание, тем более что в основании большинства дел лежали нелепые обвинения, лжесвидетельства, оговор, преднамеренное следствие и, как правило,— несоразмерный со степенью вины судебный приговор.

Но в обстановке развязанной кампании по ликвидации кулачества и откровенной травли зажиточного крестьянства оправдать всех безвинно пострадавших, при всем желании, комиссии не могли. По данным проверки, из всех высланных в северный край семей только 10% от общего числа признано ошибочно высланными. Их освободили полностью с правом возвращения на родину и возмещением конфискованного имущества.

Некоторых высланных комиссии, превышая полномочия и спасая людей, отправили на поселение в Северный Казахстан, поскольку северный край оказался неподготовленным к принятию и расселению такого ошеломляющего числа высланных — только туда, в земли вечной мерзлоты, планировали сослать 70 000 семейств с общим числом в 350 000 душ...

В Северный Казахстан высылались все три категории, поэтому партии состояли из ссланных одиночек и семейных высланных или из тех осужденных, кто был вынужден идти на высылку с семьями.

Разные шли партии, разных вели людей...

Они брели в полной душевной опустошенности и безразличии к будущему, потому что со дня объявления приговора кончилась, казалось, сама жизнь, другие,— также не ожидая в ней ничего, кроме новых страданий,— шли, живя лишь надеждой на отмщение, третьи — в горьком, запоздалом сожалении о своей излишней доверчивости: понадеялись на совестливость своих односельчан, на справедливость районщиков — остались, а надо было бросить все да бежать куда глаза глядят, авось не пришлось бы теперь брести этапом... И у многих уже вросло в сознание и сердце — за что? За что эта кара? И были вправе так спрашивать, ибо, вспоми ная свой каждый прожитый день последних лет, давно убедились в незаслуженно суровом наказании — лишиться дома, семьи, хозяйства и быть гонимым из родных мест в неведомые земли в бесконечных муках бесправного, голодного существования.

Трагические ошибки и перегибы были признаны всенародно, политическая обстановка в стране требовала

во всеуслышание назвать конкретных виновников и сурово их наказать.

Но кто они? Исходя из сталинских работ «Головокружение от успехов», «Ответа товарищам колхозникам» и собранных комиссиями от ЦК при проверках на местах фактах, свидетельствующих о вопиющих беззакониях, виновниками оказались работники местных органов власти — они являлись непосредственными участниками, прямыми исполнителями и совершителями преступлений.

И в органы ОГПУ, нарсуды, в репрессивный аппарат в негласном порядке поступили директивы — выявить этих вредителей, которые, пробравшись на должности председателей колхозов и сельсоветов, селькомов и кустовых объединений, секретарей и уполномоченных и даже занимая ответственные посты районных и окружных работников, под видом «ретивых обобществителей» тайно проводили в жизнь линию врага трудового народа Троцкого и сознательно нанесли серьезный урон колхозному движению, враждебно настроили против партии часть крестьянства, тем самым дискредитировали в глазах международного рабочего класса саму идею коллективизации.

А их и выявлять-то было нечего — все они оставались на виду, на своих должностях и постах, продолжали жить и работать с чувством честно выполненного долга. Но «выявили». И во множестве. И достойно, как требовалось, наказали — вместе с клеймом «троцкист» получали от года до десяти лет лагерей и высылки — гораздо строже, нежели наказывали правых «капитулянтов», пособников и укрывателей кулачества, которых также осуждали. И поскольку северный край к тому времени был переполнен высланными, то их отправляли в Сибирь, на Дальстрой, в предгорья Алтая, Северный Казахстан.

И случалось так, что одним днем выходила из лесу партия «пособников», на следующий день — партия высланных крестьян-середняков, тех, кого эти «пособники» укрывали и защищали, а следом — партия «троцкистов», тех, кто ранее определил к высылке ни в чем не повинных крестьян.

Местные жители, опасаясь впасть в полнейшее недоумение, уже боялись спрашивать, кого это ведут, а конвоиры опасались сводить эти партии вместе.

Разных вели людей, разные шли партии...

Но все ли бредущие в этих партиях были так уж безвинны, безгрешны? Разве не было среди них, кто справедливо заслужил эту высылку?

В 1929 году только на территории РСФСР в сельских местностях зарегистрировано более 30000 пожаров. Сто пожаров в день. Кулаки не жгли хибары активистов — эффект не тот. Горели хлебные поля, гумна, риги, овины и амбары с семенным зерном, которое не додали голодному рабочему в надежде засеять и вернуть его осенью хорошим урожаем. Дегтярным дымом окутывались первые МТС с тракторами, купленными у государства на деньги, по копейкам собранные с нищих крестьян. В груды железа обращались жнейки, веялки, косилки, триера. Черные пятна пожарищ оставались на местах скирд и копен колхозного сена. Под страшный рев горевшей заживо скотины полыхали коровники, конюшни, овчарни — той самой животинки, которая годами кормила и поила и ежегодно, выбиваясь из последних сил, тянула плуг по заклеклой земле худосочных десятин,— той самой коровенки, которую свели на колхозный двор с чувством, словно проводили в последний путь родного человека.

По данным статистики в 1929 году произошло более 1300 кулацких или организованных кулаками массовых антисоветских выступлений. В пяти районах СССР (Средняя Волга, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Средняя Азия) было совершено более трех тысяч актов кулацкого террора. На Северном Кавказе в антисоветских организациях состояло около четырех тысяч человек, а весной 1930 года возникли новые организации, включавшие более пяти тысяч человек. На Нижней Волге насчитывалось в это время около трех тысяч участников контрреволюционных организаций.

Разве подлинные враги Советской власти, используя сложную обстановку в стране, не активизировали с помощью зарубежных разведорганов и белоэмиграции свои силы?

На протяжении нескольких лет группа «спецов», участников шахтинского дела, вела в Донецком бассейне подрывную деятельность. Она настолько продуманно поставила дело, что под угрозой развала оказалась угольная промышленность Донбасса, а горняков путем обсчета, недодач, срывом жилищного строительства и

нехваткой продуктов довели до забастовок и антисоветских выступлений.

Оппозиционные организации «Промпартия», «Союзное бюро РСДРП», «Союз освобождения Украины», и другие возникли в промышленности, Госплане, Наркоземе, ВСНХ, Госбанке. Даже в самом Северном Казахстане, куда теперь высылались их участники, в это время действовала оппозиционная организация алашордынцев и русских «спецов» под добродушным названием «Бобр».

По стране регистрировалось два-три взрыва в день. Взрывались, разумеется, не лавки со скобяным товаром — на воздух взлетали агрегаты электростанций, заводских цехов, жутко оседали опоры мостов, заваливались шахтные стволы. Ущерб исчислялся тысячами рублей. Самое страшное — при диверсиях гибли люди. Пожары пожирали в день до ста тысяч рублей, но какими рублями оценить клеветнические слухи, закупку непригодного или ненужного оборудования, бессмысленное рытье котлованов армиями рабочих? Какова цена жизни убитых сельских активистов?

Однако нетрудно заметить, что именно в тех районах, которые были отнесены к первой группе — Северном Кавказе, Среднем и Нижнем Поволжье, части Украины и Сибири,— где коллективизация шла «бешеными темпами»,— именно там более всего наблюдалось случаев этих «контрреволюционных» выступлений, именно оттуда статистика черпала эти устрашающие цифры.

Местные власти в угоду «революции сверху» развили «темпы, превосходящие самые оптимистические проектировки». В Туркмении, например, умудрились в ряде районов завершить коллективизацию к началу февраля 1930 года. На Северном Кавказе в четырех автономных республиках с ней закончили к марту 1930 года. Такими же «бешеными темпами» коллективизировали крестьян на Урале и Украине, в Сибири и Казахстане.

Для скорейшего создания колхозов поощрялись самые крайние меры. Для ликвидации кулачества потребовали применить самые безжалостные — классовая борьба не терпит уступок и компромиссов.

Судьбу крестьянства, составлявшего три четверти населения всей страны, без всякого права социальной защиты отдали на откуп сельским комитетам, с поддержкой госаппарата. Протесты осуждаемых не рассматри-

вались, правоохранительным органам требовалось как раз обратное — материалы о кулацких проявлениях в любой форме. Сомневаешься в правильности действий уличкома — получи ярлык кулацкого прихвостня, подпевалы, подголоска, защитника и табличку, прибитую к дому, как бы пораженного проказой,— «Бойкот». Выступление в общественном месте с критикой действий правленцев расценивалось вражеской пропагандой и могло стоить суда либо высылки. Справедливое возмущение сельчан во время повальных обысков с изъятием последних запасов,— а еще, не дай бог, кто из хозяев не выдержит да смажет шустрого уполномоченного по загривку!.. Сколько в том селе, помимо правленцев, взрослых душ обоего пола? Так и подать в сводке: контрреволюционное выступление численностью в 500 человек, с актом кулацкого террора...

Так набирались необходимые цифры для подтверждения тезиса о классовой борьбе в деревне, такова была механика этой «новой» статистики.

В разгар кампании по хлебозаготовкам и последующего создания колхозов число «лишенцев» и раскулаченных достигало трети хозяйств каждого села. Доведенные до отчаяния изуверской политикой ликвидации, некоторые мужики шли на поджоги и тому подобные акты.

Если чем и могут поразить статистические данные при том усиленно провоцирующем крестьянина на крайние меры отношении к нему со стороны власти, так это ничтожным числом подлинных актов в сравнении с трагедией неисчислимой массы народа, безвинно обреченной на бесчеловечную «ликвидацию». Да, бесценна и свята кровь убитого сельского активиста. Но чем оценить, какими словами передать и доступно ли человеческому слову выразить безысходные муки тысяч и тысяч матерей, обреченных на растянутую во времени пытку видеть, как с каждым днем все больше худеют, смертно проступая косточками, тельца и молча, уже не спрашивая хлеба, угасают их малолетние дети, и матери, тихо обезумевшие в горе, в отчаянных и безуспешных попытках их спасти, шли на всякие ухищрения, унижения и вместе с тем уже предчувствуя в душе ту страшную неизбежную очередность, в которой им суждено в конце концов похоронить их здесь, засыпав промерзлой, пересыпанной щебнем, глинистой землей. Какой стати-

стикой исчислить непосильный труд на круглогодичных раскорчевках и лесоповалах, где, чтобы выработать норму для получения полуголодного пайка, годами надрывались армии молодых девок и нерожавших баб. Кто дал право не «предусмотреть все», если решалась судьба крестьянства аграрной страны, как недовольно буркнул в ответ Сталин на Пленуме двадцать девятого года, когда ему зачитали письмо с перечнем ошибок и перегибов? Зачем и кому это было выгодно — противопоставлять и натравливать бедняцкие слои против зажиточного крестьянства и ничтожное число настоящих кулаков с их редкими актами выдавать за классовую борьбу в деревне да еще привлекать для составления списков первой категории органы госбезопасности, которым следовало бы заниматься прямым делом — выявлять истинных врагов в тех же отраслях промышленности, где, кстати, при расследовании оказалось, что большая часть вины в выступлениях и забастовках горняков лежит на руководстве предприятий, проявивших бесхозяйственность, техническую неграмотность и небрежение к нуждам рабочих, нежели во вредительской деятельности «спецов».

Да, были люди в этих партиях, кто вполне заслужил высылку, но все-таки в массе своей — тяжелейшим обвинением сталинскому окружению в «классовых битвах» с последующими «мероприятиями по ликвидации», а местным органам власти — живым укором в спешке, трусости, в бездумном исполнительском рвении шли эти нескончаемые колонны и обозы по степным казахстанским просторам.

Разные шли партии, разных вели людей.

XII

Полухин, щадя Гуляевку, категорически запретил конвоям вводить их в село без разрешения комендантов. В теплый день, едва переведя дух после очередного перехода, шли к озеру, недалеко разойдясь в стороны своим сословьем, где, не стыдясь, раздевались, смывали в прогретой воде липкую грязь, вшей, яростно скребли головы; тут же, в прибрежной грязи, ватлали исподнее, чтобы хоть на короткий вольный час дать вздохнуть измученному телу.

Первое время немало гуляевцев собиралось у взгорка полюбопытствовать, посочувствовать. Бабы приносили сюда вареную картошку, квашеную капусту, остатки вчерашнего борща, краюху хлеба, у кого была возможность, нес кринку молока детям, мужики щедро сыпали в ладони самосад. Когда люди выходили из лесу настолько уставшими, что идти дальше, не передохнув в селе, не было сил, правленцы села давали согласие, и те гуляевцы, у кого не было на постое, разбирали партию под свою ответственность на отдых. Ночевали где придется: в клунях, завознях, банях, сараях — и на чем придется: соломе, тряпье, вязанках камыша, умостив под голову легкую кирпичину кизяка, охапку сена.

Гарькавый Федор, уже имея на постое польскую семью, тем не менее из каждой партии брал на отдых человек десять. Если его не оказывалось дома, то к взгорку шла его жена Ефимья, саратовская переселенка, ставшая ему женой в этом селе — женщина нелегкой судьбы и безграничной доброты сердцем. Она отбирала самых слабых, при этом покрикивала на конвоиров, вела к себе, кормила, чем могла, часто задерживала выход партии, с тем чтобы собрать какой-то узелок семейным в дальнейшую дорогу.

Но с каждой партией все меньше и меньше выходило гуляевцев к взгорку.

Ничего нового ни конвой, ни сами высланные рассказать не могли, глядеть на подобное уже не хватало сил, да и где напастись столько еды и курева на нескончаемый поток голодных ртов? Свои, сосланные в Гуляевку, подобрали в кладовках последнее, к тому же все походило на то, что Гнездилов, вопреки своему обещанию перевести чеченов и поляков в другое место, переводить не собирается. И сельская власть всячески уклонялась от вопросов о переводе. Единственное, на что согласился председатель колхоза, это отдать чеченским семьям каменные амбары, а польским — разрешил занимать оставшиеся развалюхи. Он все круче брался за выходы на колхозные работы, все меньше оставалось свободного времени, поэтому к взгорку теперь приходили лишь старухи из ближних хат перекрестить людей да кто-нибудь из правленцев. Одна детвора каждый раз с неустанным интересом и заполошным криком неслась по улицам в край села встречать очередную партию высланных.

Помимо семнадцати сел и самой станции Щучинской в Краснознаменский район вошло семь новообразованных точек. Одну, самую крупную, определили верстах в десяти от Гуляевки. Некогда там располагался небольшой — в несколько мазанок — аул. Во время переселенческой кампании решением русских черносюртучников земли, принадлежавшие аульчанам, отдали молдавским переселенцам. Казахи вынуждены были откочевать. Переселенцев оказалось немного, и они, прожив там года три, один за одним переехали в ближние зажиточные села. Казахам земли не вернули. По просьбе общин их поделили между селами. Часть земель, вплоть до размежевания двадцать первого года, принадлежала и Гуляевке. Из всех мест, отданных нынче на расселение высланным, это место было самое хорошее. С левой стороны, рядом с невысоким и небольшим холмом, на котором когда-то жили люди, мелко-сорным березнячком начинался лес, с правой, в открытую степь,— рыбное озерко, за ним — обширная низина с богатым выпасом. Гнездилов приберегал это место для семейных (там еще сохранилось две-три полуразрушенных мазанки), и, когда такая партия прибыла, он направил ее именно туда. Когда-то казахи называли аул Кок-тумар, поэтому новопоселенцам не пришлось ломать язык в произношении: в Забайкалье,— а партия прибыла оттуда,— было хорошо известно крупное поселение — Котомары. На районной карте эта точка обозначилась под сороковым номером. Еще две точки: двадцать дезятую и тридцать девятую определили в лесу, на месте бывших казахских зимовий.

Определили туда, в основном, высланных одиночек, но вместе с ними оказалось несколько семей. Оба зимовья располагались на берегу речушки до того узкой, что русло ее угадывалось лишь по ленте камыша, однако в некоторых местах, на извилинах, она неожиданно давала большие старицы с темной, холодной водой.

Эти земли также считались очень удобными, и, не лишись к этому времени аулы половины имевшихся у них лошадей,— вряд ли бы Гнездилову удалось отдать зимовья для расселения высланных. Точки оказались недалеко друг от друга и от станции. Между ними располагалось лесничество, и Гнездилов приказал: пока родители не приведут остатки строений в пригодное жилье — детей держать у лесников: в селах взяли на пос-

той, а лесникам, с их возможностями,— сам бог велел. Двадцать девятую точку заселили верхнедонскими казаками, тридцать девятую — кубанскими.

Четвертую точку по счету, а по карте — девятнадцатую, определили в юго-восточную сторону от станции, в степи, на берегу озера. Место было открытое, пустынное. Чернозем здесь помалу уступал супесям, дальше к югу встречались влажно-сизые проплешины солончаков, а еще южнее можно было встретить плеса колотой безводьем земли — такыра. Еще до революции богатеи из Н-ска организовали у озера рыболовецкую артель. Там построили два глинобитных барака, коптильню, склад, наняли желающих рыбачить. Все старопоселенческие села, как правило, располагались на берегах рек и озер и в рыбе не нуждались, поэтому озерные уловы поставляли в довесок солдатскому котлу скудных солдатских гарнизонов или везли на продажу в безрыбные места. Во время революции и гражданской войны промысел забросили, стало не до копченостей. Вспомнили о нем в двадцать первом году (в тот год вспомнили о таких промыслах, какие раньше вызывали брезгливую гримасу). Поправили бараки и ловили до тех пор, пока всю не выловили, до мальков. Позже, когда полегчало, и степовиков похвалили за расширение пахотных земель, рыбаки разъехались: рыба — дело неплохое, да хлеб — надежнее. Об озере опять забыли, хотя постройки остались.

Была еще одна причина утвердить там точку. Ожидалось прибытие крупной партии уголовников. Не хотелось Гнездилову ее принимать, но и не принять нельзя: в соседних районах такое «богатство» приняли, и отказ в таком случае выглядел бы не по-соседски. Партию составляли воры всех мастей и профилей — народ рисковый, бесшабашный, готовый на все, вплоть до массовых побегов, поэтому, учитывая, что до ближайшего села (им была Кошаровка) и леса простиралось не менее сорока верст открытой степи, где легко обнаружить беглецов, Гнездилов и комиссия по расселению, на сей раз единодушно, решили направить уголовников туда.

Пятую точку, по карте — тридцать восьмую, основали в пойме реки Суры. С правобережной стороны место прикрывала невысокая, слитная грядка мелкосопочника, по левобережной — насколько хватало взгляда — простиралась черноземная степь. Округ давно обязали

в создании крупного зернового совхоза. На последнем заседании окружкома Айдарбеков требовал готовить место и сельхозорудия. Со дня на день ждали поступления тракторов, два из них намечалось отдать будущему совхозу. Если раньше у Гнездилова была отговорка в нехватке людей, то теперь возражать стало нечем: совхоз вполне может быть основан выселенцами. Комиссия по расселению считала целесообразным направить туда сосланных по 107-й статье, осужденных за укрывательство хлеба: кто, кроме них, хлеборобов, мог с большим толком поднять и освоить обширные, плодородные земли?

Остальные две точки — тридцать третью и тридцать седьмую — определили на окраинах лесного массива, верстах в пятидесяти на запад от Щучинской, недалеко от сланцевых месторождений.

Илья Каширцев, выступая на мартовском расширенном бюро окружкома по расселению, оказался не так уж далек от истины. Казкрайком все настойчивее требовал начать подготовку к разработкам ценных ископаемых. Гнездилов знал, что, кроме горного оборудования, которое выделит государство, потребуется помощь района в его доставке. Затем обяжут помогать продуктами изыскателям, впоследствии — горнякам, главное — потребуются рабочие руки, и, когда их станет не хватать, промышленники, как это практикуется в других строительствах, начнут переманивать к себе хорошими заработками колхозников с окрестных сел. Пусть уж берут их с точек, чем потом из сел начнут уходить хлеборобы, тем более что на эти две точки направили технически грамотных людей — участников «шахтинского» дела...

Конвой приводил партию к назначенному месту, и новопоселенцы оставались одни, если не считать двух-трех, иногда, при больших партиях, четырех-пяти комендантов, которые, в сущности, были больше бригадирами по строительству, нежели стражами закона и порядка. Столь жидкая охрана на первый взгляд казалась проявлением некоторой беспечности со стороны отделов милиции и ГПУ. Однако верховые нарочные, объезжавшие точки, ездовые, еженедельно доставлявшие туда продукты и материалы, случайные проезжие — все говорили о дисциплине и спокойствии на точках.

Коменданты уверенно докладывали в районы, что

среди высланных нет не только побегов,— нет никаких провокационных разговоров, угроз или саботажа, работают, а в работе проявляют расторопность и смекалку.

На точках было тихо. Спокойствие на них во многом объяснялось следующим: по прибытии на станцию Полухин вместе с кем-либо из членов окружной комиссии по расселению коротко говорил о требованиях, какие предъявляются высланным на точки и в местные села. Требований было немного, состояли они из трех безоговорочных положений: честно работать, беспрекословно выполнять любые распоряжения комендатуры, строго соблюдать дисциплину и порядок на местах поселений. Но долго рассказывал о мерах, какие примут власти в случае неповиновения, саботажа или побега.

Пусть никто не обольщается простором и лесами — простота побега обманчива. Всему населению края доведено до сведения о расселении и содержании высланных. Строго предупреждены сельские и аульные Советы, более того — в селах и аулах созданы конно-поисковые группы. Получили строжайшие указания на этот счет лесничества, кордоны, геологические партии и кочевые рода. Особо предупреждена железнодорожная служба. Каждый проходящий состав,— а они здесь не так уж часты,— перед отправлением со станции будет осмотрен самым тщательным образом, поэтому бежать в центр страны железнодорожным путем нет никакой возможности. Уходить лесом на север — безнадежно: все равно придется выйти на людей, в противном случае — смерть. Уходить на юг — равносильно самоубийству: до границ тысячи километров безводного пути, а рассчитывать на помощь кочевников не следует. Они знают, кого сюда высылают, поэтому брать на себя грех спасения не станут: не от царской — от своей власти убегаете.

Точка, из которой будет совершен побег, немедленно переводится на положение лагеря, поселенцы, само собой, на положение заключенных. Увеличится охрана, рабочий день, норма выработки ежедневного задания, снизится паек, срок высылки становится сроком заключения со всеми вытекающими отсюда последствиями, и пойманных (это Полухин особо подчеркивал) наказывать не станут, их попросту вернут на точку, из которой они бежали, но после того как ее переведут на лагерное положение...

После мартовского бюро окружком выработал резолюцию о размещении и устройстве кулацких переселенцев с учетом всех возможных ситуаций и отправил ее в Казкрайком.

Своей задачей округ ставил сельскохозяйственное освоение районов. Работоспособные члены высланной семьи должны использоваться на горно-шахтных предприятиях, если таковые имеются в районах. Там, где нет промышленных разработок, поселенцы обязаны работать на лесозаготовках, строительстве животноводческих ферм, на различных подготовительных земляных работах, что должно дать им добавочный заработок.

Дополнительный заработок в жизни поселенцев имел решающее значение.

Округ в резолюции прямо оговаривал: «Ввиду того что на работах по подготовке колонизационного фонда и жилстроительства в ближайшие месяцы будет занята почти вся трудоспособная часть переселенцев, что лишает их возможности получать какой-либо заработок, признать необходимым: отпускаемое для них минимальное питание производить в порядке государственной ссуды».

На деле это означало, что та семья, которая не была занята на строительстве гособъектов, а занималась обустройством своего жилья (землянок или бараков на восемь семейств), получала лишь один килограмм хлеба и то при условии выполнения сменного задания, установленного десятниками. Да и те нормы продуктово-материального снабжения оказались ужасающе низкими. Люди жили впроголодь, на грани полного физического истощения и смерти.

Возможности округа Айдарбеков в докладной не увеличивал. После посевной и в связи с возраставшим числом прибывающих высланных все ресурсы и резервы округ практически исчерпал. В помощь по расселению Казкрайком привлек все предприятия северных округов Казахстана.

Из городов, где было налажено производство мелкого инструмента, в Н-ск отправляли все, что требовалось для строительства.

В конце мая по казахским аулам прокатилась еще одна жестокая волна конфискаций крупного рогатого скота и лошадей. Реквизированный скот в три тысячи

голов (из них тысячу лошадей) держали резервом на дальних отгонах.

В самом Н-ске по снабжению точек были вовлечены два мукомольных и один небольшой колбасно-кишечный заводишки. Там же, в Н-ске, сосредоточили склады, где хранились продукты, инвентарь и керосин, откуда они планово доставлялись к местам поселений.

Конечной станцией определили Щучинскую. Здесь же находились члены краевой комиссии по расселению во главе со Шкляревским, и здесь же хранилась часть продуктов, которые выдавались всем партиям на первое время и какими Гнездилов должен был обеспечивать свои семь точек постоянно.

Контроль за неукоснительным выполнением организационных мер по этапированию к месту поселения был возложен на Краснознаменский райком партии во главе с Гнездиловым.

XIII

Оживились окрестные дороги. На них с каждым днем все чаще появлялись подводы, брички, двуколки, тарантасы, легчанки, казахские арбы. Сев к этому времени в большинстве сел закончился, освобождались кони, и степовики выезжали в ближние городки за товаром. Весенняя страда подобрала всякий запасец, лучше любых расчетов выявила нехватку тех мелочей, без которых стопорилась летняя работа.

Многое отправлялось к местам расселения. В Щучинской не хватало подвод. Дошло до смешного: Гнездилов разослал своих людей по селам в поисках колес. Но сколько бы всего ни отправляли — нуждались точки крайне. Не хватало спецодежды, инструмента, продуктов, воды; местные при случае рассказывали, что поселенцы жгут костры ночами, чтобы не замерзнуть, и вылавливают силками всякую живность...

С опозданием дней на десять закончил первую коллективную посевную и колхоз «Крепость». Тяжело, очень тяжело дались людям 900 гектаров, и, если бы Гнездилов не помог обещанными лошадьми, наверняка бы подняли меньше. За место в бригадах держались крепко. От желающих помочь отбоя не было. Бригадники, когда через неделю поняли, что к сроку им не успеть, стали пахать семьями, но просили председателя никого к

ним не зачислять. Все были твердо убеждены: посевная — единственная работа, которая гарантировала оплату хлебом.

Семенного зерна не хватило ровно на сто пятьдесят гектаров. Колхозная власть со слезами выпросила у гуляевцев девятьсот пудов в долг. Похмельный даже те десять мешков сорной пшеницы, которые Гнездилов прислал в счет пайка высланным, скрыл, приказал перевеять и отдать в бригады. Высланным выдавали ячмень, а когда и он кончился — по горстке проса: после окончания сева оказался небольшой излишек.

Последней, в четверг, заканчивала страду третья бригада. Пятницу правление колхоза объявило выходным днем для всех, кто был на пахоте. С раннего утра из труб бань потянулись дымки; повисла на веревках отстиранная мужская одежда; одалживалась приправа к вареву — село по традиции готовилось отблагодарить пахарей. Мужики первой и второй бригад, которые закончили двумя днями раньше, исполненные плохо скрытой гордости, ходили смотреть на работы у озера или ладили крученые трубки к казанкам с брагой.

В субботу в селе ожидался «гуль». Предвкушение его сказалось и на гуляевцах, занятых на стройке: не лежала душа к работе. Одни забыли наносить с гумен соломы, другие искали кем-то припрятанные на ночь решета; третьи требовали ведра; выселенцы отпрашивались получать пайки; распоряжения бригадиров противоречили одно другому. Вялому настроению способствовала погода. Дни стояли на редкость жаркими. Даже у воды не было прохлады.

Высланные и колхозники работали на стройке кому с кем удобнее, хотя числились двумя бригадами. Руководили строительством Гордей Гриценяк и Федор Гарькавый. Им помогали коменданты. По подсчетам, требовалось не менее пятнадцати тысяч штук самана. В день изготавливали до пятисот штук. Не так уж мало, если учесть, что воду в ямы приходилось подавать по цепочке ведрами, а большинство замесов делали ногами.

Теперь, когда освободились кони и председатель забрал у отца Василия пожарный рукав, дело обещало пойти гораздо быстрее. На укосе среди зарослей лебеды чернел свежевырытый ров под фундамент будущего коровника, или, как его называли с первых дней, базы.

Громадными пчелиными сотами подсыхали на берегу первые тысячи штук самана.

В пятницу бригадиры стройки доложили председателю: на работу не вышли двадцать гуляевских мужиков. Вечером выяснилось, что и в женской бригаде имелись невыходы. Причина оказалась заурядной — какой-то религиозный праздник. Он отмечался и высланными украинскими поляками, но почему-то двумя неделями раньше.

Председатель вспылил, приказал вызвать в правление празднующих для соответствующих разъяснений и проработки. Однако увидел, что не только рядовые колхозники и высланные — сами правленцы и бригадиры не прочь пошабашить, и он, не желая портить хорошего настроения в селе — шутка ли, посевную закончили! — махнул рукой и распустил всех по домам.

Село вновь потеряло верных четыре рабочих дня...

Те высланные, что привел Похмельный, оказались наиболее близкими гуляевцам не только по бывшей родине, но и по речи, навыкам в работе и по всему укладу жизни. Они довольно быстро сдружились с гуляевцами, и Похмельный поражался той великой помощи, которую оказывало село всем высланным, а его «подопечным» — особенно. Помогали во всем: ремонтировать землянки, копать огороды под картошку, семена которой сами же и давали, делились посудой, утварью, одежиной... Делились хлебом. Сами высланные навели порядок в подворьях, подобрали по селу древесный мусор, увязали его в пуки пополам с соломой и рубленым бурьяном, и теперь и над их крышами поздними вечерами тяжело стлался сырой желтый дым, свидетельствующий о легкой вечере.

Поляки, казалось, также походили на гуляевцев. Людей, кормящихся от земли, многое делает схожими. Было, конечно, различие в речи, другом (католическом) вероисповедании, но в повседневной жизни оно большого значения не имело, к нему быстро привыкли. И все же замечалось нечто отличное в характерах, в отношении к жизни, и чем больше проходило времени, тем яснее оно проступало...

Дольше всех с опаской присматривались к чеченцам. Хозяева, у которых они квартировали, ничего плохого

сказать не могли, однако и хвалиться было нечем. Несколько дней чеченцы приходили в себя после этапа, потом стали требовать отдельное жилье и место для кладбища. В правлении не возражали, даже одобрили. Им отдали все каменные сараи, чем они остались весьма довольны, а для кладбища места тем более хватало. Гуляевцы недоумевали: сараи чеченцы обустраивали не по здешним зимам. Прямо на каменную кладку ляпали плохо вымешенную глину. Такой же хлипкой ожидалась и крыша. Мужики крякали и шли советовать: стены надо вначале выложить плетеным ивняком, а уж потом забивать глиной — крепче и теплее, то же самое с крышей, печами... Хозяева-чеченцы уважительно соглашались и делали по-своему.

«Ничего, зиму померзнут — к следующей поумнеют»,— с обидой уходили советчики. Вызывало удивление и другое. Гуляевские бабы, ходившие на помощь, только ахали, глядя, как чеченки, худенькие и молчаливые, похожие на монашенок, надрываются с пудовыми вальками, в то время, когда мужья сидят в сторонке и задумчиво разглядывают будущее жилье. И то, что жены безропотно выполняют любые указания мужей, вызывало у них сострадание и неиссякаемый повод для разговоров.

Василина, два дня помогавшая семье чеченца Ховрезова, на третий день говорила соседкам:

— Все. Больше не пойду. Сердце не выдержует. Это ж мыслимо: я, значит, килу наживаю, хату ему до ума доводю, а он, бугаяка, сидит на каменце та командует: там копай, сюда бросай, туда отнеси, видтиля принеси... Я ему показываю: встань, чоловиче, помоги, ведь нам, бабам, тяжко, сам же бачишь... Так он, нехристь, только очами зыркнул и отвернулся, будто и не ему сказано. Думаю, может, жинка ему шо скажет. Где там! Молчит бедолага! Тогда я ему сказала. Обложила его матюками, нехай бог простит, плюнула в его сторону та й пошла... Не-е, жинки, я туда больше — ни ногой...

О том, что после плевка она кубарем летела от ховрезовского подзатыльника, Василина предпочла умолчать.

Впрочем, сокрушались и жалели не все. У многих местных мужиков такой семейный уклад вызывал искреннюю зависть. Комендант Иващенко, бывавший у Ховрезова, тоже пытался ввести у себя в семье нечто

похожее. Одно время он, перед тем как спросить что-либо у жены, стал грозно поводить очами (у него получалось по-бычьи), говорить стал меньше, со значением и каким-то задавленным голосом, что, по его разумению, должно означать силу характера, ума и непреклонную волю. Жена поначалу не поняла, что с ним, даже спросила, не стряслось ли чего, потом до нее дошло, и однажды, поставив миску перед ним, она напрямик спросила:

— Ты, Василь, с кого моду берешь? Не с чеченов ли? Так я вот шо тебе скажу: если ты еще хочь раз гыркнешь на меня або глянешь по-волчьи — я тебе всю эту кашу по морде размажу. Из тебя, дурака, такой же чечен, як из меня архиерей... Поняв чи нет?

На этом «кавказский порядок» в семье коменданта закончился. Но и к чеченцам вскоре привыкли, и, по меткому замечанию Гарькавого, к ним стали относиться даже лучше, чем к полякам. В чем таился секрет — было непонятно. То ли немного побаивались местные угрюмых, малоразговорчивых, с хорошо развитым чувством собственного достоинства и непривычным поглядом из под папах кавказцев, о характере и обычаях которых столько страстей слыхано, то ли привлекали эти люди своей речью — без словоблудия, слезливых жалоб на судьбу, вранья и пустых угроз власти,— как бы там ни было, но относились к чеченцам с большим уважением.

Жизнь в селе мало-помалу налаживалась. Почти прекратились непременные крики и бестолковая суета при выходах на работу. Если раньше чуть ли не каждый день начинался с митинга у правления или объезда бригадирами и комендантами села, то теперь колхозники без понуканий спешили утром по своим местам.

Совсем недавно все разговоры начинались и кончались одним: что даст колхоз? И не лучше ли взять свое тягло и темной ноченькой махнуть куда-нибудь к руднику, шахте либо к большой стройке, где оплата тверже? Теперь же такие разговоры притихли, больше беспокоились о том, как лучше и выгодней для себя и колхоза выполнить ту или иную работу.

В жизни села появился пока слабый, едва ощутимый но определенный ритм. И то пора: кончался июнь тридцатого года...

«Здравствуй, Максим!

Получил я твою писульку. Такой глупости, которую ты совершил, оставшись в какой-то Гуляевке, в Казахстане, я от тебя не ожидал. Мой тебе совет: немедленно сдавай дела и возвращайся обратно. Наказывать тебя за партийную недисциплинированность я не стану. Ты сам еще не понимаешь, куда ты влез, какую ношу поднял.

Ты, видимо, считаешь, что быть председателем колхоза — это даром самогонку пить да приказывать. Нет, дорогой. Быть председателем — значит быть ответственным за очень многое. В том числе и за тех высланных, которые, как я понял, расселены в том же селе.

Наши ошибки исправляются не такими поступками. Что ты хочешь им доказать — я понял. И скажу: глупость это, а не попытка доказать.

Я переслал фамилии тех, о ком ты просишь, в села. Ходатайствовать о них сам не буду. Пусть люди решают. Им виднее.

Тебе приказываю: через две недели быть здесь. Деньги тебе вышлют, но карточку высылать не станем. Вернешься — поговорим подробно.

П. Карнович».

Конец первой книги

СКРОМНЫЙ Николай Александрович

ПЕРЕЛОМ

Роман

Редактор **Л. В. Степаненко**
Художник **И. Суслов**
Художественный редактор **А. Ю. Никулин**
Технический редактор **В. М. Котова**
Корректоры **Г. А. Голубкова, Г. В. Селецкая**

ИБ № 5421
Сдано в набор 23.06.88. Подписано к печати 28.03.89. А11201. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр-отт. 19,32. Уч.-изд. л. 19,76. Тираж 100 000 экз. Заказ 22. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30



